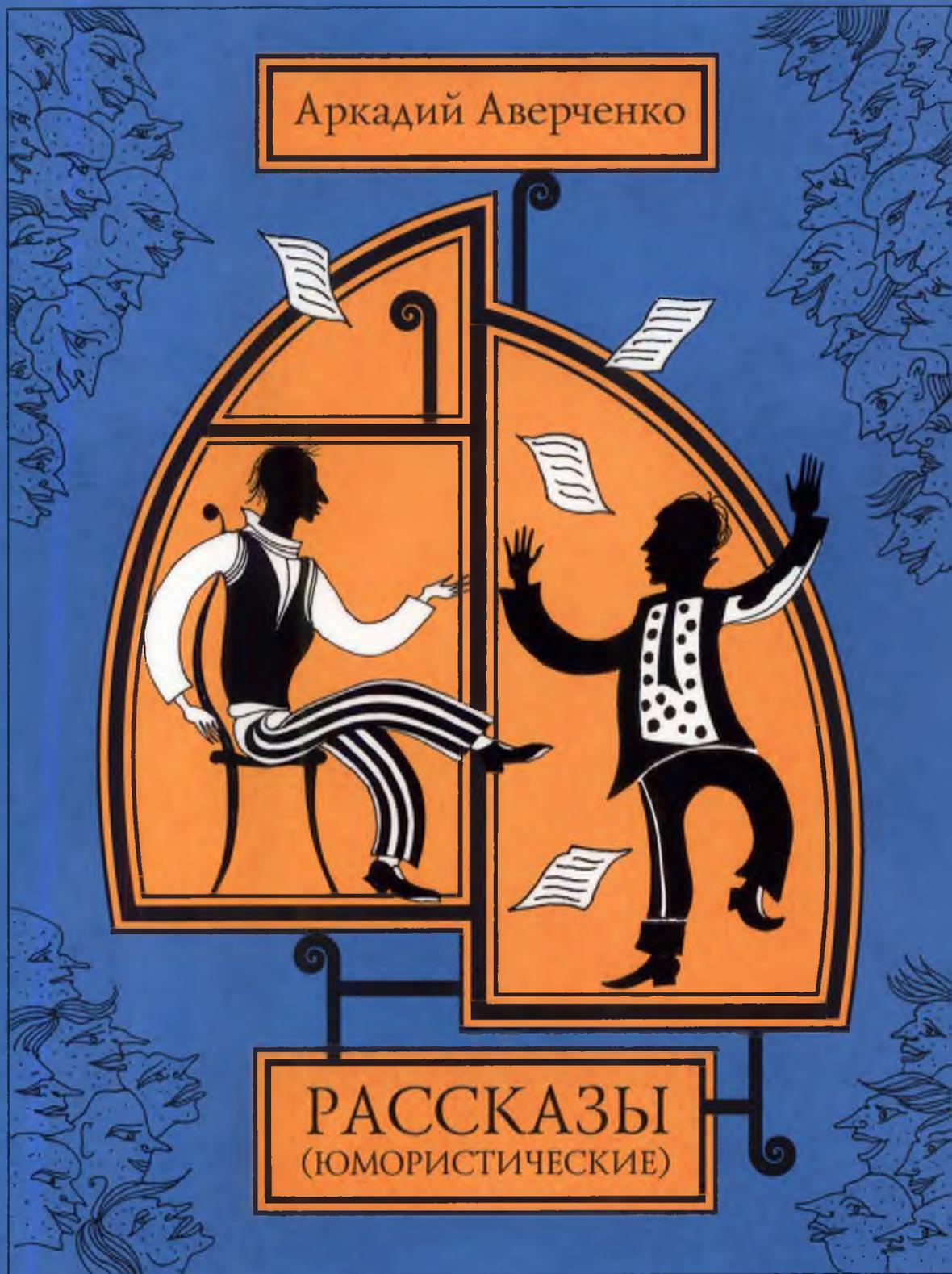


Аркадий Аверченко
РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)



Аркадий Аверченко

РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)



Аркадий Аверченко
РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)



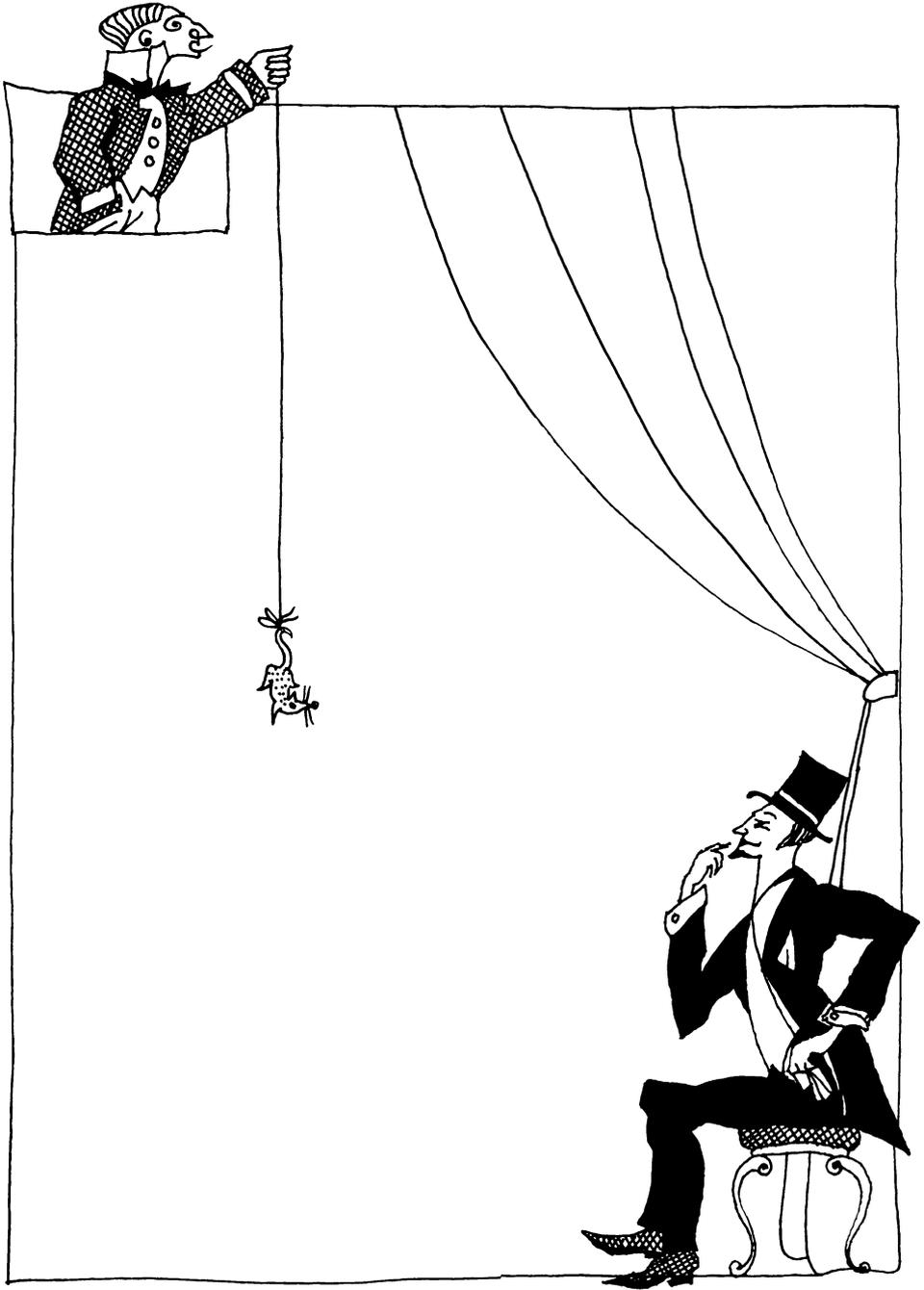
Аркадий
Аверченко
♦
РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ





Аркадий
Аверченко

РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

В двух томах

I



Издание подготовил
Д.Д. НИКОЛАЕВ

Научно-издательский центр
«ЛАДОМИР»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Серия основана академиком С.И. Вавиловым

М.А. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя),
В.И. Васильев, Т.Д. Венедиктова, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский,
Н.Н. Казанский, Н.В. Корниенко (заместитель председателя),
А.Б. Куделин (председатель), *А.В. Лавров, А.Е. Махов,*
А.М. Молдован, С.И. Николаев, Ю.С. Осипов, М.А. Островский,
Е.В. Халтфин-Халтурина (ученый секретарь),
К.А. Чекалов

Ответственный редактор
Н.В. Корниенко

Аверченко Аркадий

Рассказы (юмористические): В 2 т. / А.Аверченко; изд. подгот. Д.Д. Николаев. — М.: Ладомир: Наука, 2021. — Том I. — 516 с. (Литературные памятники / РАН)

© Николаев Д.Д. Текстологическая подготовка, 2021.

© Алексей Владимиров. Художественное оформление, иллюстрации, 2021.

© Научно-издательский центр «Ладомир», 2021.

© Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 1948 (год основания), 2021.

ISBN 978-5-86218-596-6

ISBN 978-5-86218-597-3 (Т. I)

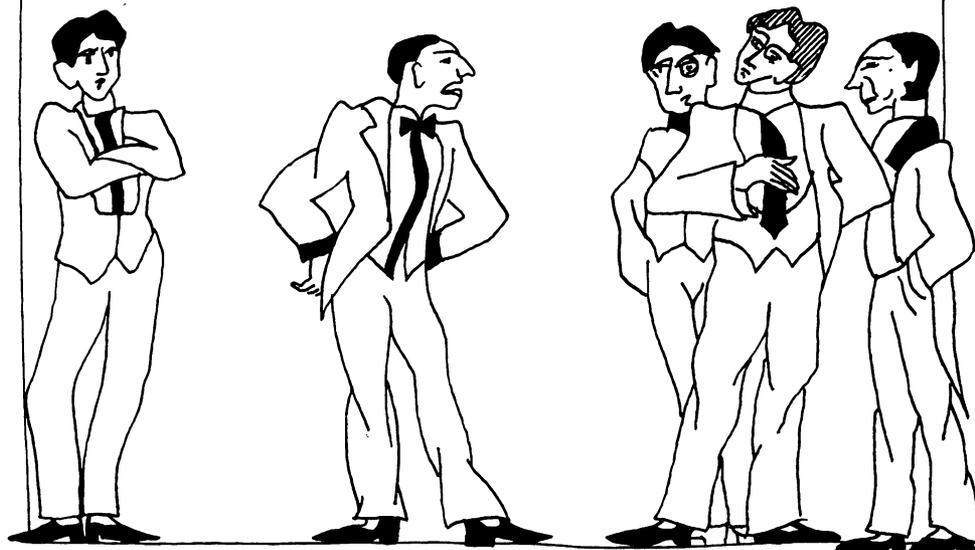
*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания
любым способом без договора с издательством запрещается*

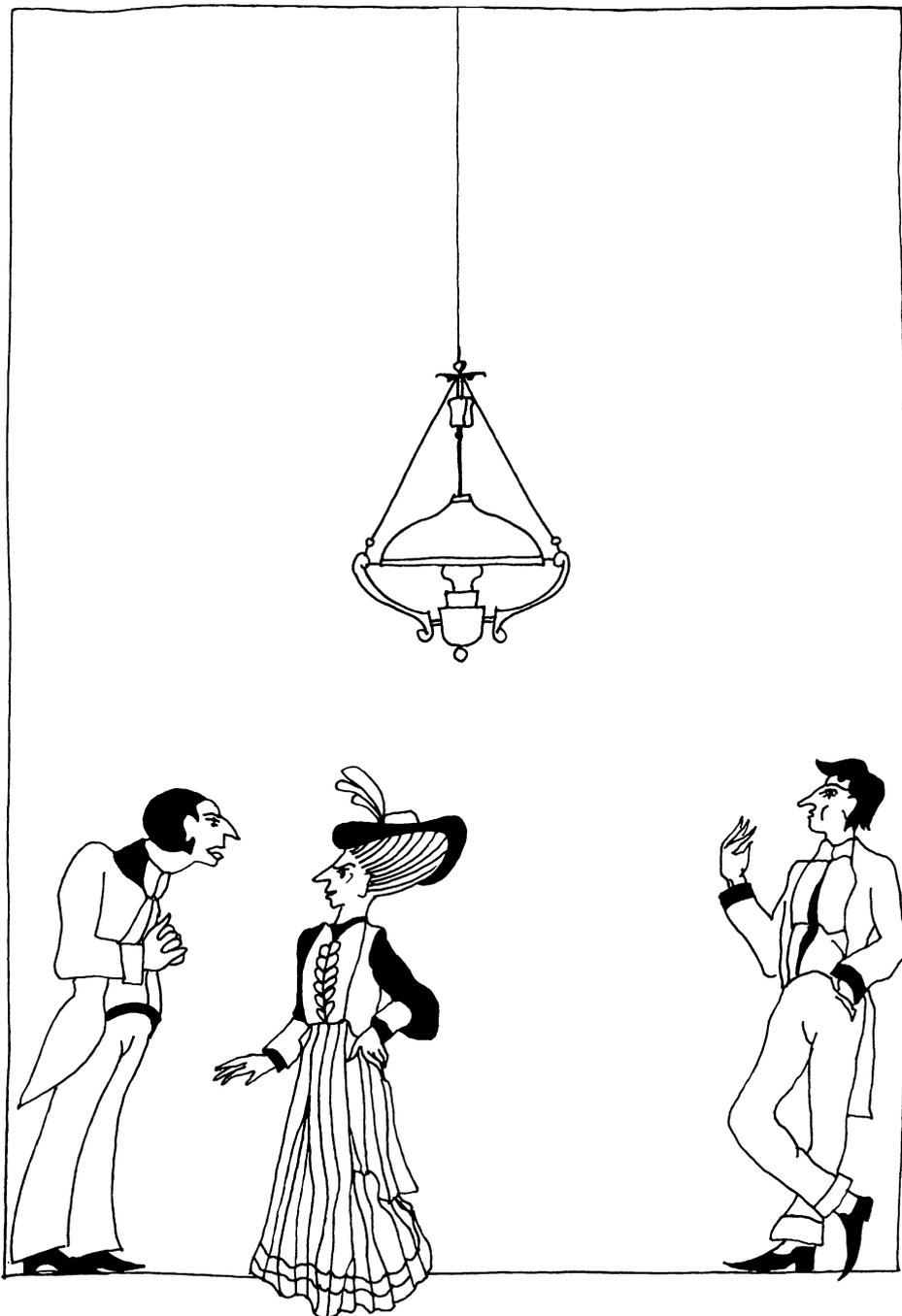


Аркадий Аверченко
1880—1925



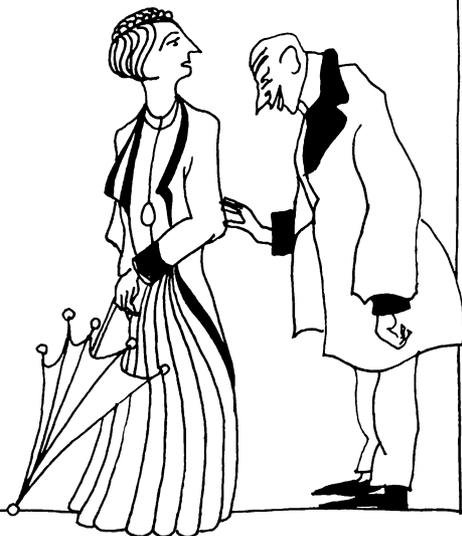
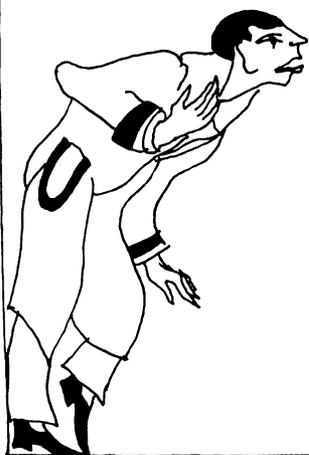
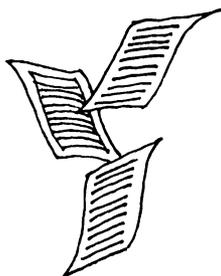
РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

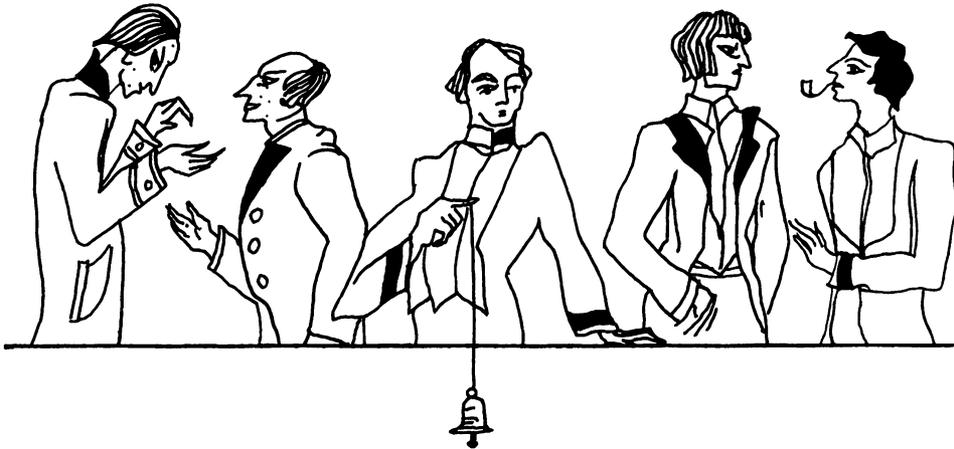




КНИГА

ПЕРВАЯ





ПОЭТ

— Господин редактор¹, — сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, — мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради Бога, простите меня!

— Ничего, ничего, — ласково сказал я, — не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

— Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стишки не подошли.

— Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

— Эти стишки не подошли?!

— Да, да. Эти самые.

— Эти стишки??!! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее волосы целовать...²

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

— Почему же, г. редактор? Ведь они хорошие.

— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

— Да вы бы их еще раз прочли!

— Да зачем же? Ведь я читал.

— Еще разик!!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не пойдут.

— Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

— Стихи не подходят.

— Удивительно. Знаете что: я вам оставляю рукопись, а вы после вчитаетесь в нее. Вдруг да подойдет.

— Нет, зачем же оставлять?!

— Право, оставляю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

— Не надо. Оставьте их у себя.

— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

— До свиданья!!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.

Прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтобы не гневался Аполл...

— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай!! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать... и т. д.

Недоумевая, как эта шгука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

— Покажи?!

Я взял бумажку и прочел:

— «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь: в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.

— Хотел бы я ей черный ло... Фу ты, черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом — в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

— Что такое?

— Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.
В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами,
было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон...

Всё от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

— От кого это?

— Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

— Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «каждое утро»... «черты... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

— Папочка! — радостно закричал Володя. — Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

— Я тебя высеку! — злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»... — Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения.

Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меня это *то* — на продажных тварей) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало — кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.



Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пыгался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...



ЗДАНИЕ НА ПЕСКЕ

I.

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

— Чья это ручонка? — спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства.

— Чья это маленькая ручонка?

Самое простое — жене нужно было бы ответить:

— Мой друг! Эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

— Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

— Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

— Суп, на второе — голубцы, а потом — крем.

Или:

— Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

— Да нет же! — хохотал он. — Что у нас должно родиться?

— Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас должен скоро родиться ребенок.

— Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

— Мальчик.

— Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

— Котлеты под морковным соусом.

Но говорю:

— Инженера.

— Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички?¹ А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи!

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

— Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

— Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

— Хороший нагрудничек.

— Да это — свивальник! А вот как тебе понравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я одобрительно киваю головой:

— Пангалончики?

— Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит.

А колыбельку вы не видели?

— Видел. Три раза видел.

— Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

— Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка, — скажет он мне, — папочка... дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

— Купи пуд², — советую я.

— Пуд, пожалуй, много, — задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

— А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

— А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

— Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и всё другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

— Что?

— Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличие всех этих вещей.

— Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

— Эй! — кричу я. — Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и, не прощаясь, ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

— А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II.

Недавно я получил странную записку:

Дорог Александ Сегодняя она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!!!!? ого-го-го!!

«Бедняга помешается от счастья», — подумал я, взбегая на лестницу его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

— Поздравь, — сухо ответил он.

— Жена благополучна? Здорова?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Оне еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

— Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

— Ха-ха! Можешь меня поздравить... пойдём, покажу.

— Он в колыбельке, конечно?

— В колыбельке — черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

— Послушай! — закричал я, отскочив в страхе. — Там, кажется, два!

— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

— Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

— А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

— Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

— Да не печалься, дружище. Еще не всё потеряно...

— Да, как же! Теперь я погиб.

— Почему?

— Видишь ли, пока что — я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки... У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелек и наем двух мамок...

Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут — учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... всё пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется — попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать — она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? чьи ушки?»

— Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Всё исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбелька... инженер...

— Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

— Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О, Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:

«Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования».



ЛЕНТЯЙ

На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок со мной сидел человек.

Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внимание, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее нелепым и странным поведением... Он сидел, скорчившись, подняв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, которую он читал, лениво водя по строкам полузакрытыми глазами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал глаза кверху и начинал смотреть на маленькую, ползущую по небу тучку или переводил взгляд на металлическую решетку сквера.

Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шевелил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевавшегося соседа.

Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодушно-сонным видом.

Но, перевернув таким образом несколько страниц, ветерок превратился в ветер и, дунув на нас, свалил книгу с колен сидевшего около меня господина.

Господин скользнул равнодушным взглядом по валявшейся на дорожке книге и, закрыв глаза, задремал.

— Послушайте... Эй! Слушайте... у вас упала книга, — сказал я, дергая его за рукав.

Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на книгу.

— Да. Упала.

— Так надо бы ее поднять!

Он обернулся ко мне, и в его сонных глазах засветилась хитрость.

— Не стоит вставать из-за этого... И вы сидите... Кто-нибудь другой поднимет.

— Да почему же? — удивился я.

В этот момент из-за поворота показалась женщина в платке, с корзиной в руках. Поравнявшись с нами, она увидела книгу, инстинктивно наклонилась и сказала, поднимая ее:

— Книжечка, господа, упала!

После чего положила ее на скамейку и, недоумевающе посмотрев на нас, пошла дальше.

Мой сосед открыл сонные глаза и подмигнул мне:

— Видите! Говорил я вам.

— Неужели вам было трудно самим поднять книгу?

— А вы думаете — легко!

Я разговорился с ним.

Около меня сидел Лентяй, такой чистокровный и уверенный в своей правоте Лентяй, каких мне до сих пор не приходилось видеть.

— В сущности говоря, — жаловался он мне, — на человека взвалена в жизни масса работы! Он должен пить, есть, одеваться, умываться, а если он религиозный, то и молиться Богу... Я уже не говорю о том обидном факте, что это даже не считается работой. Вы подумайте! *Кроме всего этого, он еще должен работать!* Миленькая планета, черти бы ее разодрали по экватору надвое!

— Как же вы живете? — спросил я.

— Какая же это жизнь, — простонал он. — Это мучение.

Наморщив брови, он, с явным желанием ошеломить меня, сказал:

— Представьте себе: вчера я должен был ехать к портному заказывать костюм!

Так как я остался равнодушным, то он продолжал:

— Да... заказывать костюм! Чтоб он лопнул по всем швам! Выбирать материю, подкладку, снимать мерку...

Я не выразил ему никакого сочувствия.

— Поднимите, говорит, руки! Снимите пиджак... Не горбитесь, вытяните ногу! А? Как это вам нравится...

— Жизнь ваша ужасна! — серьезно сказал я. — Отчего бы вам не покончить ее самоубийством?

Он откровенно сказал:

— Я уже думал об этом... Но понимаете, такая возня с этими дурацкими крюками, веревками... А тут еще эти письма писать... поздравительные, или как их там, что ли... Повозился, повозился, так и бросил.

Он поднял глаза к небу и сказал:

— Ах, черт возьми! Солнце уже заходит... Не можете ли вы сказать мне, который час?

— Мои стоят, — сказал я, взглянув на часы.

— Э, чтоб она пропала, эта преподлая планетишка! Крутится, крутится, а чего — и сама не знает.

— Часы можно проверить в магазине напротив сквера, — посоветовал я.

— Можно, — сказал он, ласково посмотрев на меня.

Я встал.

— Я пойду, посмотрю.

— Ах, мне так совестно затруднять вас! — воскликнул он, не вынимая рук из карманов. — Может быть, подождем прохожего, спросим у него.

Возвратившись, я нашел его в той же позе.

— Без двадцати семь!

— Что вы говорите! Чтоб это бабье попалил небесный огонь!

— Какое бабье?

— Да мне нужно сейчас в Александровский сад¹.

— Прекрасно! — сказал я. — Я тоже собираюсь туда. Отправимтесь вместе.

Лентяй не обрадовался, а умоляюще посмотрел на меня.

— Ради Бога! Не могли ли бы вы оказать мне одну огромную услугу... Раз вы идете в Александровский сад, то это так кстати... А уж я вам потом чем-нибудь отплачу... Тоже схожу куда-нибудь... Или нет! Лучше подарю очень забавную вещицу: китайский портабак...² А?..

— Сделайте одолжение! — сконфузился я. — Я и так...

— Вот что... На третьей скамейке боковой аллеи будет сидеть барышня в сиреновой шляпе. Это — моя невеста. Я ее очень люблю, и мы назначили свидание друг другу...

— Так отчего же *вам* не пойти! — вскричал я, пораженный.

Он виновато улыбнулся.

— Я лучше здесь посижу. Знаете, придешь — расспросы разные, ласки... ухаживать за ней нужно, занимать разговором... Это страшно утомительно... чтоб они треснули, эти романы! А потом нужно провожать ее домой... Я уж лучше после когда-нибудь.

— Что же ей сказать? — угрюмо спросил я.

— Скажите, что я болен, что у меня температура... что доктора с ног сбились...

— А если она все-таки захочет видеть вас?

— Скажите, что у меня заразительная форма. Может быть, она испугается.

Пожав плечами, я протянул ему руку.

— До свиданья!

— Всего хорошего... Вот мой адрес... Очень буду рад, если зайдете!

К невесте вы успеете как раз... теперь около семи часов.

Он вынул часы. Я воскликнул:

— Оказывается, у вас есть часы?!

— Да, — добродушно подтвердил он. — А что?

— Ничего... Прощайте!

Барышню я нашел в указанном месте.

Подойдя, раскланялся и вежливо сказал:

— Я от вашего жениха. Он болен и прийти не может!

— Как болен?! Да я его видела сегодня утром...

— Но сейчас он в опасном положении... У него... гм... температура.

— Какая температура?

— Такая, знаете... высокая! Что-то градусов сорок. Должен вам сообщить тяжелую весть: он лежит!

— Да он всегда лежит! Как только дома, так и лежит.

— Он страшно убивался, что не может вас видеть. Поставил себе термометр и говорит мне...

— Он поставил себе термометр? — строго спросила барышня.

– Да... знаете, Реомюра, такой никелиро...³

– Сам поставил?

Я покраснел.

– Сам.

Она посмотрела мне в глаза.

– Зачем же вы лжете? Он *сам* никогда не мог бы сделать этого...
Боже! Что это за человек? Нет, довольно! Передайте ему, чтобы он и на глаза мне не показывался!

– Если вы хотите ему насолить, то прикажите показываться вам на глаза три раза в день, – посоветовал я. – При его лени это лучший способ мщения.

Она рассмеялась.

– Ну, ладно. Скажите ему, чтобы он приехал завтра с утра. Мы поедем с ним по магазинам.

– Так его! – жестко проворчал я.

Расстались мы друзьями.

Я стал бывать у Лентяя, и между нами возникла какая-то странная дружба. При встречах я ругал его на чем свет стоит, а он добродушно улыбался и говорил:

– Ну, бросьте... ну, стоит ли... ну, охота...

Вчера я зашел к Лентяю и застал его, по обыкновению, лежащим в кровати.

Около него валялась масса изорванной газетной бумаги и пальто, очевидно, снятое и брошенное на пол впопыхах, по возвращении с обычной прогулки в сквере.

Лентяй повернул ко мне голову и радостно сказал:

– А-а, это вы! Признаться, я уже жду вас с полчаса...

– А что случилось?

– Не можете ли вы оказать мне одну дружескую услугу?

– Пожалуйста!

– Нет, мне, право, совестно! Я так всегда затрудняю вас.

— Да говорите! Если это для меня возможно...

— Я знаю, это вас затруднит...

— Э, черт! Вы меня больше затрудняете вашими переговорами!..

Скажите, что вам нужно?

— Не могли ли бы вы дать мне зонтик, который стоит в углу в передней?

— Что это вы! Неужели на вас дождь каплет?

— Нет, но проклятый портсигар, чтоб ему лопнуть вдоль и поперек, завалился за кровать.

— Ну?

— А в зонтике есть ручка с крючком. Я зацеплю его и выгашу.

— Так лучше просто засунуть руку за кровать.

Он почтительно посмотрел на меня.

— Вы думаете?

Я достал ему портсигар и спросил:

— Что это за бумага валяется вокруг вас?

— Газетная. Дурак Петр, чтоб ему кипеть на вечном огне, забыл на кровати разостланную сегодняшнюю газету.

— Ну?

— А я пришел и лег сразу на кровать. Потом захотелось прочесть газету, да уж лень было вставать...

— Ну?

— Так я вот и обрывал ее по краям. Оторву кусочек, прочту и брошу. Очень, знаете ли, удобно. Только вот с фельетоном я немного сбился. Как раз на середке его лежу.

Я открыл рот, чтобы обрушиться на него градом упреков и брани, но в это время в открытое окно ворвался чей-то отчаянный пронзительный крик.

Мы оба вздрогнули, и я подскочил к окну.

На воде канала, находившегося в двадцати шагах от дома, барахтался какой-то темный предмет, испуская отчаянные крики... На почти безлюдном в это время берегу бестолково бежали какая-то женщина и мальчишка из лавочки... Они махали руками и что-то визжали.

— Человек тонет! — в ужасе обернулся я к Лентяю.

Под ним будто пружина развернулась.

— Э, проклятый! — подбежал он к окну. — Конечно, тонет, чтоб его перерезало вечерним поездом!

И, сбросив пиджак, он камнем вывалился из окна. У Лентя был такой вид, что, будь окно в третьем этаже, он вывалился бы из него так же поспешно. К счастью, квартира Лентя была в первом этаже.

Помедлив минуту, я выпрыгнул вслед за ним и помчался к берегу.

Лентяй был уже в воде. Он плыл к барахтавшемуся человеку и кричал ему:

— Как можно меньше движений! Делайте как можно меньше движений!

Я уверен, что этот совет он давал просто из присущей ему лени.

Но сам Лентяй на этот раз обнаружил несвойственную ему энергию и сообразительность. Через пять минут мы уже вытаскивали на берег плачущего извозчика, который имел глупость упасть в канал, и моего Лентя — безмолвного, мокрого, как умирающая мышь.

Зубы у него были стиснуты и глаза закрыты.

Извозчик сидел на берегу и всхлипывал, а какой-то подошедший лавочник наклонился к лежащему Лентяю, пощупал его и сказал, снимая фуражку:

— Шабаш! Кончилась христианская душа!

— Как кончилась? — в смятении воскликнул я. — Не может быть! Он отойдет... Мы его спасем... Братцы! Помогите отнести его в квартиру... Он тут же живет... туг...

Мокрый извозчик, баба, лавочник и мальчишка подняли тело Лентя и, предводительствуемые мною, с трудом внесли в его квартиру.

Вся компания взвалила его на кровать, дружно перекрестилась и тихонько на цыпочках вышла, оставив меня с телом одного.

Тело пошевелилось. На меня глянул хитрый глаз Лентя:

— Ушли? — спросил он.

— Боже! Вы живы!! А я думал...

— Вы извините, что я вас затруднил. Мне просто не хотелось мокрому возвращаться на своих ногах, и я думаю: пусть это дурачье, чтоб их перевешали, понесет меня на руках. Я вас не затрудню одной просьбой?

— Что такое?

— Нажмите кнопку, которая над моей головой! Хотя мне, право, совестно...



СПЕЦИАЛИСТ

Я бы не назвал его бездарным человеком... Но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих... Кроме того, он был добр, и это было скверно. Услужлив, внимателен — и это наполовину сокращало долголетие его ближних.

До тех пор, пока я не прибежал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку: Усатов всё знал, всё мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости.

Однажды я сказал:

— Экая досада! Парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться.

Усатов бросил на меня удивленный взор.

— А ты сам побрейся.

— Я не умею.

— Что ты говоришь?! Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею?

— А ты... умеешь?

— Я?

Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно.

— Тогда, пожалуй.

Я принес бритву, простыню и сказал:

— Сейчас принесут мыло и воду.

Усатов пожал плечами.

— Мыло — предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами не верят¹. Я побрею тебя без мыла!

— Да ведь больно, вероятно.

Усатов презрительно усмехнулся.

— Садись.

Я сел и, скосив глаза, сказал:

— Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок.

— Ладно. В конце концов, это не так важно. Сиди смиренно.

— Ой! — закричал я.

— Ничего. Это кожа не привыкла.

— Милый мой, — с легким стоном возразил я. — Ты ее сдерешь прежде, чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет.

— Это кровь, — успокоительно сказал он. — Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной.

Он прилежно занялся другой стороной. Я застонал.

— Ты всегда так стонешь, когда бреешься? — обеспокоенно спросил он.

— Нет, но я не чувствую уха.

— Гм... Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим... Смотри-ка! Что это... У тебя ус отвалился!

— Как — отвалился?

— Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая...

— Разве это плохо?

— Да. Это у парикмахеров считается опасным.

— Тогда, — робко спросил я, — может, отложим до другого раза?

— Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?

Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.

Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.

— Милый, — сказала мне жена, — кстати, я вспомнила: пригласи настройщика для пианино. Оно адски расстроено.

Усатов всплеснул руками.

— Чего же вы молчите! Господи... Стоит ли тратить на настройщика, когда я...

— Неужели вы можете? — обрадовалась жена.

— Господи! Маленькое напряжение слуха...

— Но у тебя нет ключа, — возразил я.

— Пустяки! Можно щипцами для сахара.

Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам.

Пианино взвизгнуло.

— Правая сторона хромает! Необходимо ее подтянуть.

Он стал подтягивать, но так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.

— Разве? Ну, ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше.

Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощущивал педаль.

После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:

— Скажи, дружище... Черные тебе тоже подвинтить?

— Что черные? — не понял я.

— Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество.

Я взял из его рук щипцы и сухо сказал:

— Нет. Не надо.

— Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся.

Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день не потерянным, потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в резервуар и вывести камфарным маслом пятно с бархатной скатерти².

Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:

— К тебе не дозвонишься!

— Звонок оборвал кто-то. Вот приглашу монтера и заведу электрические.

— Дружище! И ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником... Кто же тебе и проведет звонки, если не я...

На глазах его блестели слезы искренней радости.

— Усатов! — угрюмо сказал я. — Ты меня брил — и я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино — и мне пришлось звать настройщика, столяра и полировщика.

— Ах, ты звал полировщика?! Миленький! Ты мог бы сказать мне, и я бы...

Он уже снял скюртук и, не слушая моих возражений, засучивал рукава:

— Глаша! Пойди, купи тридцать аршин³ проволоки. Иван! Беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления.

Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы доверить моему странному другу.

«Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист».

Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста:

— Слушай... Ведь она не изолированная?

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов.

— Что — от чего?

— От чего не изолированная?

— Ни от чего! Сама от себя.

— А для чего тебе это нужно?

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать.

— Отверстие в двери мы уже имеем. Надо протащить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто!

— А где же у тебя элементы?

— Какие элементы?

— Да ведь без элементов звонок звонить не будет!

— А если я нажму кнопку посильнее?

— Ты можешь биться об нее головой... Звонок будет молчалив, как старый башмак.

Он задумался.

— Брось проволоку, — сказал я. — Пойдем обедать.

Ему все-таки было жаль расстаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой, дикой души...

— Я возьму его с собой, — заявил он. — Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать.

Кое-что ему действительно удалось сделать.

Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом.

Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатова с худой, костлявой старухой болезненного вида.

— Вы говорите, что доктора не могут изгнать вашего застарелого ревматизма? Я не удивляюсь... К сожалению, медицина теперь — синоним шарлатанства.

— Что вы говорите!

— Уверю вас. Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете.

— Помогите, батюшка...

— О-о... должен вам сказать, что лечение пустяковое: ежедневно ванны из теплой воды... градусов так 45–50... Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном наваре...⁴ или еще лучше по два порошка цианистого кали в четыре килограмма. Перед обедом прогулка — так, три-четыре квадратных версты⁵, а вечером

вспрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь!..



СЛАВНЫЙ РЕБЕНОК

I.

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья... Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан — что было тоже неожиданно-любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирает ящик с красками в комод и запирает их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и пробовал, заперт ли он. Расчет у Сашки был простой — забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод...

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под

одеяла руку и разжал ее: со вчерашнего дня он всё время носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный, был здесь.

II.

Полюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было: узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, — она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну что же это такое? Ну как же это можно? Ну как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в «пуговицы»... Проигравшись дотла, он оборвал с себя всё, что было можно: штанишки его держались только потому, что он всё время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумался.

мал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кровати, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

— Не понимаю... Как она могла догадаться, что это я? — поражался Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III.

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так.

— Как — так?

— Да так.

— Ну так знай же, котлет ты не получишь!

— И не надо.

Сашка бьет наверняка. Он с деланной слабостью отходит к углу и садится на ковер.

«Бледный он какой-то сегодня», — думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну скушай же яйца! Мама просит.

— Не хочу! Сама ешь.

— А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота...

Мать встает и отправляется на кухню.

Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольников.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?

— Надо.

— Да для чего?

— Надо!

— Надо, надо... А для чего надо? Вот — не дам.

— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала... Думаешь, не видел?

— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доликает водой, насыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

IV.

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваньч! — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

— Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и всё может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши, да за дверь... Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

– Тш!.. Чего ты кричишь, – шипит квартирант, зажимая Сашке рот. – Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, мильй мальчик...

– Ма-а-ма! Он меня прогоняет!

– Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу, – входит мать. – Он вам, вероятно, мешает?

– Нет, ничего, – помилуйте, – морщится квартирант. – Пусть сидит.

– Сиди, Сашенька, только смирененько.

«Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой», – думает квартирант, а вслух говорит:

– Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит...

– Да, уж он такой, – подтверждает мать.

V.

За обедом Сашке – сплошной праздник.

Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и, когда результатом соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистной жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху.

– Я котлет не желаю!

– Почему?

– Они с волосами.

– Что ты врешь! Не хочешь? Ну и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом, решив, что наголодался за этот промежуток достаточно – пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее – голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

VI.

Обед кончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашку.

До отхода ко сну нужно успеть еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья¹ на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожника Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеет и обдумывает последний план: выждавши, когда все заснут, — пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах...

Они очень и очень пригодятся Сашке.



ПРАВЕДНИК

Бледные лучи лунного света робко прокрадываются сквозь маленькое запыленное окошечко и причудливыми бликами ложатся на лицо человека, сидящего с опущенной головой в камерке, убого меблированной.

Глубокие, черные тени пугливо прячутся во впадинах его изможденного, худого лица и только слегка бледнеют, ежатся и сокращаются, когда лицо поворачивается к окну.

Против него, совсем затушевываясь в густой тьме, помещается его собеседник. Последнего совсем не было бы заметно, если бы он по временам, в пылу горячего разговора, не приближал своей головы к полосе лунного света.

И тогда на его лице можно прочесть ужас и негодование.

Он изредка вставляет свои замечания и вопросы. Речь же другого, тихая и монотонная, льется как дождик в пасмурный осенний день.

— ...И хотя вы исходите весь мир, не найдете ни добра, ни справедливости... Поверьте-с! Со-о-орок лет!.. Сорок лет ишу ее, подлую, шарю по целому свету... И нет ни одного справедливого человека! Да-с! На что народ, народ-то наш православный, и то!.. Намедни говорю я Афимье, что через крыльцо у акцизного живет: «Эй, — говорю, — Афимья, не по-хорошему живешь! Солдат-то, что каждый вечер ходит на кухню, не муж ведь, чай, а? А ведь это грех... Уймись ты, — говорю, — Афимья, брось солдата, живи по-хорошему!» Так что же вы думали? Возьми она да расскажи это своему хахалю... Встречает он меня в переулке, к вечерне я шел, и шепчет: «Ты, — говорит, — барин, тово... Афимье не пой! А то я те, — говорит, — такое пение пропишу, что как по нотам...» Да кулачищем на меня...

— Известно, необразованность... — вздыхает хозяин!

— Какое! А выше-то лучше? — машет рукой оратор. — Один грех... Дело тоже такое вышло на днях. Сидим мы у Перепойкина, консисторского², пьем чай. Был и Турухтанов, знаете, что опекуном над карпычевскими сиротами назначили. Уж не знаю, как он их там опекает; а только, думаю себе, дело-то такое... соблазнительное. До греха рукой подать. А ежели что, то сирот жалко. Ежели, то есть, не по правде... И говорю я ему при всех, чтобы чувствительнее было и чтобы понял он, что я по правде. «Вот, — говорю, — Поликарп Семеньч, упредить тебя я хочу. Оно, конечно, ты, может, и честный человек... только не делай ты этого и сироток пожалей... Жалко ведь. Махонькие оне». И так это я хорошо сказал, что сам прослезился. А он, понимаете, вскакивает да на меня. «Это, — говорит, — что за намеки глупые!» — «И никаких намеков, — скромно я ему отвечаю, — нет; а плоть слаба, опять же махонькие оне... А ежели ты, — говорю, — пылишь и дымишь с первого слова, так это что-то подозрительно... Нет дыму без огня!» Не успел я этого, представьте, сказать, как он меня ручищей за воротник да об пол!.. Это за мою-то правильность! Тут шум, конечно, все повскачили; а я поднялся с полу, отряхнулся, взял шапку и говорю с христианским смирением: «Бог тебя простит, Поликарп Семеньч, только вижу я теперь, что подлец ты первостатейный, и сироток-то уж, без сомнения, обидишь, коли меня обидел...»

Теперь, слышь, в суд на меня подает за оскорбление словами... А какое тут оскорбление? Одно назидание!..

В каморке наступает мертвая тишина.

Слушатель долго, с благоговением, смотрит на гостя и наконец полуукоризненно произносит:

— И охота вам, Фома Еремеич, в чужие дела мешаться... Пользы никакой для вас, всё больше неприятности!..

Фома Еремеич сокрушенно ударяет себя по колену и шепчет:

— Не могу, брат, хоть ты что!.. Правду эту самую уж больно люблю. Ох, смерть моя! Где вижу несправедливость, на стену лезу!..

Он угрюмо молчит, но вдруг лицо его озаряется каким-то новым воспоминанием:

— А вы думаете, меня не били? Били-с! — язвительно шепчет он, наклоняясь к слушателю и пронизывая его во тьме своими слезящимися глазками.

У того на лице появляется выражение ужаса, и он инстинктивно защищается рукой, как будто от чего-то страшного.

— Били-с! Это уж купцы такие. Вдовица одна, которая бедная, покупает у него фунт сахару, можно сказать, на последнюю лепту. А он, представьте, ей чуть не полфунта бумаги оберточной на сахар наворотил. Ну, на что вдове бумага, посудите сами? Я не вытерпел и говорю: «Бога ты не боишься, Сиволдаев, — зачем вдову обижать? Мало, что обвесил, наверное, да еще и бумагу...» Горько!

Рассказчик замолчал...

— Ну?!

— Били меня приказчики в те поры сильно... Мне говорили: «Поддай на него!» А зачем? Я только для справедливости, чтоб по правде...

По лицу слушателя видно, что он страдает еще больше, чем страдал его собеседник во время избиения приказчиками. Благоговение, жалость, гнев на не понимающих праведника людей — быстро сменяются на лице его. Наконец он вскакивает, делает четыре шага вперед, потом поворачивается, как на оси, и шагает назад. Для чувств, которые его обуревают, мало комнаты длиной в четыре шага.

А Фома Еремеич уже рассказывает о каком-то капитане, который самовольно заложил золотые часы Фомы Еремеича, заставив его же и проценты платить.

Эти проценты — последняя капля в чаше невыносимо-удрученного состояния хозяина каморки.

Он, с нервно искаженным лицом, хватая рассказчика за плечи и поворачивает его лицо к лунному свету.

— Да вы что, — истерически взвизгивает он, — блажной, что ли, или в раю живете? Зачем же, зачем вы всё это делаете? Разве эти купчишки да капитаны поймут?! Не поймут они! Господи! А вы — смотрите! Вы даже не возмущаетесь...

Фома Еремеич устремляет неподвижные глаза на взволнованное лицо хозяина и тоскливо шепчет:

— А правда-то! Велика правда! И не терплю я несправедливости, каковой много на свете!..

И потом через минуту добавляет:

— Каковой о-чень много на свете...

Наступает долгое молчание. Слышны мягкие шаги хозяина и хриплое дыхание катарального горла Фомы Еремеича. В окно смотрит любопытная луна, вероятно, досадуя, что слой пыли мешает ей видеть происходящее. Гость машинально водит головой за шагающим хозяином и жуёт губами, очевидно, желая, но не решаясь что-то сказать.

Наконец он прерывает молчание.

— От дочки-то... от Верочки, говорю, известий не имеете?

— Ах, не напоминайте мне про нее! — досадливо машет рукой хозяин, и по его лицу пробегает мимолетная судорога боли. — Счастья захотела, отца не спросила, ну и что ж!.. Полюбуйтесь! Какое счастье... С офицером-то оно лучше, чем с отцом!.. Э-эх!

Он прислоняет лоб к окну и глядит прямо в желтое, нахальное лицо луны.

Глядит долго-долго... И до Фомы Еремеича доносится хриплый голос:

— Проклял я ее, вот что...

Гость неодобрительно качает головой.

— Прокляя! Сами бы вы на себя посмотрели, а потом и проклинали... дочку-то! Что греха таить, не сладко ей было у вас. Сами вы... и денег куча, а живете в какой-то собачьей будке; она же девица молодая, ей жить хочется, ну театры там, конфекты и всё такое... А какие у вас конфекты? Ничего такого нет у вас! И живете вы бобылем сейчас, и никто вам глаз не закроет, ежели что...

Хозяин сначала удивленно прислушивается к словам Фомы Еремеича, но потом вдруг бледнеет от злости и начинает кричать, заломивши руки:

— Позвольте! Что же это такое? Как это вы мне?.. Да это вас не касается!! Мои семейные отношения, они мои и есть; а вы... вы зачем же мешаетесь? И такие слова...

— Нет-с, вы позвольте! — вскакивает с места Фома Еремеич.

Его нельзя узнать. Он преобразился... Глаза у него уже не мутные, а грозные, сверкающие. Он делается выше ростом, и указательный палец его твердо и значительно устремляется на хозяина. Как боевой конь при звуке трубы, он выпрямляется при одном намеке на когда-то и кем-то совершенную несправедливость.

— Вы мне позвольте! Я долго молчал, полагал, может, одумаетесь; ан, оно вот что... Прокляя! Это по правде, а? А тебя бы, старого дурака, проклясть, — ты бы что запел? Она девица молодая, ей кон...фекты...

Дальше он начинает хрипеть, потому что рука хозяина схватывает его за ворот.

— А, так ты меня же... и упрекаешь! Я, может, страдал, как в аду, два года; а ты... конфекты!⁹ Я тебе дам конфекты... Не смей! Уходи, пока я не расшатался! Плохо будет... И не смей никогда ко мне ходить с такими словами... Уходи!

Через минуту Фома Еремеич, еще более похудевший и печальный, шагает по улице. Во впадинах под глазами сверкает по слезинке и губы дрожат от недавней обиды.

Он бросает взгляд на залитую холодным лунным светом улицу, на прозрачное звездное небо и шепчет сокрушенно:

— Такой широкий мир, и так мало правды... Гм... Даже странно!



ДВОЙНИК

Молодой человек Колесакин¹ называл сам себя застенчивым весельчаком.

Прятели называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку, разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим, и с Колесакиновыми приятелями.

Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тетки.

Его радовало всё: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком — всё это вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодушную улыбку.

Неожиданно за его спиной раздалось:

— А-а! Сколько зим, сколько лет!!

Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестящим от скупого вокзального света, как медный шар.

Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти всё колесакинское недоумение:

— Ну как же вы, батенька, поживаете?

«Черт его знает, — подумал Колесакин, — может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню».

И ответил:

— Ничего, благодарю. Вы как?

Медный толстяк расхохотался.

— Хо-хо! А что нам делается?! Ваши здоровеньки?

— Ничего... Слава Богу, — неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил:

— Отчего вас давно не видно?

— Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает... Ах, черт возьми — вспомнил! Ведь вы меня, наверное, втайне ругаете?

— Нет, — совершенно искренно возразил Колесакин. — Я вас никогда не ругал.

— Да, знаем... — хитро подмигнул толстяк. — А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.

— Неужели?

— Уверю вас! Кстати, что вспомнил... Позвольте рассчитаться. Большое мерси!

Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.

В Колесакине стали просыпаться его веселость и юмор.

— Очень вам благодарен, — сказал он, принимая деньги. — А скажите... не могли бы вы — услугу за услугу — до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный... послезавтра я вам пришлю, а?

— Сделайте одолжение! Пожалуйста! В клубе как-нибудь столкнемся — рассчитаемся. А, кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.

— Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.

Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые, как будто, глянули на свет Божий.

— Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?

— Да! — решительно и твердо сказал Колесакин. — У меня есть свои соображения, которые... Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне — вот и всё. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!

— Спасибо! — сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. — Кстати, что Эндименов?

— Эндименов? Ничего, по-прежнему.

— Рипается?

— Ого!

— А она что?

Колесакин пожал плечами.

— Что ж она... Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.

— Совершенно правильно, Вадим Григорьевич! Золотые слова. До свиданья.

Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных теткинских дел.

Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура и посылался радостный голос:

— Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?

«А она прехорошенькая! — подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неутомного юмора. — Моему двойничку инженеру живет, очевидно, повесело».

— Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? — любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением. — Поцелуй меня, деточка.

— Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?

— Я много передумал с тех пор, — сказал Колесакин дрожащим голосом, — и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь... Тут темно. Садись ко мне на колени...

– А знаешь что, – продолжал он потом, тронутый ее любовью, – переезжай послезавтра ко мне! Заживем на славу.

Девушка отшатнулась.

– Как к тебе?! А... жена?

– Какая жена?

– Твоя!

– Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра... Она – моя сестра!

– Но ведь у вас же двое детей!

– Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк... Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов... Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.

– А... сестра?

– Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей... Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера... Поцелуй меня, мое сокровище.

– Господи... Я, право, не могу опомниться... В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи...

– Оставь. Брось... До послезавтра... Мне теперь так хорошо... Это такие минуты, которые, которые.....

В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры.

Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.

– Давненько не изволили... забыли нас, Вадим Григорьич. Николай! Стол лучше господину Зайцеву. Пожалуйста-с!

На эстраде играл какой-то дамский оркестр.

Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.

Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться...

После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:

— Молчите, проклятые струны!²

В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей...

Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.

Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному своё имя и фамилию:

— Вадим Григорьевич Зайцев, инженер.

Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.

— Только, пожалуйста, послезавтра!

Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.

Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошел высокий, щеголеватый господин и строго сказал:

— Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались... Вы — инженер Зайцев?

— Да!

— Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?

— У Заварзеевых? Ни капельки! — твердо ответил Колесакин.

— Так вот вам. Получите!

Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.

— Милостивый государь! — вскричал Колесакин, пошатнувшись. — За что вы деретесь?..

— Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!

И, повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он — не Зайцев, что он пошутил... Но решил, что уже поздно.

Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съезжилось...

И при всей смешливости своей натуры — веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.



ДАЧНЫЙ ТЕАТР

В каждом дачном театре есть режиссер, и каждый режиссер — фармацевт. Это загадочное свойство дачного режиссера наблюдалось многими, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения... Те редкие случаи, когда дачный режиссер оказывался не фармацевтом, объяснились тем, что он имел брата или дядю — фармацевта, или сам в дни золотой юности мечтал, забившись в уголок, об этой почтенной, любопытной профессии.

Обязанности дачного режиссера заключаются в том, что он всегда безошибочно разрешает запутанные вопросы театрального быта, вроде таких: в ту или другую дверь нужно войти герою пьесы; или: как объяснить авторскую ремарку — *«она на коленях умоляет графа не покидать ее»?*.. Спрашивается: на чьих коленях она должна умолять: на своих собственных или графовых?

Авторитет режиссера в этих случаях стоит вне сомнений.

На его же обязанности лежит — выбрать пьесу. Пьеса может быть трудная, легкая, умная, глупая, сложная — это не затрудняет никого. Главное, чтобы в ней не было горничных.

Лакей, в крайнем случае, может быть терпим: всегда можно отыскать глупого, мрачного гимназиста, которому нечего терять в своей злосчастной жизни. Что же касается горничной, то ни одна барышня не поддается на эту удочку...

Конечно, можно было бы переделать горничную в лакея, но как это сделать — никто не знает.

Я знаю случай, когда одну барышню уломали-таки сыграть роль горничной. Ей нужно было выйти и сказать хозяйке во втором акте несложную, но необходимую в театральном обиходе фразу:

— Барыня! Чай в столовой подан.

Барышня надела для этого случая белое атласное платье, перчатки выше локтя, бриллиантовую брошь, а волосы украсила гирляндой из красивых роз... Войдя в нужную минуту в гостиную, она, помявшись немного, сказала:

— А я к вам, моя дорогая... Здравствуйте! Сейчас проходила мимо столовой и вижу, что самоварчик уже подан.

Хозяйке ничего не оставалось делать, как пригласить ее садиться и, ведя с ней светский разговор, перепутать всю пьесу.



Героя пьесы играет всегда гимназист, обыкновенно самый взрослый из всех, которых можно найти в данной дачной местности.

Укоренившийся обычай этого гимназиста состоит в том, чтобы за две недели до спектакля с ролью в руках бродить днем и ночью по окрестностям, появляясь неожиданно в самых отдаленных местах, пугая влюбленные парочки, изумляя мужиков, натякаясь на дремлющего рыболова...

В день спектакля гимназист начинает гримироваться. К этой загадочной для него операции он приступает с трех часов дня, если спек-

такль назначен в 9 часов, и с половины третьего, если спектакль — в половину девятого.

Все замыслы и стремления гримирующегося направлены обыкновенно к тому, чтобы как можно больше изменить свою наружность, сделать себя не похожим на свой обычный человеческий облик и услышать на спектакле восторженно-удивленный шепот знакомых:

— Да неужели же это Федя Мамахин?! Ни капельки нельзя узнать!

Густая черная борода, ярко-красные щеки и ряд морщин, проведенных в направлении, прямо противоположном и пересекающем обыкновенное место расположения будущих Фединых морщин, — всё это делает Федю личностью загадочной, неузнаваемой.

При этом лиловые морщины, перемежающиеся с зелеными и красными, приятно разнообразят Федино мертвенное лицо, свидетельствуя о том, что Федя ни одной из красок не оставил в обидном пренебрежении.

Кроме пугающего, страшного опасения, как бы не провалиться, гимназиста Федю тревожит еще задернутый завесой будущего вопрос: что скажет о нем пресса?

Представитель прессы сидит тут же в первом ряду и на всё бросает критические, полные глубокого анализа взгляды.

Это тоже гимназист, но страшный, зловещий в своей таинственности гимназист: он пишет статьи и уже печатается, пишет заметки и уже печатается, и пишет театральные рецензии, и тоже уже печатается...

Что-то он напишет?

Зловещий гимназист-рецензент при самом поднятии занавеса вынимает из кармана громадную записную книжку, карандаш и, взглядывая искусственно-рассеянным взглядом на сцену, начинает делать в книжке отметки.

И публика, увидя это, начинает перешептываться, и все бросают на самоуглубленного гимназиста благоговейные взгляды, а он никого не замечает и пишет, пишет...

Судя по тому времени, которое он затрачивает на писание своих впечатлений, предстоящих опубликованию, можно быть уверенным,

что на следующий день половина столичной газеты уйдет под правдивый отчет об этом спектакле...

Но на самом деле читатели встречаются на последней газетной полосе такие строки, напечатанные нонпарелью:¹

Вчера в нашем дачном театре состоялся спектакль. Давали: «Перепутались, а потом распутались». Исполнители были все на своих местах. Публики было много. По чаще бы устраивать, вместо пьянства и карт, подобные разумные развлечения!

Бывает и так, что ни одной строки не появится в газете о спектакле, хотя рецензент накануне исписал всю записную книжку.

Тогда рецензент уходит от людей, оскорбленный, в лес и долго бродит там, шепча запекшимися губами:

— Подлецы!

В день спектакля с самого утра у дачных актеров-любителей такое выражение лица, будто бы их пообещали высечь, или они, сговорившись поджечь ночью чей-нибудь дом, не знают, куда до вечера деть свои досуги.

Режиссер-фармацевт один сохраняет непоколебимое спокойствие. Но оно — наружное. Втайне его обуревают относительно спектакля самые черные мысли, вплоть до опасения, что актеры или публика могут его поколотить.

За два часа до спектакля выясняется, что режиссер, или его помощник, или суфлер, или кассир — ибо никто не знает, от кого это зависит, — совершенно упустил из виду одно обстоятельство: в третьем акте требуется декорация леса, а ее нет!

Гостиная есть, павильон есть, бедная комната есть, а леса нет.

И вот, в этом случае, нет ничего находчивее режиссера: театральный плотник командирится в близлежащую рощу с категорическим приказанием вырубить тайком и принести лес, в количестве пяти-шести малолетних деревьев, которые потом и прикрепляются гвоздями впереди «бедной комнаты», знаменующей собой необъятную лесную даль.

Таким же образом вид «скалы на взморье» получает полную иллюзию с помощью венского стула, обернутого серой бумагой, а луна просто выбрасывается, как светило второстепенное и всем достаточно намозолившее глаза в действительной жизни...

Двенадцать часов дня.

Так как объявлена «предварительная продажа билетов», то кассир уже на месте. До восьми часов вечера предварительная продажа дала такие результаты: какая-то старушка спросила билет в десятом ряду, но, узнав, что он стоит 60 копеек, — обиделась и ушла; ее заменил толстый отец семейства, сделавший кассиру заманчивое предложение продать семь билетов — «гуртом», за что и требовал сорока процентов скидки; получив отказ, он уступил место бойкой барышне, которая очень настойчиво просила кассира:

— Передать сестрам Дубининым, если они придут, что Иван Алексеевич завтра не придет... так и сказать: завтра не придет!

Чем предварительная продажа билетов и заканчивается.

Кассир дремлет, рассматривая от скуки лицо красного здоровенного парня, поставленного около кассирской будки с целью регулировать напор толпы.

За отсутствием толпы, парень регулирует наплыв тучи комаров, нанося звонкие удары по своему лицу, шее и прочим частям упитанного тела.

Скучно. Жарко.

К 8 часам начинает сходитья публика.

Раздается звонок, еще и еще. Услышав три звонка, публика стремглав бросается занимать места и потом сидит около часу перед опущенным занавесом:

— Время! Давай! Начинай!! Три звонка было!

Потом публика получает через знакомого с артистическим миром дачного юношу конфиденциальное уведомление, что звонки эти по ошибке были даны малолетним сынишкой инженеру-драматик², нашедшим в углу звонок, но это публику не успокаивает.

— Время! Врремячко!

Давно жданный момент... Поднимается занавес!

Перед публикой черный, зияющий провал неосвещенной сцены, и оттуда доносится неизвестно чей голос:

— Эти яркие, солнечные лучи, льющиеся в комнату, напоминают мне детство...

— Ничего не вижу! — раздается чей-то откровенный голос из публики.

Пользуясь темнотой, лицо, вспомилавшее свое детство, выскальзывает за кулисы и шепчет режиссеру:

— Рампа не освещена! Забыли лампы зажечь!!

Минут через пять парень, состоявший ранее в роли сдерживающего элемента против наплыва публики, перелезает через барьер и начинает возиться с рампой... Шарит по карманам, перелезает обратно через барьер и, по-товарищески, обращается к зрителю первого ряда:

— Нет ли спичечки?

У того нет. Поиски переходят во второй, в третий ряд, и наконец парень, довольный своей судьбой, в третий раз перелезает через барьер.

Лампы сияют.

— Эти яркие солнечные лучи, — говорит героиня, — напоминают мне дет...

— Вы это уже говорили! — замечают ей из заднего ряда.

— Тихе!

— ...Я помню высокий, высокий лес, птичек, которые...

Потный, озабоченный кассир входит в сопровождении незнакомца, таща за собой, во избежание кражи, остаток билетов и коробку из-под гильз с деньгами — и обращается к господину в первом ряду:

— Нет ли у вас 25 рублей разменять? Вот они покупают билет, так им сдачу нужно.

Кто-то меняет. Сначала считает деньги меняющий, потом кассир; потом господин, купивший билет. У кассира не хватает 30 копеек; меняла сомневается в доброкачественности двадцатипятирублевки, а господин, купивший билет, рассыпает мелочь, после чего первый ряд и часть второго принимает деятельное участие в розысках.

Внимание остальной публики приковано к трем лицам, запутавшимся в сложной финансовой комбинации. Артисты в это время тер-

пеливо ждут, причем героиня даже «играет»: с деланным любопытством смотрит в окно из крашеного полотна.

Все деньги собраны, пересчитаны, и владелец их вежливо обращается к сцене:

- Извините, господа! Можно продолжать.
- ...Эти яркие солнечные лучи... — надрывается суфлер.
- Эти яркие солнечные лучи... — аккуратно повторяет героиня.

Входит жизнерадостный дачник и, изумленно смотря на сцену, кричит:

- Петька! Ты! Я тебя сразу узнал!
- Он самый, — отвечает комик. — Только ты не мешай мне сейчас: я играю.
- Ну, играй! А после конца можно к тебе в уборную?
- Заходи!
- Эти яркие солнечные лучи...
- Бис!! — как выстрел раздается со стороны экспансивной галерки.

Так весело и разнообразно проходит спектакль.

В третьем акте живой лес вызывает восторги публики, но когда одно дерево, не выдержав напора первого любовника, валится на публику — поднимается суматоха... Любовник и комик перескакивают через барьер, забирают обратно свое дерево и тут же, увидя знакомых, мимоходом здороваются:

- Здравствуйте, Марья Евграфовна.
- Неужели это ты, Федя? Прямо бы не узнала тебя.
- А Ваську узнали? Вон он играет старого банкира.

Рецензент в уголке прилежно пишет:

«Спектакль прошел с большим успехом... Все исполнители были на своих местах...»

А исполнители в это время садятся на свободное место во втором ряду и, пока плотник снова приколачивает дерево, — заводят друже-

ский разговор с соседями, беззастенчиво разоблачая тайны святого искусства Мельпоменг³.



ДВА МИРА

I.

Два человека шли по пыльной, залитой светом луны улице города Чугуева¹ и беседовали:

— Так, значит, так-то, брат Перепелицын...

— Именно так, Никеша.

— В Питер, значит... Только как же ты поедешь, если не знаешь, что там еще с тобой будет?

— Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому приятелю Шелестову, чтобы он узнал — как и что. Скажем — три дня письмо туда, три дня — ответ обратно. Ну... да день ему на справки. Итого — через неделю получу.

II.

Два человека лежали на диванах в большой мебелированной комнате, выходявшей окнами на шумную петербургскую улицу, и тихо беседовали:

— Сегодня Стрелка², завтра — Стрелка. Сегодня «Аквариум»³, завтра — «Аквариум»... Скучно, брат Шелестов... Правильно сказал великий психолог Гоголь: скучно жить на этом свете, господа!⁴

В дверь постучали.

— Вам письмо, господин Шелестов!

— От кого это? — лениво спросил приятель Шелестова, забрасывая ногу на спинку дивана.

– Недоумеваю... Гм... Какой-то Перепелицын... Чего ему нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуева... Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с которым мы во дни оны играли в «перья» и воровали огурцы на огородах.

– Наглец! – сказал, зевая, приятель Лошадятников. – Не хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений, – шантажировать тебя?

– «Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на меня за то, что я за эти шесть лет не удосужился написать ни строчки, но что поделать – такова уж городская шумная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело – недавно приезжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хорошо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень удивит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой Звездич».

– Кто сей Пальцев? – спросил Лошадятников.

– Понятия не имею!

– Так что выбор акушерки Звездич и ее дальнейшая судьба тебя не заинтриговывает?

– Ты видишь – я остаюсь совершенно хладнокровен. Продолжаю: «У меня к тебе есть маленькая просьба, которую, надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати Шанкс – нельзя ли достать “Вестник Моды”⁵ за прошлый год № 9, – ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом. Твой Илья Перепелицын».

Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принялся складывать из письма петуха. Когда это занятие ему надоело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.

– Ты бы хотя адрес его заметил... – сказал Лошадятников.

– Чей адрес?

– Куропаткина.

– А на что он мне?

– Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.

III.

Прошла неделя.

— Вам письмо, барин!

Шелестов повернулся на кровати и прищурился на горничную.

— Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойди ближе.

У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображения и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.

— От кого бы это?

Писал Илья Перепелицын.

Дорогой Петруша!

Прошла неделя, а от тебя ответа нет. Сомневаюсь — получил ли ты мое письмо? На всякий случай, прошу тебя, кроме политехникума, захватить на фельдшерские курсы и узнать условия приема и программу. Кстати, можешь Кате Шанкс «Вестник Моды» не высылать. Она нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми — ты не поверишь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна заполз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда уходила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да, — забыл я прошлый раз написать, — кланялся тебе Гриша Седых. Представь себе — он уже в аптеке фармацевтом. Дорогой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта⁶ и узнай — есть ли пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть — вышли наложенным платежом. Буду весьма благодарен... А Пальцев уже ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии.

Твой Илья Перепелицын.

В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.

— А у меня есть ложа на Крестовский...⁷ товский, товский, товский, кий!

— Можешь представить себе, Митя, потрясающую новость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.

Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрытыми глазами:

— Какой Палец? Какого Ионы?

— Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нужным поставить меня в известность Илья Перепелицын.

— Какой Перепелицын?

— Боже ты мой! Перепелицын — знаменитый чугуевский Перепелицын. Но ты — сущее дерево... Ты способен остаться равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фармацевтом?

— Ах, это тот... чудака пишет? Еще что-нибудь поручает?

— Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за грампластинками.

— Что ж ты?

— Ну, конечно, я моментально. Сейчас же лечу как молния.

— Однако слушай... Брось глупости. Поговорим о серьезном. Ты едешь завтра в Павловск?⁸ Будут Мушка и Дегтяльцева.

— Вам телеграмма, — сказала горничная, просовывая в дверь руку. Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развернул ее.

— От кого? — спросил Лошадятников.

— Ну, конечно же... от Ильи Перепелицына. «По некоторым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встретить меня на Николаевском вокзале⁹ завтра утром Илья Перепелицын».

— Шелестов?!

— Ну?

— Ведь он дурак?

— Форменный.

За окном заиграла шарманка.

Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это несложное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:

— Сегодня свободен?

— По горло. В двенадцать — «Отель де Франс»¹⁰, в половине второго — банк, в четыре к Уржумцеву, семь — у Павлищевых и десять — Крестовский.

— И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе акушерки Звездич и поведении Пальцева?

— Что делать! Такова участь о. Ионы, — вздохнул Шелестов.

IV.

Через три дня Шелестов получил письмо:

Дорогой Петруша!

Я страшно перед тобой виноват. Ты, наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня. Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятельства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но ты не беспокойся — я сообщу тебе точный день выезда. Пластинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю почему: вероятно, задержка в дороге. Можешь представить — о. Иона узнал обо всём, и вышел большой скандал. У нас открылся новый биоскоп¹ — уже по счету третий. Помнишь Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил тебе кланяться. Он еще здесь.

Твой Илья Перепелицын.

Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:

— Знаешь, твой этот Перепелицын начинает мне нравиться. Роскошный юноша!

V.

Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова, Лошадятникова и Перепелицына.

Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на политехнические курсы, а просто жившим в столице на те 100 рублей, которые прислали ему родители.

— Перепелка! — сказал, входя, Шелестов. — Вот тебе письмо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.

— От кого?! Решительно недоумеваю...

Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.

— «Дорогой Ильюша, — прочел он. — Тебе все кланяются. Пишу тебе это я, Никеша... Голубчик, большая к тебе просьба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических принадлежностей и узнай — сколько стоит “Кодак”¹². Если недорого — вышли наложенным платежом. Еще просьба — вышли дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно. Какие у вас стоят погоды? А знаешь — вчера видели Пальцева с Корягиной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи в письме, не родственник ли Леонид Андреев¹³ купцу нашему Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим вопросом. Твой Никеша Чебурахин».

— Слушай, Перепелка, — сказал Шелестов, выслушав содержание письма, — ведь этот Никеша, очевидно, — дурак?

Перепелицын пожал плечами.

— Форменный.



ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОМЕРА 24345

I.

Видел кто-либо лицо Судьбы?

Она всё время вертится, суетится около нас; забежит вперед, отстанет и некоторое время держится позади; взовьется кверху и, сдернувши с карниза строящегося дома кирпич, укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим, плохо защищенным шляпой теменем¹. Сейчас же она, не обращая больше на вас внимания, привяжется к другому прохожему, остановит его у окна модного магазина, высуня язык помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку, обязательно притащит ее к тому же самому окну... И прохожий

посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бестолковая Судьба ковыляет за ними, пока прохожий не разговорится с дамочкой и не пригласит ее поужинать с ним в каком-либо укромном ресторане... Здесь Судьба на минуту бросает парочку и мчится как вихрь за женой вышеуказанного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке, куда выходит подъезд в кабинеты ресторана.

И, конечно, жена застаёт мужа с незнакомой дамой, и раздражается скандал у подъезда, а Судьба уже забыла о проведенной ею комбинации и мчится дальше, толкнув мимоходом мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает холодным, смертоносным ветром и через неделю валит его в черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному лодырю и лежебоку, неожиданное, полумиллионное состояние.

Для чего нужно ей всё это?

II.

В ночь с 23-го на 24-е число недалекая, бестолковая Судьба обратила внимание на скромного легкового извозчика № 24345 и, со свойственной ей дикой энергией и суетливостью, занялась номером 24345.

Она остановила его на углу большой улицы и тихого переулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые могли бы нанять номер 24345, а сама хлопотливо заковыляла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно номер газеты, в котором была помещена публикация о новом большом кафешантане.

Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко потянулся и сказал:

— А отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и поедем вместе.

Через десять минут мировой судья Колесников вышел на улицу и крикнул:

— Извозчик!!

Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал – и скоро Колесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи.

Извозчик завез судью на длинную, тихую улицу, где они захватили красивую, худощавую женщину в громадной шляпе, а потом поехали в кафешантан.

Извозчик завел было разговор с седоками об околоточном², который неправильно записал его адрес, но седоки его не слушали, а говорили о своем.

– Мы просмотрим программу и выпьем бутылочку бургундского...
Ладно?

– Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское?

– Еще бы.

Извозчик прекратил разговор об околоточном, покачал головой и прошептал:

– Бурхунцкое... Поди жь ты!

Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, лениво затрусил к стоянке.

III.

В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день утром, когда № 24345 мыл на извозничьем дворе свою пролетку³, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало около восьмисот рублей.

– Бурхунцкое, – укоризненно проворчал извозчик.

Потом снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, значительно поджав губы, сказал:

– Нельзя! Надо отдать. Господин с переулку потеряли. Которые бурхунцкое пьють.

Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумажником радостно, видимо, втайне пораженный его честностью. Тут же под их ногами вертелась Судьба, скаля зубы, носясь от одного к другому и заглядывая в лицо то извозчику, то мировому судье.

Извозчика пригласили в кабинет.

Мировой судья Колесников, взявши бумажник, пожал номеру 24345 руку, угостил папиросой и минут пять любезно беседовал с ним о тягостях извозчичьей жизни.

На прощанье поблагодарил, еще раз пожал руку и дал, в виде благодарности, пятнадцать рублей.

IV.

Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, посмотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво сказал:

– Дурные деньги! Надо их, не иначе, пропить...

В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, приделся и пошел в трактир «Перепутье путников»⁴ – заведение, пользовавшееся славой лучшего извозчичьего отеля.

– Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки посолонее и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек.

Извозчик был честный мальи́й, но в нем преобладала свойственная многим ординарным людям жилка тщеславия: он вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь. Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того, чтобы они были ближе на случай расходов; попросил, чтобы ему поставили водку в такую же металлическую посудину, как у его соседа, пившего вино...

После чего принялся пить и есть.

Часы всё время неловко болтались на груди, попадая от времени до времени в тарелку с котлетами; деньги держали извозчика всё время в тревожном состоянии, так как он боялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино; и полбутылка водки в серебряном ведре всё время тонула в массе льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, чтобы выловить ее из ведра.

Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на седьмом небе.

После третьей полбутылки он принялся за пиво, а, почувствовав себя пьяным, потребовал чаю...

V.

Всё могло бы этим и кончиться, но бестолковая Судьба прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его толстые, могучие плечи и красную мокрую шею...

— Чего бы такоича еще выпить? — задумался извозчик. — Эге! Как его... А право! Что ж мы не люди, или как? Могу я себе доставить удовольствие? Явное дело — могу. Господин человек!!

Над ним наклонился грязный официант.

— Что прикажете?

— Бурхунцкого. Полбутылки бурхунцкого с закуской.

— В полбутылках нет. Есть в бутылках.

Извозчик неожиданно для себя захохотал.

— Шут его бери! Давай бутылку! Только это самое... полнее!

И пил извозчик номер 24345 бургундское, пил, мокрый, багровый, пока окончательно не захмелел.

А к буфету в это время подошел длинный, костлявый человек, которого Судьба только что затащила в трактир, и заказал себе рюмку водки.

Извозчик подмигнул ему.

— Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунцкое!

— Вам какое дело! — сердито возразил костлявый человек. — Вас не трогают!

— Дурашка... — поднял удивленно брови номер 24345. — Разве я что...

— Сам дурак! — злобно крикнул человек. — Зубы чешутся?

— То есть как чешутся? — ухмыльнулся добродушно извозчик.

— Почистить их надо — вот как!

Номер 24345 неожиданно для себя встал.

— Ах ты, прохвост! Забияка паршивый! Дьявол нечесаный! Шкилет разнесчастный. Мне зубы чистить? А этого не хотел?

Многим известно, что на воспитанных интеллигентных людей бургундское производит действие легкого, веселого, благородного опьяне-

ния. Но редко кому приходилось наблюдать действие бургундского на извозчиков.

Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул буфетную стойку. Через пять минут на тротуаре перед трактиром в ночной мгле возилась странная черная куча, из которой вырывались свистки и доносились голоса:

– Крепкаяй, черт!.. Бей его сюда! Так...

– Ах, собака. Гляди, руку прокусил!

– Ой-ёй, братцы!.. Часы... кто серебряные часы оборвал? Да пусти, дьявол!

– А, ты так?.. Вот же тебе...

VI.

Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный тряпками извозчик номер 24345 и давал показания.

Тут же в камере находились официанты, буфетчик, городовые и ночной сторож.

Сначала Колесников не узнал почерневшего забинтованного извозчика. Он спросил его:

– С чего же вы это так разгулялись?

– Дык с тех же пятнадцати... что ваша милость намедни прожертвовала за кожаный портмонет. Не признали?

Мировой судья Колесников был умный человек. Он вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность номера 24345...

И подумал:

«Если бы я не поехал в шантан, то не потерял бы бумажника, он бы его не нашел, я не наградил бы его пятнадцатью рублями, он не напился бы на них и не устроил бы безобразного побоища...»

Судья упустил только одно звено из этой цепи: если бы он не заговорил с женщиной о бургундском – извозчик номер 24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой дороге жизни.

Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца-буфетчика и, улыбнувшись в усы, сказал:

— Гражданский иск в сумме сорока рублей 20 копеек будет удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспокойтесь. Гм... А дело о нарушении тишины за... гм... недоказанностью — прекратить!

А Судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив входившего в камеру письмоводителя из участка, оставила извозчика в покое и увяла за ним.

В тот же день письмоводитель взял взятку так неудачно, что его уволили.



ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

I.

У Суры Фрейберг из местечка Выркино¹ было семеро детей и ни одного мужа.

Сначала был муж, а потом его посадили за какие-то слова в тюрьму, и тогда он, — как говорила, качая головой, мадам Фрейберг:

— Постепенно сошел на нет.

Сура, не вступая в неприличную перебранку с равнодушным небом, обидевшим ее, поступила чисто по-женски: стала торговать на базаре шпильками, иглоками и лентами, перекрашивать заново старые платья выркинских франтих, вязать по ночам чулки, жарить пирожки, которые потом через маленького Абрамку выгодно сбывались выркинским гастрономам, шить мужские рубашки и метить носовые платки.

Впрочем, эти веселые, забавные занятия не должны были отрывать Суру от ее прямых обязанностей: придя в сумерки из лавки — разыскать семерых маленьких человечков, которые за долгий день успевали,

как раки из корзины, расползтись по всему местечку, — вернуть их в отчий дом, обругать их, проклясть, переколотить всех до одного, вымыть, накормить и, перецеловавши, — уложить спать, что давало возможность приступить на покое к одному из перечисленных выше веселых занятий.

А утром хлопот было еще больше.

Все просыпались сразу, и сразу же начиналась комичная путаница и недоразумения с тринадцатью башмаками (Давиду в свое время телегой отрезало одну ногу), с тринадцатью чулками и с целым ворохом тряпья, пока всё разобранное не рассасывалось по худым ногам и узеньким плечикам обладателей этих сокровищ.

Сортировка башмаков отнимала у Суры столько времени, что она не успевала проклясть всех семерых, и колотушки по утрам распределялись крайне неравномерно: некоторым счастливым перепала двойная порция, а некоторым приходилось дожидаться вечера.

И, дожевывая кусок хлеба, мадам Фрейберг хватала шаль, вязанье, стремглав бежала из комнаты и, наткнувшись в дверях на какого-нибудь маленького Семку, торопливо спрашивала:

— И когда этого ребенка от меня черти возьмут, чтоб он не путался под ногами?

Маленький Семка открывал рот — не то для того, чтобы точно ответить на материнский вопрос, не то просто захныкать, но мадам Фрейберг уже не было.

Она уже летела по узким улицам Выркина и рассчитывала убогим женским умом — сколько продаст она за сегодня шпилек и булавок и что ей от этого будет...

II.

Не так давно, вернувшись вечером с базара, мадам Фрейберг с материнским беспристрастием прокляла детей — всех до единого, дернула за ухо Давида, толкнула Семку и, взяв на руки двухгодовалого Арончика, стала плакать привычными, надоевшими ей самой слезами.

Покончив со слезами, она нечаянно остановила взгляд на сияющем от съеденного масла лице Арончика и — ахнула...

— Что это? Что это? Что это с твоим глазом, мой маленький хорошенький цыпленочек? Что это с твоим глазом, чтоб ты провалился сквозь землю, паршивый мальчишка, который только и мечтает, чтоб напортить своей мамаше. Ой! У него глаз-таки красный, как мак, и со слезой, как какой-нибудь водопад... Ой, мое горе!

Теперь плакали три глаза: два — мадам Фрейберг и один — маленького Арончика, красный, слезящийся, полуприкрытый отяжелевшим веком.

А около прыгал на одной-единственной ноге Давид и высасывала из порезанного пальца кровь девочка Раичка.

Было превесело.

III.

На другой день глаз Арончика, вместе с его равнодушным ко всему в свете обладателем, был выгашен из дому и представлен на строгий суд добросердечных соседок мадам Фрейберг.

— Ты, мальчик, что-нибудь видишь с этим глазом? — спросила мадам Перельмутер.

— Уй, — неопределенно пропищал мальчик.

— Что он понимает... — сказала старая Гительзон. — Что он понимает — маленькая глупая крошечка? Его нужно везти к главному доктору!

— К тому, который глаза лечит, — подтвердила мадам Штильман.

— Который живет десять часов по железной дороге, — любезно сообщила мадам Перельмутер.

— Десять часов туда — десять часов обратно, — разъяснила старая Гительзон.

— Мадам Фрейберг! — сказала зловеще-спокойно мадам Перельмутер. — Глаз этой малютки обойдется вам до пятнадцати рублей.

Мадам Фрейберг стиснула зубы, напустила на лицо каменное выражение и спокойно сказала:

— Хорошо. Для моего ребенка я это сделаю.

Она взяла сына за руку и добавила:

— Пойдем домой, чтобы черти сегодня же отнесли тебя в нечистое место!

IV.

Мадам Фрейберг последние дни очень спешила.

Денег было всего около восьми рублей, глаз Арончика краснел, как рубин, а спрос на шпильки и ленты упал до смешного.

Поэтому Абрамка продавал теперь двойную порцию пирожков, мадам Фрейберг спала только в то время, когда умывала, проклинала и целовала детей, а все ночи — шила, вязала, и такую роскошь, как плакать — позволяла себе не больше десяти минут на день.

Когда у нее накопилось двенадцать рублей, то пришли утром соседки: мадам Перельмутер, и мадам Штильман, и старая Гительзон — и сказали:

— Что значит! Возьмите еще пять рублей у нас, мадам Фрейберг. Они же вам сейчас — да, нужны.

Так как несколько минут было свободных, то мадам Фрейберг заплакала, беря деньги, и сейчас же, перейдя на деловой тон, решила ехать с Арончиком сегодня вечером...

V.

С базара Сура прибежала за сорок минут до поезда. Так как сорок минут нужно было ехать до станции, то Сура схватила Арончика, закутала его в большой платок, перелетела к столу, схватила узелок с провизией, перелетела к Раичке, дала ей тумака, крикнула Давиду: «Смотри, не бей детей — ты старший!», пощупала в кармане деньги, уронила узелок с провизией, подняла его и — скрылась с последними словами:

— Умойте, накормите маленьких!

Когда мадам Фрейберг села в вагон, она вздохнула свободно и сказала себе:

– Мадам Фрейберг, теперь ты можешь до утра поспать! Хе-хе... Я думаю, ты таки заслужила это, мадам Фрейберг.

VI.

Утром Сура сидела в приемной окулиста, держа на руках спящего Арончика, закутанного в теплый платок, и нервно ждала очереди.

– Пожалуйста!

Сура поднялась, вошла в приемную и низко поклонилась доктору:

– Здравствуйте, господин врач! Как поживаете? Принесла вам свою малютку. С глазом что-то такое делается, что ума не постижимо. Чистое мучение.

Доктор подошел, помог Суре развернуть платок и, открыв мальчику глаза, посмотрел на них.

– Гм... – пробормотал он. – Странно... Ничего снаружи не заметно.

И здесь раздался странный, хриплый, надтреснутый крик матери:

– Господин врач! Я не того ребенка захватила!

VII.

Если бы Бог с высоты небес посмотрел на мокрую от осеннего дождя землю, Он увидел бы ползущего по необозримому пространству червяка.

Этот червяк – поезд, в котором едет обратно с маленьким Семкой мадам Фрейберг.

Она едет и думает:

«Мое сердце теперь крепко стучит. Так крепко, что если бы оно разорвалось, то от грома его оглохли бы люди и жить на свете – сделалось бы окончательно скучно... Охо-хо. Бог всё видит!»²



ПРЕСТУПНИКИ

Спавшего пристава 2-го стана¹ Бухвостова разбудили и сообщили, что мужики привезли на его усмотрение двух пойманных ими людей: Савелия Шестихатку и неизвестного, скрывшего свое имя и звание.

В препроводительной бумаге из волости сообщалось, что присланные люди нарушили «уголовные узаконения на предмет наказаний за гражданские несоответствия»...

Ниже писарь простым человеческим языком сообщал, что оба пойманные вели себя ниже всякой критики: Шестихатка ворвался к арендатору еврею Зальману, перебил и переломал все его вещи, ранил ручкой от сковороды жену арендатора, а арендаторову сыну оторвал ухо; доставленный в волость, избил волостного старшину², выбил десятскому³ два зуба, а ему, писарю, пытался повредить передние конечности...

Оторванное ухо и два выбитых зуба препровождались здесь же при бумаге, завернутые в заскорузлую, пропитавшуюся кровью, тряпку.

Второй — неизвестный человек — был уличен в том, что, пойманный на огородах, не мог назвать своего имени, а при обыске у него нашли пачку прокламаций, бомбу и рыжую фальшивую бороду.

Пристав Бухвостов прочел препроводительную бумагу, засвистал и, почесав небритую щеку, проворчал:

— Прохвост — народ.

И по его лицу нельзя было узнать, о ком он это думал: о мужиках, нарушивших его сон, Шестихатке, оторвавшем ухо арендаторову сыну, или о неизвестном, занимавшемся темным, таинственным и ужасным делом.

Пристав открыл дверь из канцелярии в переднюю и крикнул десятскому:

— Пускай по очереди!

В комнату вошел высокий черный мужик в коротеньком армячке⁴, с узенькими калмыцкими глазками и волосами, веером топорщившимися на его шишковатой костистой голове.

Он остановился у стола и утрюмо потупил взор на носок левого разорванного сапога.

Пристав Бухвостов быстро подошел к нему, энергичным движением руки взбросил кверху его опущенную голову и, прищурясь, сказал:

— Хорош!.. Эх ты, Шестихатка! Тебе не Шестихаткой быть, а...

Пристав хотел сказать что-то очень забавное, что заключало бы в себе юмористическое переименование фамилии Шестихатки и, вместе с тем, звучало бы насмешкой над его поведением, но — вместо этого пристав неожиданно закончил:

— ...А сволочью!

Потом пристав Бухвостов перешел на серьезный, деловой тон.

— На тебя вот доносят, что ты устроил арендатору погром, оторвал его сыну ухо, избил старшину и выбил десятскому зубы. Правда это?

Черный мужик посмотрел исподлобья на пристава и прогудел:

— Правда.

— Извольте видеть, — всплеснул руками пристав. — Он же еще и признается! Что тебе сделал арендатор?

Мужик еще раз внимательно поглядел на пристава и сказал:

— Я жидов завсегда бью.

— За что ж ты их бьешь?

— Они Христа мучили, а также не уважают начальство. Я за неуважение больше.

— Гм... — замялся пристав. — Но драться ты все-таки не имеешь права!

— Да как же, — развел руками мужик. — Я им говорю: «Дайте срок, господин губернатор всех вас перевешает», а он мне — арендатор — говорит: «Что мне твой губернатор — я его за три рубля куплю!»

— Неужели так и сказал?

— Форменно! «Обожди, — говорю, — будет известно господину приставу об твоих словах!» А он, паскуда, смеется: «Ежели, — говорит, — губернатор у вас три целковых стоит, так пристава за полтинник приобрести можно». А-а, говорю... так?

Пристав неожиданно захохотал.

— Так ты... значит... сыну... ухо?

— Начисто! Форменно. Потому я так рассуждаю: ежели ты оскорбил мое начальство, господина пристава — имею я право твоему ценку ухи пооборвать? Имею. Форменно!

— Ха-ха! Ах ты... чудака! Этакая непосредственная душа. Но ты, однако, вот пишут — целый кавардак там устроил. Зачем арендаторшу сковородкой вздул?

— Она, ваше благородие, насчет супруги вашей неправильно выразилась. Насчет добродетелей.

— А-а... — криво улыбнулся пристав. — Хорошо-с. Мы об этом спросим арендаторшу. Вот нехорошо только, братец, что ты старшину оскорбил и зубы вынул десятскому. Зачем?

— Они тоже. Я говорю: «Не смейте меня брать, я за господина пристава старался», а они мне: «А что твой пристав за такая цаца?» Так и сказали — цаца! Потемнело у меня. Об начальстве так??!! Ну, развернулся...

— Ха-ха! Ха-ха! Ты, я вижу, — неглупый парень... с правилами! А дело твое придется прекратить — прекурьюзное оно уж очень... Ступай, Шестихатка. Постой! Водку небось пьешь, Шестихатка?

Пристав Бухвостов порылся в кармане и вынул полтинник.

— На... выпьешь там где-нибудь.

— Форменно. Я бы, ваше благородие, насчет сапожков взыскать к вашей милости. Нет ли каких? Пообдержался я с сапогами.

— Ладно уж! Веселый ты парень... Я тебе свои дам, ношенные — два месяца всего и носил. Так сковородкой ты ее?

— А мне что? Трахнул, да и всё. С ними так и нужно.

Пристав вышел из канцелярии в спальню и через минуту вынес сапоги.

— Вот, — сказал он. — Бери. Ступай, брат! Иди себе.

— Ваше благородие! Может, пальтишко какое...

— Ну, ну... иди уж! Довольно тебе! Не проедайся. Эй, Парфен! Выпусти его — пусть идет себе... Да тащи сюда другого. Прощай, Шестихатка. Так — цаца, говорят? Ха-ха! Ха-ха!

— Прощайте, ваше благородие! Оно дальше еще смешнее будет. Желаю оставаться!

Десятский ввел другого человека, привезенного мужиками, и, толкнув его для порядка в спину, вышел.

— А-а, сокол ясный! Летал, летал, да и завязил коготь... Давно вашего брата не приходилось видеть... Как Эрфуртская программа⁵ проживает?

Перед приставом стоял небольшой коренастый человек, с бычьей шеей, в жокейской изодранной шапчонке и, опустив тяжелые серые веки, молча слушал...

— Конечно, об вашем социальном положении нечего и спрашивать: лиддит, меленит⁶, нитроглицерин⁷ и тому подобный бикфордов шнур...

Потом, переменив тон, пристав посмотрел в лицо неизвестному и сухо спросил:

— Сообщники есть?

— Не было, — тихо ответил неизвестный.

— Ну, конечно. Я так и думал! Что ж, господин ниспровергатель... Зверь вы, очевидно, красный: в город нам с вами ехать придется. Ась?

— Да я из городу и есть.

— Вот как?.. Какой же это ветер занес вас на синюхинские огороды?

— Зачем мне на синюхинские огороды? Я на Боркино ехал, ваше благородие!

— Ну, да! Так что, старшина, и писарь, и мужики оклеветали вас? Беденький!

— Черт попутал, ежели так сказать!

— Не-уже-ли? Что вы говорите! Первый раз слышу об участии этого господина в ваших организациях... Небось и на убийство шли не сами по себе, а наущаемые сим конспиратором?

— Да убийства никакого и не было! Так хотел... попугать.

— Конечно! Бросишь ее под ноги — легкий испуг и нервное сотрясение... Ха-ха! Ваша платформа, конечно, предусматривает любовь и великодушие к ближнему? А? Что же вы молчите?

Неизвестный переступил с ноги на ногу и сказал:

— Пьян был!

— Что-о-о?

— Пьян был. А они... За сено... тридцать копеек. Разве это возможно?

— Какое сено? Что вы?..

— Ихнее. Я им говорю: «Христа на вас нет», а они: «Там, говорят, есть или нет, а мы без расчета — Васьки не отпустим».

— Ничего не постигаю! Какой Васька?

— Чугреевский. Я на чугуевском ехал. И так мне обидно стало! «Ах, вы, — говорю, — такие-сякие... Пыли вашей не останется...»

— Стой, стой, милый! Я ничего не разберу. Кому ты это сказал?

— Арендателю.

— Да бомба-то здесь при чем?

— Бомба ни при чем.

— Так чего же ты, черт тебя возьми, арендатора путаешь?! Бомбу ты где взял?

— Не брал я ее, ваше благородие. Зачем нам... нам чужого не нужно.

Пристав побагровел.

— Да ты кто такой?!

— Опять же чугуевский. Они: «Тридцать копеек, — говорит, — довольте». Ка-ак? Где такой закон, чтоб за гнилое сено?.. Ну и пошло.

— Что пошло?

— С пьяного человека что взять, ваше благородие? Известно — ничего.

— Ты, брат, что-то хвостом виляешь... Бестолковым прикидываешься! Мужичком-дурачком!!

— Дурачок и есть. Нешто вумный будет жидятам ухи рвать? Спьяну. Зуд у меня ручной. А как очухаешься, видишь — да-а-а... Завинтил!

Пристав Бухвостов прыгнул к неизвестному и вцепился ему в горло.

— Ты... ты... Как тебя... зовут?

— Меня-то? А Савелием. У Чугреева в амбарных. Савелий Шестихатка по хвамелии.

Пристав Бухвостов оттолкнул от себя Савелия и с ревом вылетел в переднюю.

— Ушел? Упустили мерзавца?!

Оставшись один, Савелий поднял недоуменно брови и сказал, обращаясь к портрету в золотой раме:

— Вот поди ж... Не выпьешь — ничего, а выпьешь — сейчас в восторг приходишь: тому ухо с корнем выдрал, этому зубы... Ежели с таким характером, то ухов, брат Шестихатка, для тебя жидяга не напасут. Жирно!



НЕРВЫ

I.

Когда Царапов проснулся, его неприятно поразило, что платье его не было вычищено и ботинки валялись тут же около кровати, забрызганные грязью.

Сердце Царапова сжалось, сделалось маленьким, злобным и провалилось куда-то вниз, пронизавши тело, и простыню, и пружинный матрац.

— Черт их всех раздери! — прошептал, передернувшись мелкою дрожью, Царапов. Потом вскочил, сжал губы в мучительную складку и стал одеваться.

Забрызганные грязью ботинки вызывали в нем решительное отвращение... Он натянул их на ноги и стал шарить концы шнурка. Через минуту обнаружилось, что концы влезли вместе с ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зубами и громко выругаться. Он сел на стул, злобно взмахнул обеими ногами, и ботинки слетели с ног, причем один попал на подзеркальник, свалив хрустальный пульверизатор.

Царапов пришел в неистовство. Поймал оба ботинка, снова натянул на ноги и стал нервно зашнуровывать их. Но на половине этого утомительного занятия шнурок не выдержал бешеных движений Царапова и лопнул.

Царапов сорвал с ног ботинки и стал топтать их, шепча прыгающими губами что-то нечленораздельное. Вынул из шкафа новые лакированные туфли и надел их, хотя через окно было видно, что шел дождь и улицы покрылись лишней грязью.

— Пусть! — шипел он. — Пусть!

Одевшись, Царапов вышел из комнаты и с какой-то злобной радостью встретил идущую с подносом горничную Лушу.

— Что? Чай пить? Ты мне еще керосину предложи, дурища! За что вам, дармоедам, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки грязные...

— Да ведь вы сами, давеча, барин, комнату свою на ключ закрыли... я хотела взять, а вы не открыли.

— Молчи!! — визгливо закричал Царапов и, хлопнув дверью, стал спускаться с лестницы.

«Какая отвратительная лестница, — подумал он. — Здесь каменщикам каким-нибудь жить или слесарям... а не порядочным людям. И швейцар — дрянь преизрядная. Небось вчера ночью на чай не дал, так эта упитанная морда сегодня и не подумает распахнуть дверь...»

Швейцар снял фуражку и распахнул перед ним дверь на улицу.

«Подхалимы все!» — подумал Царапов и зашагал, осторожно ступая лакированными туфлями по мокрому тротуару.

Трамвая пришлось ждать долго — минут десять. Царапов прошептал по адресу заправил трамвая несколько слов, осуществление которых сделало бы несчастными не только этих толстокожих людей, но и их семейства. Потом, подождав еще немного, крикнул извозчика. Когда он сел в пролетку¹, из-за угла показался ожидаемый им трамвай, но извозчик в это время уже тронул, и через двадцать шагов обнаружилось, что лошадь не бежала, а шла, еле переступая с ноги на ногу...

II.

На службу Царапов опоздал.

— Если хотите служить, — сказал ему желтый бородатый старший бухгалтер, — то служите!.. А не хотите — сделайте одолжение! На ваше место найдутся другие.

Царапов молча повернулся к своей конторке и, развернув книгу, задумался.

«Вот, — думал он, — бухгалтер... Если бы сейчас я был атаманом каких-нибудь разбойников, то приказал бы им поймать этого бухгалтера и привести его ко мне в какое-нибудь подземелье... Привязал бы его к столбу и стал бы над ним издеваться: “Здравствуйте, господин бухгалтер! Так вы на мое место хотели найти другого?.. Позвольте вам плюнуть в лицо...” Плюю. Он молчит и испуганно смотрит на меня. “А что ваша борода крепко держится, господин мерзавец? Позвольте за нее дернуть! Что? Больно? А теперь мои молодцы выжгут вам глаза, отрубят руки и вырежут язык. Видите ли... я мог бы вас убить, но не хочу сразу прекращать ваших мучений... А без глаз, языка и рук вы не очень-то разболтаете о том, что с вами сделал Николай Царапов. Ха-ха!..”»

— Опять у вас журнал за три дня не записан?! — услышал Царапов сбоку себя. — И зачем вы служите, если не хотите?.. Есть люди более полезные и более любящие то дело, от которого вас, очевидно, тошнит...

От бороды старшего бухгалтера идет едкий старый табачный запах, такой противный, что мысли Царапова принимают другое направление:

«Неужели такую жалкую лягушку, от которой пахнет, как из старого табачного мундштука, могут целовать женщины?.. А жена у него в веснушках, беременная, и ей, от старости, лень ему изменять. Гнездо гадин!»

Потом, когда бухгалтер отошел, Царапову приходит в голову мысль, ледящая мозги своей безысходностью:

«В Петербурге полтора миллиона народу... И все они желчные, в ботинках, забрызганных грязью, ненавидят друг друга... Всякий желает гибели другого, и все полтора миллиона, сваявшись в груды жирных червей на гниющем теле, — едят друг друга, размножаясь в то же время со стонами отвращения и ненависти... Хорошо было бы взять сейчас какое-нибудь безболезненное средство и отравиться».

Мимо Царапова прошел директор правления.

Царапов сделал вид, что прилежно пишет в большой, толстой книге, но на самом деле он думал:

«Я умру, а другие будут жить и веселиться. Вспомнит разве кто-нибудь обо мне? Дудки! Даже сестра забудет. Хорошо бы, если бы могли умереть все сразу... весь земной шар. Начинить его динамитом — несколько миллионов пудов² (я думаю, если на всех заводах начать вырабатывать динамит, то можно) и потом, нажавши кнопку, трах! Если бы сейчас около меня была такая кнопка для взрыва — ни минуты, то есть ни одной секунды бы не задумался!»

Бьет четыре часа.

Царапов складывает книги и отправляется обедать. Ест он «домашние обеды»³.

III.

За обедом против него сидят чиновник контрольной палаты⁴ и студент... А сбоку барышня с противно-светлыми волосами, старая, с длинным носом, плохо напудренная, и чертежник из адмиралтейства.

Суп — с кусочками жира, который Царапов ненавидит всеми силами души. В голубцах ему попадают нитки, а хлеб черствый, похожий на губку...

— Что новенького? — благодушно спрашивает его лысый чиновник.

Царапов бледнеет.

— Скажите... вам не надоело каждый день, методически, обращаться ко мне с этим вопросом? Что это значит? Что новенького? Где? В какой сфере? Вчера мы расстались в шесть часов вечера, так что прошло менее суток. Может быть, на службе новенькое? Или у меня в меблированных комнатах? Да ведь, в сущности, вы и вопрос этот задали так — зря! Если бы вас действительно интересовали новости, вы бы купили за пятак газету и узнали бы обо всём — в более связной литературной форме, чем от меня.

Чиновник берет фуражку и уходит.

Царапов вынимает из кармана томик Чехова и, прихлебывая с отращением жидкий кисель, погружается в чтение.

— Николай Львович! — обращается к нему плохо напудренная барышня, капризно надувая губы. — Отчего вы всё читаете да читаете... Поговорили бы лучше со мной.

Царапов долго, прищурившись, смотрит на нее.

— Я могу... но, конечно, при условии, если ваша беседа будет не менее остроумна и содержательна, чем эта книга. Беретесь?

— Отчего вы сегодня такой угрюмый?

— Людишки дрянь!⁵

Царапов берет книгу и задумывается:

«Вот у этой ободранной кошки нет ни родных, ни друзей, которым она доставляла бы удовольствие... Отчего бы ей не умереть? На земле не образовалось бы никакого пустого места. Но странные наши уголовные законы: если я убью Льва Толстого или эту бесполезную старую кошку — наказание мне будет одинаковое...⁶ А, по-моему, за нее следовало бы дать легкий выговор или даже просто обязать убийцу взять на себя расходы по похоронам...»

— Отчего вы такой задумчивый? — тоскливо спрашивает барышня.

IV.

Когда Царапов вышел на улицу, тротуары были уже сухи. И небо очистилось, и высоко в прозрачном воздухе висела чистая, прозрачная луна.

Впереди себя Царапов увидел двух дам. Они шли, нарядные, легко неся свои крупные, красивые тела и бойко стуча каблуками подъемистых щегольских ботинок.

Царапов обогнал дам и заглянул с любопытством в их розовые, слегка улыбающиеся лица.

— Какой интересный! — донесся до него тихий, подавленный женский шепот.

— Да... такие... редко... — уловило его ухо начало ответа другой.

И сердце Царапова остановилось... и сладко, с веселым шумом, оборвалось, уйдя далеко, далеко...

Царапов распрямил плечи, изменил вялый, развинченный шаг на упругий и крепкий и бодро взглянул на свежее небо.

Придя домой, легко взбежал по лестнице и, встретив в коридоре Лушу, ласково пошутил:

— Ну, как... от жениха давно письмо имела? Если нужно черкнуть ему ответ — приходи, напишу. Хе-хе!

И, запев матчиш⁷, он стал бодро переодеваться.



НИНОЧКА

I.

Начальник службы тяги¹ старик Мишкин пригласил в кабинет ремингтонистку² Ниночку Ряднову и, протянув ей два черновика, просил переписать их на машинке начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и благодаря яркому солнечному свету впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста... Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

— Почему же? — удивилась Ниночка. — Я за это получаю жалованье.

— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

— Грудь не болит.

— Я очень рад. Вам не холодно?

— Отчего же мне может быть холодно?

– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

– Оставьте мои руки в покое!

– Милая... Одну... минутку! Пойдите... зачем вырваться? Я, это самое... рукав, который просвечи...

– Пустите руку! Мне больно... как вы смеете?! Негодяй!!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону, и правая рука выше локтя немилосердно ныла.

– Мерзавец! – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не прощу!

Она надела на пишущую машинку колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

«К кому же мне идти? Пойду к адвокату!»

II.

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

– Какой негодяй, а? А еще старик! Чего же вы теперь хотите? – ласково спросил адвокат Язычников.

– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.

– В Сибирь нельзя... А притянуть его, вообще, к ответственности можно.

– Ну, притяните.

– У вас есть свидетели?

– Я – свидетельница, – сказала Ниночка.

– Нет, вы потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие: схватил за руку! Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красные губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

— Покажите руку! — сказал адвокат.

— Вот тут, под кофточкой.

— Вам придется снять кофточку.

— Но ведь вы же не доктор, а адвокат, — удивилась Ниночка.

— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно. Для того чтобы установить наличие преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку. Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука, с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка. — Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных повод...

— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе:

— И зачем я пошла к адвокату... Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии.

III.

Доктор Дубяго был солидный, пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

— Разденьтесь!

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV.

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

— Вот вам — друзья человечества!³ Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев⁴, прикрывающихся масками добродетели.

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно-честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

— Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители права и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие себе девизом — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью! Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас...

— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.

— Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

— Однако... Руки же у вас!.. Разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человеческий? Уберите их. Или нет... постойте... Чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут, в сгибе?.. А?.. Гм... Согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказала в поцелуе, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:

— Боже! Какие все мужчины негодяи... и дураки!

V.

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированной комнате, студенту-естественнику Ихневмонову⁵.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели с низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка, шутя, называла студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, потрянул волосами и сказал:

— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

— Меня сегодня обидели, Ихневмонов, — садясь, скорбно сообщила Ниночка.

— Ну! Кто?

— Адвокат, доктор... старик один... Такие негодяи!

— Чем же они вас обидели?

— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

— Так, — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов. — Это нехорошо.

— У меня рука болит-болит, — жалобно протянула Ниночка.

— Этакие негодяи! Пейте чай.

— Наверно, — печально улыбнулась Ниночка, — и вы тоже захотите осмотреть руку... как те.

— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент. — Есть синяк — я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

— До сих пор рука горит, — пожаловалась Ниночка. — Может, примочку какую-нибудь надо?

— Не знаю.

— Может, показать вам руку? Я знаю — вы не такой, как другие... Я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

— Зачем же вас затруднять... Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.

Ниночка закусил губу и, вставая, упрямо сказала:

— А вы все-таки посмотрите!

— Пожалуй... Показывайте вашу руку... Не беспокойтесь, вы только спустите с плеча кофточку... Так. Это? Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины! Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов соболезнующе качнул головой и снова сел за стол.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

— Вы бы одели в рукав, — посоветовал Ихневмонов. — Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул! — сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

— Экий негодяй! — мотнул головой студент.

— Показать?

Ниночка закусил губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей-Богу же, я в этой медицине ни уха ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай!

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

— Отчего же, помилуйте! — сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

— Какие все мужчины негодяи!



БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

(Рождественский рассказ)

Серое, темное небо нависло над землей...¹ Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника...

Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, спешащих людей.

«Боже, — думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. — Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребяткам, лишенным этого, — хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой... Сколько на свете холода, горя и несчастья!»

Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, — вышел из дому.

Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал:

«Какие они все равнодушные, сухие... Никому ни до кого нет дела... А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия...»

Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.

— Бедная, бесприютная собачка, — сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней. — Бродишь ты по улицам, и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.

Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впиалась в Слякинову руку острыми белыми зубами.

— Вы зачем, черт вас заберит, мою собаку дразните? — послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.

— Я хотел собачку... домой отвести... согреть.

— Ха-ха! — грубо расхохотался офицер. — У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не домой!.. Неро, ісі!*

* * *

А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда-то вдаль, заменяемые всё новыми и новыми волнами...

Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал:

«Ветер воеет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник... Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода... Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного,

* сюда! (*фр.*)

и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку... И он идет, сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука...»

Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.

Мимо него прошел, сгорбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек.

Сердце Слякина сжалось.

— Послушайте... эй! Путник! Обождите!

Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку три рубля.

Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.

— Это... что значит?

— Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют...

— Да как вы смеете! — взревел прохожий. — Да вы знаете, кто я? Да я вас в 24 часа... Этакая наглость!

Его щегольская шинель распахнулась, и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.

— Извините... — пролепетал Слякин.

— Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!

* * *

Ветер всё крепчал.

Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную, широкую улицу, печально размышлял:

«А сколько детей, этих — по выражению поэта — цветов жизни², бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы — не для них... Не для этих пасынков на жизненном пиру».

Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось.

У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфеты.

— Бедное дитя! — пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. — Несчастный бесприютный ребенок... Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.

— Maman! — закричала испуганная девочка. — Maman! où m^e tire-t-il?*

Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.

— Оставьте ее, скверный старикашка! — закричала она. — Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!

— Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы, — сказал господин, проходя мимо. — Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..

— Уверю вас, — сказал Слякин. — Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая...

— Вы негодяй! — сказала возмущенная дама. — Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее...

* * *

А снег всё падал...

Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал:

«О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку... Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья... Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния».

С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.

* Мама! <...> Мама! куда он меня тащит? (фр.)

«Вот оно», — подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:

— Погода дурная, не правда ли?

— Погодка сволочная, — согласился незнакомец.

— Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? — деликатно спросил Слякин. — Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимобразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос... А?

— Нет, ты мне лучше пальто дай, — возразил незнакомец. — Снимайка его, живей!

— А... как же я?.. — удивился Слякин.

— А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя. Тут больше? Ну, всё равно. А часики... золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?

* * *

Вьюга разыгралась, и снег непрерывными хлопьями падал на белую землю.

По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал про себя.

Маленький, одетый в женскую кацавейку³, мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал:

— Дядинька... Ради праздничка...

— Ради праздничка?! — закричал Слякин. — Вот тебе, маленький негодяй!

Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши...

И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши...



ЕРОПЕГОВ

I.

Недавно ко мне зашел мой приятель Еропегов и, среди разговора, вдруг, будто что-то вспомнив, всплеснул руками.

— Да! Чуть не забыл... С тобой очень хочет познакомиться

Демкин.

— Какой Демкин?

— Демкин! Очень симпатичный парень. Я ему много о тебе говорил. Тебе с ним обязательно нужно познакомиться.

Я пожал плечами.

— Ему что-нибудь от меня нужно?

— Ну, вот видишь, вот видишь, какой ты сухой, черствый человек. Сейчас — «нужно»! Просто он тобой очень интересуется — я ему так много рассказывал о тебе... Почему же вам не познакомиться?

Еропегов был известен мне за человека крайне порывистого, нелепо-суетливого и восторженного.

Поэтому я еще раз пожал плечами и спросил:

— Да он что же, по крайней мере, интересный человек?

— Он? Удивительный! Стихи пишет.

— Да что ж тут удивительного: и я пишу стихи.

— И ты удивительный человек. Я знаю, ты о себе преувеличенно скромного мнения, но... эх, брат! О чем там говорить. Так можно его привести к тебе? В нем, между прочим, есть еще одно драгоценное качество: незаменимо рассказывает анекдоты!

— Ну что ж — приводи.

— Очень тобой интересуется. А анекдоты — ты животики надорвешь.

II.

На другой день, сидя в кабинете, я услышал звонок и потом шум какой-то борьбы в передней.

— Да пойдем! Чего ты, чудак, стесняешься? — слышался голос Еропегова.

— Уверю же тебя, что неудобно. Ну, как это так вдруг, ни с того ни с сего, явиться к незнакомому человеку знакомиться! — доносился до меня другой голос.

— Пустяки! Он тобой очень интересуется. Я так много рассказывал ему о тебе. Ты ему доставишь только удовольствие! Расскажешь два-три анекдота — посмеемся. Раздевайся! Тут запросто.

— Да почему ему так хотелось со мной познакомиться?

— Ну, как же! Он тоже стихи пишет...

Дверь отворилась, и на пороге показался оживленный Еропегов, таща за руку конфузливо упиравшегося черного человека, с кривыми ногами и мрачным, унылым взглядом впалых глаз.

— Вот он, проказник! Насилу приволок... Ффу!.. Познакомьтесь, господа!

Демкин застенчиво пожал мою руку и сел, скривив голову набок.

— Вот, брат, тот Демкин, о котором я говорил. Стихи пишет! Поэт.

Поэт сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернул под кресло, а на носок другой стал пристально смотреть, будто не веря глазам, что он еще обладает этой частью тела.

Руки решительно затрудняли его: сначала он сложил их на коленях, непосредственно за тем перенес их на грудь и в конце концов подпер одной рукой бок, а другой стал обмахивать лицо, покрасневшее от уличного холода.

— Вы действительно пишете стихи? — спросил я, желая ободрить его.

— Пишу, — отвечал он надтреснутым голосом. — Только так, для себя...

Этот человек трогал меня до слез своим жалостным видом. Я решительно недоумевал: зачем Еропегов притащил его?

— Нет, ты, брат, расскажи лучше анекдотик какой-нибудь. Изумительно анекдоты рассказывает, — обратился ко мне оживленный, веселый Еропегов. — Право, расскажи!

Демкин потупил голову и гудящим, унылым голосом покорно начал:

— Один купец пришел в ресторан. Видит — висит клетка с соловьем. «Сколько, — говорит, — стоит». — «Триста рублей». — «Зажарьте».

— Этот анекдот мне известен, — сказал я. — Купец, когда зажарили, сказал: отрежьте на три копейки. Да?

— Да, да, — кивнул головой Демкин. — А то другой анекдот есть: армянин застал жену с приказчиком на диване. Они целовались, и он...

— Знаю! — перебил я. — Потом он еще диван продал.

Демкин тяжело вздохнул и замолчал.

— Ты расскажи об еврее, который пришел в театр, а потом ушел, не желая ждать, когда прочел в программе, что между вторым и третьим действием проходит полтора месяца, — подсказал Еропегов.

Мрачный Демкин покорно рассказал анекдот об еврее.

Анекдот был тоже мне знаком, но я сделал вид, что впервые услышал его, и поэтому насильственно смеялся.

Еропегов громко хохотал и одобрительно повторял:

— Этакий весельчак! Удивительно! Вот ему бы, — обратился он ко мне, — с Подскокиным познакомиться! Надо будет их познакомить. Да что, брат, там думать... Пойдемте сейчас все к Подскокиным. Они будут очень рады.

Я категорически отказался, ссылаясь на работу.

Демкин встал и стал прощаться со мной. Еропегов хлопал его по плечу, одобрительно говоря:

— Уморушка с тобой! То есть откуда у него берутся эти анекдоты?! Прямо удивительно!

Потом я слышал, как Еропегов говорил Демкину в передней:

— Ты, брат, к нему запросто приходи! Он очень будет рад. Ну, как он тебе понравился? Не правда ли — душа человек?.. А сейчас мы к Подскокиным поедем.

— Да я ж с ними не знаком!

— Пустое! Они очень будут рады.

III.

На днях я собирался ехать в Москву. Услышав об этом, Еропегов всплеснул руками и спросил меня:

— Ты где же думаешь остановиться?

— В гостинице. Мне на два дня.

— Ну не чудак ли?.. Я всегда говорил, что ты — форменный чудак! Поезжай прямо к Коле Полтусову и остановись у него.

— К какому Коле Полтусову?

— Ты не знаешь Кольку? Он не знает Кольку! Тебе стоит только явиться к нему и сказать: «Привез вам поклон от Алеши!» Он тебя в объятьях задушит.

Глаза его увлажнились слезами.

— Да... — прошептал он, будто охваченный потоком нахлынувших воспоминаний. — Коля Полтусов... Сколько у меня связано с этим именем... Наши кутежи, попойки... Милый, непосредственный Коля... Нет, брат! Ты его обидишь, если не приедешь прямо к нему. У него ты великолепно устроишься на эти два дня.

— Но как же мне поехать к незнакомому человеку? Ведь это ты с ним друг. А мне он незнаком.

— Колька незнаком?! Николай Полтусов незнаком? — вскричал Еропегов. — Ну, ты, милый, меня уморить хочешь. Вас через час водой не разольешь! Прямо скажи — поклон от Алеши! Ну, согласишься... ведь ко мне ты бы поехал? Почему же к нему не хочешь? Ты скажи только — я друг Алеши! И довольно. И довольно!!

Я спорил с Еропеговым около часа, и наконец он победил меня своей стремительностью, взяв торжественное слово, что я, по приезде в Москву, направлюсь прямо к Полтусову.

— Но ведь не могу же я ему сказать: «Приютите меня». Это неудобно!

— Этого и не надо. Он сам в тебя вцепится. Да... Коля Полтусов... Что-то ты сейчас делаешь там, в своей Москве?! — растроганно прошептал Еропегов.

IV.

Приехав в Москву, я прямо с вокзала поехал по данному мне адресу и действительно увидел подъезд с металлической дощечкой на дверях:

НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ ПОЛТУСОВ
присяжный поверенный

Меня пустили и через минуту ввели в кабинет Полтусова, высокого пожилого господина, недоумевающе поднявшегося мне навстречу.

— Здравствуйте, — сказал я, отрекомендовавшись. — Привез вам поклон от Алеши.

— От какого Алеши? — спросил он.

— От Алексея Петровича Еропегова, вашего друга.

— Алексея... Агапеньева?.. Что-то... такого я не знаю, — задумчиво сказал Полтусов.

— Не Агапеньева, а Еропегова.

— Еропегова?.. Гм... Да он какой из себя?

— Высокий такой, костлявый. Вечно суетится.

Полтусов потер лоб.

— Не припомню... Что за странность!..

— Да вы Полтусов? Ваше имя Николай?!

— Да.

— Ну как же вы его не помните?! Он еще вспоминал о ваших попойках, о каком-то кутеже в «Славянском Базаре»...¹

Полтусов задумался.

— Он не брюнет ли такой, с размашистыми движениями?.. Еще всех знакомить любит?..

— Он! — вскричал я. — Конечно, Еропегов!

— Теперь я припоминаю. Мы с компанией однажды сидели в «Славянском Базаре» за столиком, а этот господин, сидя рядом со своим знакомым, — подошел потом к нам и сам представился. Помню, помню. Он еще предлагал мне выпить на брудершафт, да я отказался... Ну что за смысл пить с почти незнакомым человеком... Не правда ли?

Я встал, пробормотал несколько слов извинения и, опрокинув стул, поспешно ушел от Полтусова, боясь оглянуться, чтобы не встретиться с его глазами.

V.

— Ну что, — спросил Еропегов, радостно приветствуя меня по возвращении из Москвы. — Как Коля?

— Ничего. Просил тебе кланяться, — усмехнулся я.

— Вот видишь! Ты, конечно, у него остановился?

— О да! Он меня принял как родного. Одно твое имя раскрыло передо мной все двери.

— Ну, вот видишь! Я всегда говорю, что человеческие отношения должны быть самыми простыми и душевными.

Он посмотрел на меня, помолчал и потом, подумав немного, сказал:

— Тебе нужно отдохнуть среди природы. Тебе нужно поехать в Новоузенский уезд².

— Почему именно в Новоузенский?

— Там живет семья помещика Козулевича. Прекрасные люди! Право, поезжай. Они тебя как родного примут. Чего, в самом деле.

— Ты хорошо знаком с ними? — усмехнулся я.

— Я не знаком, но мне Демкин много говорил о них. Славные такие люди! Они будут тебе бесконечно рады...



АПОСТОЛ

I.

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников¹.

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке... Человеку, желающему быть миллионером, — достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это — вы совершили почти всё... Остаются пусячковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свинины, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где-либо в Англии — племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов... В лучшем случае ему попадут несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику — тем дядюшка всё беднеет... Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч, какая-нибудь Самара — тощий засаленный пучок кредиток и, наконец, есть такой предел, такая граница — где дядюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и, втайне, мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника — его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но я им, в общем, доволен: он живет в Сибири.

II.

Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса, и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.

— А я к тебе, брат племянник! Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники... Хо-хо!

Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и — отшатнулся.

— Что вы, дядя?

Он прохрипел, нахмурил брови:

— Убийца!

— Кто убийца? — озабоченно спросил я. — Где убийца?

— Ты убийца! Что это такое? Это вот...

— Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..

— Чтобы я ел тело убитого в муках животного?.. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!

— Вы что же, дядя... вегетарианец?

Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:

— Надеюсь, и ты им будешь... Надеюсь.

Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска — я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.

— Конечно, дядя... Если вы находите это для меня необходимым — я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущности, возмутительно: питаться через насилие, через боль... Впрочем, этот ростбиф я могу доесть, а?

— Нет! — энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф. — Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!

— Дядя! Ведь животное это всё равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку — я бы, конечно, его не тронул... Но у него даже нет ног... Не думаю, чтобы этот бедняга мог что-либо чувствовать...

— Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует... Его уже убили злые, бессердечные люди. Но ты — ты должен спать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении божьего творения...

До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожению одного или двух кусков божьего творения. И, наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.

Но так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное — я закрыл руками лицо и, с мучительной болью в голосе, прошептал:

— И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц... Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по-новому!..

Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:

— Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час всё будет готово: мы пообедаем очаровательно!

III.

На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.

— Мы, брат, чудесно пообедаем, — добродушно говорил дядя. — За первый сорт. Я голоден как волк.

Он взял яйцо и вооружился ложкой.

— Дядюшка! — изумленно вскричал я. — Неужели вы будете есть это?!

— Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю...

— Ну, нет! По-моему, это такое же убийство... Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.

Он вскочил и бросился в мои объятия.

— Прости меня. Ты прав... Ты гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:

— Хотя оно уже вареное... Цыпленок из него едва ли получится.

— Дядюшка! — укоризненно отвечал я. — Дело ведь не в нем, а в вас.

В вашей чистой совести!

— Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной капусты.

— Дай я тебе налью, — любовно глядя на меня, сказал дядюшка.

Я печально покачал головой.

— Не надо мне этого супа.

— Что такое? — встревожился дядя. — Почему?

— Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историйку... На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде — росла цветная капуста. Радостно тянулась она к ласковым лучам своей яркой зеленью... Любо ей было купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни... Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди... Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул на меня.

— Ты думаешь... Она что-нибудь чувствует?

— Чувствовала! — прошептал я, со слезами на глазах. — Теперь уже не чувствует... Учеными ведь доказано, что всякое растение — живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку...

Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.

— Мне стыдно перед тобой... Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же замаскированным убийством... Ты прямолинейнее и, значит, — лучше меня.

Мы сидели молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.

— Но... — прошептал наконец дядя, задумчиво глядя на меня. — Чем же мы должны питаться?

— Молоком, — сказал я. — Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев, и поэтому жестоко было бы уничтожить его. Вмес-

то хлеба можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и изготовлять суррогат муки.

Дядя вздохнул.

— А я заказал кухарке на второе спаржу...

— Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историю: на одном огороде росла спаржа... Радостно тянулась она к яркому...

— Знаю, — кивнул головой дядя. — Потом пришли злые огородники и сделали ей больно...

Он почесал затылок и сказал:

— Ну что ж делать... Поъем молочка! Может, до сбора сухих листьев можно с кусочком хлеба... Он ведь мертвенький...

— Дядя! — сурово и непреклонно сказал я. — Будьте же мужественны! Ведь дело не в мертвешке, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!

IV.

Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:

— Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком...

— Босиком? Зачем, мой друг, босиком?

— Дядя! — укоризненно сказал я. — Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных... Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!

— Ты мог бы, — сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, — делать башмаки из дерева... Как французские крестьяне.

— Дядюшка... Позвольте вам рассказать одну печальную историю. В тихом дремучем лесу росло деревцо. Оно жадно тяну...

— Да, да, — кивнул головой дядя. — Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?!.. Вот у тебя сейчас деревянные полы...

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

— Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет... Я закажу стеклянные полы...

– По...чему стеклянные?

– Стекло не больно. Оно – не растительный предмет... Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки...

– А... матрац и... подушки? – робко смотря на меня, спросил дядя.

– Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну...

– Знаю, – печально махнул рукой дядя. – Хлопок рос, а пришли злые люди...

Он встал со стула. Вид у него был расстроенный, и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.

– Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? – спросил я. – Мне нужно кое-чем заняться, а вы погуляйте.

Он встал, робкий, голодный, и заторопился:

– Хорошо... не буду тебе мешать... Пойду погуляю...

– Только, – серьезно сказал я, – одна просьба: не ходите по траве...

Она вам ничего не скажет, но ей больно... Она будет умирать под вашими ногами.

Я обнял его, прижал к груди и шепнул:

– Когда будете идти по дорожке – смотрите под ноги... У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который...

– Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце...

Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне он, очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.

Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осматривая землю под ногами... Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его ко рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели — до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях.

Смерть его не особенно меня удивила.

Удивился я, только узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток — так, тысячи три.



ВЕЧЕРОМ

Посвящаю Лиде Терентьевой¹

Подперев руками голову, я утлубился в «Историю французской революции» и забыл всё на свете².

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов³.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

– Да. Это патологический термин.

– А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «А зачем?» она может задавать тысячу раз.

– Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

– Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

– Ты, Лида, – вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

– И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

– У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

– Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

– Первый раз слышу.

– Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

– Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство?

Для уяснения, при развитии фабулы.

– А зачем?

– Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

– В этом... В Симферополе.

– Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

– ...Взяла она масло и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

– Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

– Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

– По-латыни – Lurus.

– Что?

– Я спрашиваю: большой волк?

– Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

– «Кррасная Шапочка... Куда ты идешь?»

– Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

– Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

– Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

– А где он жил? – ехидно спрашивает она.

– Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша... яблоки имеют лапки?» – «Нет, мильй». – «Ну, значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

– Ай! Съел жабу?

– Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шепот:

– Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют как звездочки, и губки топырятся так смешно...

– Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

– Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о.

Вот девочка и спрашивает: «Мама! груши имеют лапки?» — «Нет, детка». — «Ну, значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия⁴, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и всё перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она. — Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину страшнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за «Революцию»; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка⁵ от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы...



ДУШЕВНАЯ ДРАМА

(Жизнь человека)

Начало этой печальной и трагической истории такое.

В шестом этаже большого каменного дома стояли в разных позах трое лиц и вели между собой оживленный разговор.

Женщина прижимала красивыми полными руками к груди простыню, забыв, что простыня не может нести двойную службу и прикрывать в то же время ее стройные обнаженные колени; женщина плакала и, в промежутке между рыданиями, женщина говорила:

— О Иван! Уверю же тебя, что я не виновата... Это всё он... Вскружил мне голову, увлек меня, и всё это, уверю тебя, против моей воли! Я боролась...

Один мужчина, не снимая пальто и шляпы, сильно жестикулировал и укоризненно говорил третьему в этой комнате:

— Мерзавец! Я тебе докажу сейчас, что ты подохнешь как собака, и закон будет на моей стороне! Ты расплатишься за эту кроткую страдалищу, подлый змей-искуситель!!

Третьим в этой комнате был молодой господин, одетый в настоящий момент хотя не совсем тщательно, но державшийся с большим достоинством...

— Что ж я... Я ничего, — возражал он, печально смотря в пустой угол комнаты.

— Ты — ничего? Так вот же тебе, негодяй!

Мощный мужчина в шляпе распахнул окно, выходявшее на улицу, схватил в охапку не совсем тщательно одетого молодого господина и выбросил его в окно.

Очувившись в воздухе, молодой господин стыдливо застегнул жилетку и, прошептав себе в утешение:

— Ничего... Неудачи закаляют!

Полетел вниз.

Не успел он еще в своем полете достигнуть следующего, пятого, этажа, как из груди его исторгся тяжелый вздох.

Воспоминание о женщине, которую он сейчас только покинул, отравило своей горечью всю прелесть ощущения полета.

«Боже ты мой! — горестно подумал молодой господин. — Ведь я ее любил... А она не нашла в себе даже мужества во всём признаться супругу! Бог с ней! Теперь я чувствую, что она для меня далека и безразлична...»

С последней мыслью он достиг уже пятого этажа и, пролетая мимо окна, с любопытством заглянул в него.

За покосившимся столом, подперев голову руками, сидел молодой студент и читал книгу.

Пролетавший господин, увидя его, вспомнил свою жизнь, вспомнил, что он до этого проводил всё свое время в светских забавах, забывая о науке, о книгах, и его потянуло к свету знания, к раскрытию пытливым умом тайн природы, к восхищению перед гением великих мастеров слова...

«Милый, милый студент! — хотелось ему крикнуть читавшему. — Ты разбудил во мне дремавшие стремления и излечил от того пустого увлечения суетой жизни, которая довела меня до такого печального разочарования в шестом этаже...»

Но, не желая отрывать студента от занятий, молодой человек не крикнул этого, а пролетел до четвертого этажа, и здесь мысли его приняли другое направление.

Сердце сжалось сладкой и жуткой болью, а голова закружилась от восхищения и восторга.

У окна четвертого этажа сидела девушка и, имея перед собою швейную машину, что-то шила.

Но ее прекрасные белые руки забыли в настоящий момент о работе, и голубые, как васильки, глаза смотрели куда-то вдаль мечтательно и грустно.

Молодой господин не мог оторвать взора от этого видения, и в сердце его росло и ширилось какое-то новое, большое и властное чувство...

И понял он, что все его прежние встречи с женщинами были не более как пустыми увлечениями и что только теперь он познал это странное, загадочное слово: любовь.

И его потянуло к тихой, семейной жизни, к ласке беззаветно любимого существа, к улыбке радостного и умиротворенного бытия.

Следующий этаж, который он в настоящий момент пролетал, еще более укрепил его в этом стремлении.

В окне третьего этажа он увидел смеющуюся мать, которая, подбрасывая на коленях полненького улыбающегося ребенка, пела ему тихую песенку, и в глазах ее светилась любовь и ласковая материнская гордость.

«И я хочу жениться на девушке из четвертого этажа и хочу иметь таких же розовых, пухленьких ребят, как в третьем этаже, — подумал господин. — И я весь отдамся моей семье и в этом самопожертвовании найду свое счастье...»

Но приближался уже второй этаж. И картина, которую в окне этого этажа увидел молодой господин, заставила сжаться его сердце.

За роскошным письменным столом сидел господин с блуждающим взглядом и взъерошенными волосами. Он беспрестанно поглядывал на фотографическую карточку, которая стояла перед ним. При этом правой рукой писал какую-то записку, а в левой держал револьвер, прижимая дуло его к виску.

«Безумец! Остановись!! — хотел крикнуть ему пролетающий молодой господин. — Жизнь так прекрасна!»

Но какое-то инстинктивное чувство удержало его от этого.

Роскошная обстановка квартиры, богатство и уют навели молодого господина на мысль, что в жизни есть что-то другое, что может развеять и этот уют, и довольство, и семью, что-то более сильное, властное и ужасное...

«Что же это такое?» — подумал с тяжелым сердцем молодой господин, и, как будто нарочно, жизнь дала ему суровый и бесцеремонный ответ в окне первого этажа, которого он теперь достиг.

У окна, почти совсем скрываясь за драпировкой, сидел молодой человек без спортука и жилета, а на коленях у него сидела полуодетая дама, любовно обвивши шею возлюбленного круглыми розовыми руками и жарко прижимаясь к нему пышной грудью...

Молодой господин вспомнил, что он видел эту нарядную даму на прогулке с мужем, но этот человек не был ее мужем... Тот был старше, с черными полуседыми кудрями, а этот имел прекрасные белокурые волосы.

И вспомнил молодой господин свои давешние планы — ученья, по примеру студента пятого этажа, женитьбы на девушке четвертого этажа, мирной семейной жизни на манер третьего этажа — и тяжело сжалось его сердце.

Увидел он всю эфемерность, непрочность счастья, о котором он мечтал, увидел в будущем около себя и жены целый ряд молодых людей с прекрасными белокурыми волосами, вспомнил муки господина второго этажа и те меры, которые тот принял для избавления от этих мук, — и понял он его.

«После всего виденного — жить больше не стоит, это и глупо, и мучительно», — с болезненной, саркастической усмешкой подумал молодой человек и, сдвинув брови, решительно подлетел к самому тротуару улицы.

И не дрогнуло сердце его, когда он коснулся руками тротуарных плит и, сломав эти бесполезные теперь руки, разбил голову о твердый, равнодушный камень.

А когда около его неподвижного трупa собрался любопытствующий народ, никому и в голову не пришло, какую глубокую и сложную душевную драму пережил за момент перед этим молодой господин!



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете... Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужньй на блинах будет, так для гостя, а?

«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы — гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил:

— Люблю полненьких!

— Ну-с... ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки... Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра... — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры... Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымайте выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши... Да так, к слову сказать, знаете, почему теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен... на хлеб... да в рот... Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите! Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Благо-роднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще... «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», — как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины... Неужели вы стесняетесь?

– Что вы! Я чувствую себя как дома!

«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», – хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

– Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

– И с икрой, добавьте, – нравоучительно произнес гость. – Икра – это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил... Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

– Черт возьми! Икра как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда... Совершенно незаметно!

– Неужели? – удивился печальный хозяин и прибавил: – А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

– Да это грибки, – добродушно сказал гость.

– А вы... чего же хотели?

– Икры. Там еще есть немного к блинам.

– Господи! – проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

– Что такое?

– Кушайте, пожалуйста, кушайте!

– Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

– Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте... Кушайте побольше.

– Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

– Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте... Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!

– Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед... Оставим место и для шампанского, и для ананасов... Пока я – сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

– Куш... кушайте! – сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. – Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь – кушайте! Шампанского? И шампанское дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравит-

ся? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало... Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого... Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.



РЫЦАРЬ ИНДУСТРИИ

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, и — упал на мостовую¹.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть ему чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. — Конечно же, можете.

— Зайдите ко мне, в таком случае, — сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам — да, так — нет! Чистейшей воды пустыки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я. — Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же, — удивленно возразил я, всматриваясь в него. — Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Всё это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся об моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я. — Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик: как вы хотите у нас застраховаться, на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам Бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться, — замотал я головой. — Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать, посмотреть. Сюртук, белый жилет... Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин «Оборот»... Наша фирма...

— Господин Цацкин, — возразил я, — Ей-Богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

— Ой! Не созданы? Почему? Может — вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине². 6000 книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе, — раздражительно сказал я. — Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

— Что такое — лысина? Если вы ее помажете средством, которого я состою представителем, так обростете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка³. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост...

— Ничего мне не нужно! — сказал я, сжимая виски. — Простите, но вы мне действуете на нервы...

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться!! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы — человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но.

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»⁴ — фирма уж сама доставит вам на дом.

— Извините, — сказал я, закусывая губу, — но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит еще утомительная работа — писать статью.

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин. — Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного попитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки 7 рублей, а за три 10...

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства. — Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. — Этим пресс-папье... Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать, — покачал головой господин Цацкин. — Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за 7 рублей 60 копеек. Изящные кнопки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

— Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

— В крайнем случае, могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор 2 рубля 40 копеек, за три — 6 рублей 50 копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который — могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две — дешевле, а три — еще дешевле. Прошу вас убедиться!..⁵

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары че...

Я захлопнул окно.



ДЕНЬ ГОСПОЖИ СПАНДИКОВОЙ

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической душой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга выставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песка, цветов в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик категорически заявил, что считает ее чертовой куклой¹, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

— Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легкий, и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

— Мука моя мученская! — простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

— Чего ты? — спросил господин Спандиков.

— Я потеряла обручальное кольцо в воде, — всхлипнула госпожа Спандикова.

— Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать — потеряла, значит, и нет его. Пойдем!

— Как пойдем? — вспыхнула госпожа Спандикова. — Так может говорить только старый осел!

— Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

— Ты.

— Ну ладно, ну я... Пойдем, милая!

— Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

— Я куплю другое. Пойдем, милая!

— Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит — большое несчастье.

— Первый раз слышу!

— Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

— Ну я иду домой.

— Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

— Купить другое? — пошутил муж.

Госпожа Спандикова всплеснула руками.

— Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

— Да мне не хочется.

— Лезь!

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

— Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

— Ищи же тут! Нырни еще!

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

— Разве ты в этом месте купалась?

— Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

— Да течение не оттуда, а отсюда.

— Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?

— Потому что мы были на том берегу реки.

— Это всё равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку, грустный, с искаженным лицом...

— Не могу больше! — прохрипел он.

— Это еще что за новости?!

— Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо на моем здоровье.

— Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

— Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но, тем не менее, господин Спандиков, зеленый как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и всё время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.....

.....
На даче всё оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

— Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

— Ну? — спросил муж хронической дуры.

— Ну — и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?



СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

I.

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными

руками. Рыжеватая растительность на голове и лице напоминала редкий мох, скупое покрывающий какую-нибудь северную неприветливую скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы, аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетоводов.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями, с нахлобученными на глаза шляпами, и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, 2 пуда¹ 3 фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на голову широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида, разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы на него было произведено по дороге какое-нибудь нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но — или негодьям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников...

II.

Химиков благополучно добирался домой и с отвращением съедал обед из двух блюд, с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная упорная война.

— Я не хочу вашего супа и битков, — говорил он обиженно. — Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бесполовая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так:

Съесть, надвинув шляпу на глаза, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего — эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь»².

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывавшими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя...

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек! Позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с, — говорил обычно слуга. — Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха, — грубо смеялся он, хлопая себя по карману. — Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал кому-нибудь из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло³ но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля были обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что все на него смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III.

Вокруг него шумела и ругалась городская гольгѣба, а он думал:

«Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто — будут со страхом спрашивать — стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это — страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складок кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал прислуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы, — думал он, — если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог пойти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека. («Эти деньги я всё равно отдал бы нуждающимся...»)

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудность бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

— Вот... возьми себе!

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV.

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки Мотья, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотья робко входил в комнату Химикова и садился в уголку.

Химиков, в задумчивости, шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело!

— Ббыло?.. — спрашивал Мотья, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат... Купчину одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое!

— А что же вы... с купцом сделали? — тихо спрашивал бледный Мотья.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха! — поквитался с ним.

— Кри...чал?.. — умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся на его круглой голове.

— Не пикнул! Нет, это что... Это — забава по сравнению с делом старухи Монморанси!

— Какой... Старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

— Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил... Ну и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько вы, вообще, человек... уложили?

Химиков задумывался.

— Человек... двадцать, двадцать пять, не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат. Зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть...

А потом можно и покаяться перед смертью. Отдам всё свое состояние на монастыри и пойду, босой, в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и, мрачный, шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал, — просил Мотька.

— Вот он, старый друг, — оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. — Я таки частенько уголяю его жажду, ха-ха! Любит он свежее мясо... Ха-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывал конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну, Мотя... Устал я после всех этих передрыг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотька.

— Э, брат. Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в боло-тах или на ветвях деревьев — это царская постель!

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупое покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный и что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и, на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V.

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшим в вечность закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжалом, — влюбился.

Его идеал — бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, — нашел воплощение в девице без определенных занятий Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико-живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это нетактично — приставать к незнакомым девушкам!

— Сударыня! Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей... Маруся! Не вносите аккорда

в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мною. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели! Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер седьмой... Ах! Что я сказала? Я, кажется, проговорила... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но, когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя...

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к дон Жуану и смотря на него снизу вверх. — Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого Провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Черт знает, что такое! — пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки.

— Черт знает... Решительно, не понимаю... — оторопело промгчал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI.

— Сударыня! — сказал Химиков, снимая свою черную, странную шляпу и опуская ее до самой земли. — Прошу извинения, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произвести которые вынудила меня необходимость! Ха-ха! — зловеще захохотал Хими-

ков. — Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

— Кто вы такой? — спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я?

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

— Когда-нибудь... Когда будет возможно, — человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто — я... Пока же... сударыня!.. Не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы! Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным сообразовывать дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома?

— Ну что ж, можно! — усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, — беззащитны, — прошептал Химиков, тронутый ее историей. — Скорбь об утере ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

— Покатайте меня на автомобиле, — сказала девушка, шуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям, Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им «старые добрые дилижансы». Но желание женщины было для него законом.

— Сударыня! Вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возразил ей ни слова, но про себя решил, что, если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине.

В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химинову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд... Полина. Вы... меня... полюбили?! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь!

— Дайте папиросу! — попросила Полина, разглаживая его редкие, рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! — в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна!

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII.

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива — всё это поглотило молодое, поэтическое чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья впе-

ред... Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в таверне «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного приключения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII.

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфект!

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал! Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, — печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, — улыбнулся торговец. — С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX.

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали. Тут же он решил, если ограбит большую сумму, — отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Всё было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб, — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он. — Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. — В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно! На тебе двутривенный, пойдешь, обогрейся.

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двутривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, хлопал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода...

X.

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйкин сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

— Да... брат Мотя, — подмигнул ему Химиков. — Много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата!

— Мама говорила, что, может, не умрете, — попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

— Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя! У меня не было друзей, кроме тебя... Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего — мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью:

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать!

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков. — Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя! Жди, когда придут к тебе трое людей в красных плащах с винтовками в руках, — тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных, в защиту слабых!

Он оборвал голос и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова? Было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь! — с трудом сказал Химиков, открывая глаз. — Тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мною толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом Все-вышш... Засни, Красный Матвей!

И затих.



ЗАГАДКА ПРИРОДЫ

Предисловие

Всякий, кому довелось читать мои произведения, заметил, что все они проникнуты теплым, ярким светом недюжинного таланта и оригинальности. Я не помню ни одного своего рассказа, который не вызвал бы массы толков и восторженных похвал. Например, вчера: зашел ко мне приятель, с целью перехватить кое-что «до следующей среды». Получив деньги, он положил их в карман, похлопал меня по плечу и дружески сказал:

— Читал я на днях твою штучку... Ничего!

Да всего и не упомнишь!

Читатель обыкновенно замечает хорошие стороны писателя только тогда, когда поднесешь их ему под самый нос. Исходя из этого, я должен обратить внимание читателя на то, что во мне нет и в помине тривиальности и пошлости других жалких писак. Например, в ниже-следующем рассказе я пишу о таких невероятных вещах, что всякий здравомыслящий читатель ни крошки не поверит, что это правда... Зная об этом, мои презренные коллеги прибегают в таких случаях к невероятно пошлому и навязшему в зубах приему: они разглагольствуют о самых небывалых, невозможных вещах в продолжение всей повести и в самом конце вскользь упоминают об очевидце рассказанной им чепухи:

— Но тут он... проснулся!¹

Подумаешь, будто читатель без этого поверил бы всем выдуман-ным ими нелепостям. И автор, полагающий, что он — крайне хитрый, себе на уме человек, в тысячный раз ставит между «но тут он» и «проснулся» многоточие. Он уверен, что читатель, прочтя, «но тут он» всё еще будет думать обо всем рассказанном как о голой правде, и слово «проснулся» застанет его врасплох — изумленным и не подготовленным к ошеломляющему разоблачению автора.

Совсем не так поступаю я.

Нижеследующее покажется читателю неслыханным, странным и необъяснимым, но я утверждаю, что *всё это было*, и малейший признак недоверия к рассказанному глубоко уязвит мою чуткую, впечатлительную душу.

Глубокой ночью сидел я в своем тихом уютном кабинете и писал для оккультного журнала статью о загробной жизни².

Фактов о загробной жизни у меня было столько же, сколько у любой торговки апельсинами, и это немало огорчало меня.

Приходилось фантазировать, что вовсе мне не по душе...

Написав несколько строк о том, что души покойников после смерти переселяются на верхушки стоящих около могил деревьев, занимаясь потом, при появлении живых родственников, печальным киванием этими верхушками, я недоверчиво пожал плечами и задумался.

«Вот, — говорил я сам себе, — за моей спиной в глубине кабинета висит женский скелет, подаренный мне приятелем... И этот нелепый, никому не нужный костяк знает о загробной жизни в сто раз больше меня, живого человека и царя природы... Я не пожалел бы остатка своей жизни за то, чтобы эта женщина открыла свои костлявые уста и приподняла хотя маленький краешек таинственной завесы загробной жизни».

Сзади послышался глухой вздох.

Я вздрогнул и насторожился.

— Ах! Где я? — закрипело что-то в глубине кабинета. — Какой это идиот осмелился меня повесить?

Я вскочил с глазами, готовыми от ужаса выпрыгнуть на пол, и обернулся к скелету. Обладательница его пошевелила рукой и приняла стыдливую позу Венеры, выходящей из воды. Я не мог отвести от нее испуганных глаз и стоял без единого звука, а она, наклонивши череп, застенчиво сказала:

— Ах! Не смотрите так на меня!

— Как — так? — машинально спросил я.

— Так... Все вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забыли, что я не одета. Ну, чего же вы стали как столб? Пошевелитесь! Принесите скорее мне какую-нибудь простыню да отцепите от этого проклятого гвоздя. Только не смотрите на меня, пока я не оденусь. У-у... Шалун.

Она погрозила мне костяшкой пальца и закуталась в поданное мной одеяло. Я снял ее с гвоздя, причем заметил, что она прижалась к моему плечу больше, чем это было нужно.

— Боже! — сказала она, запахиваясь в одеяло. — Я одна, в глухую полночь, в кабинете молодого мужчины... Надеюсь, вы не употребите во зло мое безвыходное положение?

— Помилуйте, сударья, — возразил я, незаметно отодвинувшись от нее. — Как вы могли подумать...

— Да, да... знаю я вас! Все вы сначала говорите одно и то же...

Оглядевшись, она взяла со стола скомканную бумажку, потерла ее о рыхлую землю цветочного горшка и стала пудрить свои белые костлявые скулы.

— Не смотрите на меня так! Я всегда чернею от смущения, когда мужчина смотрит на меня.

— Простите, — пробормотал я. — Я не буду смотреть...

— Вы не будете смотреть? — лукаво улыбнулась она страшным оскалом челюстей. — Разве я вам не нравлюсь?..

— О, помилуйте! Вы мне очень нравитесь... гм... Я очень люблю таких... худощавых дам!

Я бессовестно льстил ей, надеясь выведать у нее многое из того, что знала она и что было для меня таким недоступным.

Она же приняла мои слова за чистую монету.

Почернела, потушилась и, подняв обе руки к черепу, воскликнула:

— Ах, какой вы кавалер! Скажите, пожалуйста... У меня прическа не растрепалась?

— Нет! — совершенно искренно ответил я, так как прическа ее не могла растрепаться ни при каких условиях.

Она лукаво поглядела на меня пустыми глазницами, и я, собравшись с духом, сказал:

— Мадам!

— Ах! — что вы... — сконфузился скелет... — Я пока мадемуазель.

— Неужели? Простите, я не знал. Сударыня! У меня к вам есть большая просьба...

Скелет закутался плотнее в одеяло и захихикал:

— Ах, нет, нет! Что это вы... Ни за что!

— Что — нет? Я вас не понимаю, сударыня...

— Да, не понимаете... Все вы, мужчины, не понимаете!..

— Уверю вас! У меня есть к вам важная просьба: расскажите мне что-нибудь о загробной жизни!

— Вы не знаете? — улыбнулась она, кокетливо помахивая кончиком ноги, выставившейся из-под одеяла. — Ах, это так интересно!.. Это страшно, безумно интересно!

— Да что вы! — обрадовался я. — Так вы расскажете...

— Конечно, конечно! Вы себе и представить не можете, что там делается!.. Только... гм... и вы должны сообщить мне кое-что...

— О, сколько угодно!

Она наморщила надбровную дугу и деловито сказала:

— Мегсі*. Скажите мне: что теперь носят?

Будучи уверен, что ее мысли заключены в узкий круг мертвецких похоронных интересов, я ответил, покачав головой:

— Носят? Да всё. И мальчиков, и стариков, и цветущих женщин, и младенцев.

— Нет! Я вас спрашиваю, что в этом сезоне носят?

— Холерных больше, — подумав, сказал я.

— Не-е-ет! Какой вы, право, непонятливый!.. Что у вас носят женщины? Ну, узкие рукава — в моде?

— Ах, так! Да, бывают узкие, — неопределенно ответил я.

— Вы не заметили — на груди есть складки?

— Складки? Иногда портнихи их действительно делают.

Она задумчиво покачала черепом.

— Гм... Так я и думала. А скажите... Как нынче юбки?

— Юбки? Черные шьют, красные, зеленые...

* Спасибо (фр.).

– Нет, нет... А фасон?

– Такой, знаете... обтянутый.

– Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что к этому вернутся.

Она натянула на своих бедрах одеяло и повернулась передо мной.

– Так?

– Сударыня! – робко напомнил я. – Вы мне обещали о тамошнем кое-что порассказать...

– Да, да... Шляпки, конечно, по-прежнему большие?

– Большие. Сударыня, осмелюсь...

– Боже мой! Что вы от меня хотите?

– Вы обещали...

– Ага, простите! Что же вам рассказать?

– Всё, подробно... Как там, вообще...

– Ах, вы и вообразить не можете! Надо вам сказать, что умерло нас трое: я, потом одна толстая лавочница и жена адвоката. На мне было белое платье с розовой отделкой, волосы зачесаны назад и на ногах...

– Сударыня!

– Ну? Не перебивайте! А жена адвоката... Можете представить: она была в черном шерстяном и в туфлях без каблуков... Ха-ха! Без каблуков! Ха-ха-ха!

Она так расхохоталась, что закашлялась. Потом встала с кресла и, прохаживаясь перед зеркалом, продолжала:

– Ну вот, умираем мы... В тот же день с нами похоронили одного молодого чиновника... Длинный такой был, красивый. С усиками. Мне рассказывали, что на похоронах его была молодая женщина, плакавшая над гробом, и старик, который...

– Сударыня!!

– И старик, который всё качал головой, глядя на него... Понимаете, седой весь... качает и качает головой! А молодая дама, можете представить...

– Сударыня!

– Ну что там еще?.. А потом говорили над его гробом речи. Какой-то толстый сказал: «Обнажим, – говорит, – наши головы перед прахом этого молодого человека...» Ужасно было трогательно.

— Сударыня!.. Я вас просил о загробной жизни, а вы...

— Ах, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали... Загробная жизнь наша состоит в том, что...

Она остановилась перед зеркалом и повернулась к нему спиной.

— А сзади меня хорошо облегает?

— Хорошо! Так вы говорите, что загробная жизнь...

— Да!.. Она состоит в том, чтобы... Ах, досада! Никак я не могу спины увидеть...

Она повернула голову так, что затрещали позвонки.

— Загробная жизнь наша заключается в том, что мы...

Она свернула череп чуть ли не совсем на затылок... Неожиданно — проволока, скреплявшая позвонки, лопнула, и голова с двумя позвонками глухо упала на ковер...

Моя собеседница зашаталась и рухнула, рассыпавшись грудой белых костей.

— Проклятая болтливая баба! — злобно вскричал я, вытряхивая ее из одеяла.



Потом долго не мог успокоиться, шагая из угла в угол, и только под утро заснул тяжелым сном, томимый неразрешенной загадкой, которая почти давалась в руки:

«Что же, наконец, делается на том свете?»



КРИВЫЕ УГЛЫ

Глава I. ПРИЕЗД

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова — Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, восемьдесят — лошадьми, а восемь — идти пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин неожиданно оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрал до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидев его, выпала оттуда на землю и, с криком ужаса, понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подсакивая на ходу, убежала в заросший, глухой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и горько заплакал.

— Чтoб ты пропал, собачий учитель! Напрасно я украл для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболую я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошёл в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате, с трубкой. Пососал ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

— Наверно, это самый учитель и есть. Приехал с чемоданом. Да-с. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов. Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

— Эй, кто есть? Копанчук, Павло! Возьмите его чемодан! А что, учитель, играете вы в «кончины»?

— Нет, — сказал Поползухин. — А ваш мальчик меня языком дразнил.

— Высеку. Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами... Пойдем, покажу...

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте, с бантом на груди.

— Чего ты его тащишь? Опять, наверно, со своими проклятыми картами? Дай ты ему лучше отдохнуть, умытьсся с дороги.

— Здравствуйте, сударыня. Я учитель Поползухин из города.

— Ну, что же делать, — вздохнула она. — Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадают хорошие люди. Только уж ты у нас, сделай милость, мертвецов не режь.

— Зачем же мне их резать? — удивился Поползухин.

— То-то я и говорю — незачем. От Бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни. Обпылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава II. ТРИУМФ

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же на коленях и горько плакал, перемежая это занятие попытками выгачить с помощью зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин кончит свою работу.

— Учение очень трудная вещь, — говорил Поползухин. — Вы знаете, что такое тригонометрия?

— Нет.

— Десять лет изучать надо. Алгебру семь с половиной лет, латинский язык десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь! Трудно. Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов, подперев щеку рукой, сосредоточенно слушал Поползухина.

— Да, теперь народ другой, — сказал он. — Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

— Как играть?

— А так. Прислал мне тесть на имянины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть — бес его знает. Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

— Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря.

— Ну? Играете?! Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и сейчас же схватил гимназиста за рукав.

— Пойдем, вы нам поиграете!.. Ну его к бесу, ваш пиджак. После очистите. Послушаем, как оно это... Жена, жена! Иди сюда, бери вязанье — учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке, под беличьим салопом¹, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин, с мрачным решительным лицом, вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

— Потрудитесь, господа, отойти подальше. Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать — на это ты мастер, а как на коленях стоять, ты не мастер? Господа, будьте добры сесть подальше: вы меня нервируете.

— А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов. — Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся.

— Не беспокойтесь: не с такими аппаратами дело имели...

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули: из трубы доносился визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку...»

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка с хладнокровием опытного, издавшего виды мастера, подкручивал винтик, регулировавший высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскрикивал и, подбегая ко всем, говорил:

— Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы!.. Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли?.. А ты всё по крышам лазишь... А ну, еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя...

Потом, крадучись, пришла вчерашняя поджарая старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава III. СВЕТЛЫЕ ДНИ

Для гимназиста Поползухина наступили светлые безоблачные дни... Андрейка боялся его до обморока и, большей частью, сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон... Помещик

Плантов забыл уже о «кончинах» и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

— Ну, сыграйте что-нибудь... Очень прошу вас!.. Чего, в самом деле...

— Да нет, я сейчас не могу, — манерничал Поползухин.

— Почему не можете?

— Для этого нужно подходящее настроение. А ваш Андрейка меня разнервничал...

— А бес с ним! Плюньте вы на это ученье. Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас...

— Эх, — качал лохматой головой Поползухин. — Что уж с вами делать... Пойдемте!..

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня, при встрече с Поползухиным, снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени...²

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могущественным учителем — при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий — ничего не делал: Андрейку не видел по целым дням, помывкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

— Принеси-ка мне чего-нибудь поесть... Студня, что ли, и мяса. Да наливки дай...

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

— Кушаете? А что, в самом деле — выпью-ка и я наливки. А ежели вам спать не особенно хочется — пойдем, вы мне поиграете что-нибудь, а?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать...

Глава IV.

КРАХ

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке... Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

— Идите, барчук, в дом. Барин просят вас на той машине играть.

— А ну его к черту, — морщился Поползухин. — Не пойду. Скажите — нет настроения для игры.

— Идите, барчук... Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слушать хочут.

— Скажите — вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду... В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку...» — заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом... Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

— Да что ж тут мудреного? — говорил он. — Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится...

— Зачем вы без меня трогали граммофон? — сердито крикнул Поползухин.

— Смотри, какая цаца! — сказал ядовито помещик Плантов. — Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться?.. А вот Митя Колонтаров приехал и сразу заиграл. Эх,

ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу. То-то, здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания... Говядину ему подложили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

— Ну, брат, довольно тебе шалберничать... Нагулялся!.. Учитель! Займитесь!

Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

— Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга... По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.



ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски-изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты, Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками...

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно, — вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

— Я вас не понимаю...

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-Богу, лично против вас я ничего не имею... Простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым, красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться, — говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще не известное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

— Вы тяжелый грубиян и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до ма-

леньких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

На улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленную улыбку (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что подельваете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть всё же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

— Извините, — страдальчески говорит Хрякин, — мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я подельваю. А подельваю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что подельваю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марию Потаповну. «Приезжайте, — говорит, — завтра к нам»...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слпшшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натякаюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же, — говорю я, вздыхая. — Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги всё собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует...

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, — был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет». — «Значит, есть домик?» — «Нет». — «Ха-ха!» Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свидания. Заходите.

— Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — «черти побрали»?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?..

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Перед лицом смерти

В этот день я был на поминальном обеде.

Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.

— Слышали? Какое у меня несчастье-то...

Конечно, я слышал... Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да, да...

Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под Богом ходим, но, вместо этого, говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий...

Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя... Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семёныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да, — вздыхает сивый старик в грязном сюртуке. — Юдоль. Жил, жил человек, да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так... Вот вы говорите — «жил, жил да и помер»! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробнёньким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я одобряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк. — Жить бы ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы.

— Бог дал — Бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под Богом ходим, — говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем, — шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — «как это говорится», — замечаю я. — А я, в сущности, завидую Ивану Семеньчу!

— Да, — вздыхает толстяк. — Он уже там!

— Ну, там ли он — это еще вопрос... Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал... Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, тово... Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

Веселье

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружили бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.

— Да спойте!

- Право же, не могу...
- Да спойте!
- Уверяю вас, я не в голосе сегодня!
- Да спойте!
- Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...
- Да спойте!
- Говорю же — я не в голосе...
- Да ничего! Да спойте!
- Что уж с вами делать, — засмеялась барышня. — Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие — очень хотели барышнинного пения, а она не хотела петь... На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте — притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

«Сейчас, — подумал я, — все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: “Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете...”»

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевым голосом сказал:

– Да-а... Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули, а я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

– Давайте поболтаем, — предложил я, садясь. — Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

- Шесть штук.
- И все хотят замуж?
- Безумно.
- И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?

- А то как же... Все.
- И обирать будут мужей и изменять им — все?
- Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.
- И вы тоже такая?
- И я.

В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню, крепко и благодарно поцеловал ее и ушел от Кармалеевых, немного успокоенный.

Перед сном

Дома жена встретила меня слезами:

- Зачем ты обидел тетку утром?
- А зачем она разговаривает?!
- Нельзя же всё время молчать...
- Можно. Если сказать нечего.
- Она старая. Старость нужно уважать.
- У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупые, оба пыльные.

Жена плачет, и — день мой заканчивается последней — самой классической — фразой:

- Все вы, мужчины, одинаковы.

Ложусь спать.

— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..



ТАЙНА

I.

н уверял меня, что с детства у него были поэтические наклонности.

— Понимаешь — я люблю всё красивое!

— Неужели? С чего же это ты так? — спросил я, улыбаясь.

— Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко всему красивому...

— В таком случае, я подарю тебе книжку моих стихов!!

Он не испугался, а сказал просто:

— Спасибо.

Я спросил как можно более задушевно:

— Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овечку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-высоко... Так, саженей¹ в 60 высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, он прошептал:

— Люблю до боли в сердце.

— Вот видишь, какой ты молодец! А еще что ты любишь?

— Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое пение...

Цветы, орошенные первой чистой слезой холодной росы... Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю тайну, которая всегда красива.

— Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого раньше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн... Знаешь ли ты, например, что между женой нашего швейцара и приказчиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как он делал ей заманчивые предложения...

Он болезненно поморщился.

— Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, грубая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты знаешь, что я сделал сегодня?

— Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, — уверенно сказал я.

— Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И знаешь, что я сделал?

— Что-нибудь красивое, поэтичное?

— Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки. Это маленькая грациозная тайна. Я люблю всё грациозное. Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... И неизвестно от кого... это тайна.

— Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие брюки!

— Друг, — страдальчески сказал он, — не будем говорить об этом. Цветы... Из нездешнего мира... Откуда они? Из чистого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.

— Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? — едко сказал я.

— Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив... Ты понимаешь — она *никогда* не узнает, от кого эти цветы... Это маленькое и ужасное слово — *никогда*. Never-more².

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что, если бы этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы, чем мои.

II.

Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас такой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сначала даже отступил за Васю Мимозова.

— Василий Валентиныч! — воскликнула прелестная хозяйка. — Признавайтесь... Это вы прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко открыв глаза:

— Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.

— Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту очаровательную вещь.

— О чем вы говорите?

— Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!

Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цветов:

– Какая роскошь! Кто это вам преподнес?

Хозяйка удивилась.

– Неужели это не вы?

Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней свое грустное, меланхолическое лицо и твердо сказал:

– Конечно, не я. Даю вам честное слово.

Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:

– Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?

Я отвернулся и, с деланным смущением, возразил:

– Что вы, что вы!

Она подозрительно взглянула на меня.

– А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Признавайтесь, шалун!

Я глупо захохотал.

– Да почему же вы думаете, что именно я?

– Вы сразу смутились, когда я спросила.

Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умоляющие знаки.

Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуговицу на жилете:

– Ах, оставьте!

– Ну конечно же, вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!

Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззаботно ответил:

– Стоит ли об этом говорить!

Она схватила меня за руку.

– Значит, вы?!

Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился и хрипло воскликнул:

– Это не он!

Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.

– Так, значит, это вы?

Лицо моего приятеля сделалось аренной борьбы самых разнообразных страстей: от низких до красивых и возвышенных.

Возвышенные страсти победили.

— Нет, не я, — сказал он, отступая.

— Больше никто не мог мне прислать. Если не вы — значит, он. Зачем вы тратите такую уйму денег?

Я поболтал рукой и застенчиво сказал:

— Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги, деньги... Что такое, в сущности, деньги? Они хороши постольку, поскольку на них можно купить цветов, окропленных первой чистой слезой холодной росы. Не правда ли, Вася?

— Как вы красиво говорите, — прошептала хозяйка, смотря на меня затуманенными глазами. — Этих цветов я никогда не забуду. Спасибо, спасибо вам!

— Пустяки! — сказал я. — Вы прелестнее всяких цветов.

— Мегсі. Все-таки рублей двадцать заплатили?

— Шестнадцать, — сказал я наобум.

Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов, донесся тихий стон:

— Восемнадцать с половиной!

— Что? — обернулась к нему хозяйка.

— Он просит разрешения закурить, — сказал я. — Кури, Вася, Лидия

Платоновна переносит дым.

Мысли хозяйки всё время обращались к букету.

— Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот букет? Но он молчал.

— Мальчишка, очевидно, дрессированный, — одобрительно сказал я.

— Мальчишка! Но он старик!

— Неужели? Лицо у него было такое молодежавое.

— Он весь в морщинах!

— Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненормальное положение приказчиков, десятичасовой труд... Об этом еще писали. Впрочем, сегодняшней заработок поправит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он ударит меня, но он сурово сказал:

— Едем! Нам пора.

При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и прошептала:

— Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Мерси за букет. Приезжайте одни.

Мимозов это слышал.

III.

Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил задушевым тоном:

— А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят радостным благовестом и румяные детские личики резвятся около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе дорогá летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое ласково греет травку и птичек... Или первый поцелуй теплых губок любимой женщины...

Падая с пролетки³ и уже лежа на мостовой, я успел ему крикнуть:

— Да здравствует тайна!



ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР

I.

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный, удивительный комок, — не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто... Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попок и любви, несмотря на свои 25 лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

– Мужчина!.. Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик — очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право, а?

И всё время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городского, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот — он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

– Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право, а?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и, с видом шутника, баловня дам, спрашивал:

– А может, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот и, схватившись за бока, хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

– Оо-ой, чудак! Уморил!.. Ну, и скажет же..

В общем, ей не так было смешно, как она прикидывалась: может быть, прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной с водкой, что — принимая во внимание сырую погоду — было бы совсем неплохо.

II.

Сегодня прохожие были какие-то угрюмые, необщительные: несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение угоститься совместно ветчиной и водкой — послали ее «ко всем чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно... Он уже давно ушел, а она всё стояла, придерживая шляпу и изобретая всё новые и новые слова, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время ей навстречу шли два человека. Один приостановил другого, указал на девицу и шепнул:

— Давай, Вика, ее пригласим!

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед.

— Знаешь, Петерс, она, кажется, очаровательна.

Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

— Сударыня! — сказал Петерс. — Приношу вам от имени себя и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытные. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, но скромно и интеллигентно!

Девица захохотала, взявшись за бока.

— Ой, уморили! Да и комики же вы!..

Господин по имени Петерс всплеснул руками.

— Это очаровательно! Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

— Настоящая воспитанность именно и заключается в благородной простоте и безыскусственности. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам одно нескромное предложение...

— Что такое? — спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

— Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

— Мы даем вам слово, — заявил Петерс, — что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и вскричать: «Ой, уморили!», но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

— Что вам нужно?

— Ради Бога, — суетливо воскликнул Вика, — не подумайте, что мы бы хотели употребить во зло ваше доверие, но... скажите: не согласились ли бы вы отужинать с нами, конечно, где-нибудь — в приличном месте?

— Ну, да, да, конечно, поужинаю, — согласилась повеселевшая девица.

— О, мы вам так благодарны!..

Петерс нагнулся и, взяв за грубевшую большую руку девицы, тихо прикоснулся к ней губами.

— Эй, мотор! — крикнул куда-то в темноту Вика.

Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но, вместо этого, к ним, пыхтя, приблизился автомобиль. Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на мягкую пружинную подушку.

«Матушки ж вы мои, — подумала пораженная, потрясенная девица. — Что же это такое?»

Ей пришло в голову, что самое лучшее — в благодарность за автомобиль — обнять Вика за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым ее знакомым это доставляло удовольствие... Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

— А ведь мы еще не знакомы! Моя фамилия Гусев, Виктор Петрович, инженер, а это мой приятель — Петерс, Эдуард Павлыч — писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девица помолчала.

— Меня зовут Катериной. Катя.

— О, помилуйте! — ахнул Петерс. — Разве мы осмелимся называть вас так фамильярно... Екатерина... как по отчеству?..

— Степановна!

— Мерси. Вика... Куда же мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» — неудобно?

— Да, — сказал Вика. — Туда с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее — к Контану!¹

— Прекрасно! Вы, Екатерина Степановна, не беспокойтесь: это ресторан очень приличный, и туда смело можно повести порядочную даму.

Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве...

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль:
«Ее серьезно приняли за даму из общества!»

III.

У Контана заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья шляпы были при ярком свете электричества убийственны, но друзья, не замечая этого, разоблачили девицу и, усадив, сказали:

— Позвольте вам предложить закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров, фуа-гра... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы пьете вино?

— Пью, — тихо сказала девица, упорно смотря в цветочки на обоях.

— Прекрасно! Петерс, ты распорядись!..

Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную прозрачную водку. Девице, вместо шампанского, хотелось водки, но она ни за что не сказала бы этого, предпочитая молча прихлебывать шампанское. Заедала ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ярко выделялся протертый рукав кофточки и грудь, покрытая белым пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала:

— А за мной один полковник ухаживает... Влюблен — невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

— Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

— Никак. Они живут в Пскове.

— Вы, вероятно, — сказал участливо Петерс, — приехали в Петербург развлечься? Я думаю, молодой, неопытной девушке в этом столичном омуте — страшно.

— Да, мужчины такие нахалы, — сказала девица и скромно положила ногу на ногу.

— Мы вам сочувствуем, — тихо сказал Вика, взял руку девицы и деликатно поцеловал ее.

— Послушай, — пожал плечами Петерс, — может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты целуешь ей руку, а она стесняется сказать это... Ведь мы же обещали вести себя прилично.

Девушка густо покраснела и усмехнулась:

— Ничего, что ж... Пусть. Когда я жила у папаши, у меня все всегда целовали руки.

— Да, конечно, — серьезно кивнул головой Петерс. — В интеллигентных светских домах это принято.

— Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки!

— Вы какая-то скучная, — участливо сказал Вика. — Вероятно, у вас мало развлечений? Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой. Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселее выезжать в театры и концерты...

Девушка с непонятным беспокойством в глазах встала и заявила:

— Мне пора. Спасибо за компанию.

— Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле!

— Ой, нет, нет, спасибо... Ради Бога, не надо, я сама... Ой, нет, нет — не надо.

IV.

Когда девушка вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на ковер...

...Девушка шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:

— Мм... мамочка! Идем со мной!

Девушка злобно обернулась.

— Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь! Нельзя порядочной даме по улице пройти... Сволочь паршивая!!



ДРУЖБА

Посвящается Марусе Р.

Уезжая, Кошкин сказал жене:

— Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет вместо меня мой друг Бултырин. Он, правда, недалеко и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне, и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтобы тебе не было страшно.

— Да мне и так не будет страшно, — возразила жена.

— Ну, все-таки! Мужчина в доме.

А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал:

— Друг Бултырин! Оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, которые, как только отвернешься, сейчас же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут нашептывать ей разные идиотские слова.

— Кошкин! — сказал сурово, с непреклонным видом, Бултырин. — Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо: жена моя таки удрала с каким-то презренным молокососом! Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не поддамся.

Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча, многообещающе пожал руку Кошкина.

Кошкин уехал.

Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикальвала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:

— О чем вы шептались с Жоржем?

— Так, вообще. Он поручил мне быть всё время около вас.

— Зачем? — удивилась Мурочка.

Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:

— Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?

— Послушайте! — вспыхнула Мурочка. — Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна.

«Да! — подумал Бултырин. — Хитра ты больно... Меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас».

А вслух сказал:

— Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет.

Этими словами он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но Мурочка надулась и на извозчика села злая, молчаливая.

Бултырин был совершеннейший медведь: в экипаж вскочил первый, занявши три четверти места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с нею раскланявшись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком.

Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой.

Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки сак¹, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухвативши ее за руку:

— Ну, идем, что ли!

— Пойдите... куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто же хватает за кисть руки?!

— А как надо?

— Возьмите вот так... под руку... И, пожалуйста, оставьте свои нелепые выходки. А то я сейчас же уйду от вас.

Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал:

«Врешь! Не сбежишь, подлая! А ругаться ты можешь, сколько тебе угодно».

Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах.

Хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.

«Посмотри-ка теперь!» — сурово усмехнулся он про себя.

Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом, огорченная, сказала:

— Не понимаю! Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда, ни сюда.

— Разве теперь мастера пошли? Жулики! — отвечал Бултырин. — Им бы только деньги брать. Возьмут, да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут! Ей-Богу!

В антракте Бултырину захотелось покурить.

«Оставить ее тут рискованно, — размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову. — В курилку за собой тащить неудобно... Хорошо бы запереть ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу... Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею! Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтоб никто не видел?»

Он встал.

— Пойдем!

— Куда? Я здесь посижу.

— Нельзя, нельзя! Надо идти.

— Да отстаньте вы от меня! Идите себе куда хотите.

— Нет-с, я без вас не пойду...

— Пойдете! — злобно сказала Мурочка. — Вот возьму и не сдвинусь с места!

Бултырин задумался.

— Сдвинетесь! А то скандал сделаю! Думаете, не сделаю? Ей-Богу! Возьму да крикну, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман полезли, или скажу, что вы моя беглая жена! Ага! Пока разберут — вы скандалу не оберетесь.

Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.

— Какой же вы... негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте!

«Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь... — подумал торжествующий Бултырин. — Я ведь знаю, как обращаться с женщинами».

Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним приближался молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке.

— А! Марья Констант...

— Виноват, молодой человек! — заслонил Мурочку Бултырин. — Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме. Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе...

— Слушайте! Вы с ума сошли?!

— Проходи, проходи! Много вас тут... Смотрите на него, лыка не вяжет.

— Прежде всего — вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной...

Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала:

— Ради Бога! До завтра... Заезжайте к мужу. Он объяснит; не подымайте сейчас истории!

Лицо Мурочки было красно, и на глазах блестели слезы. Пораженный молодой человек, пожав плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку, взяла Бултырина под руку и ласково сказала:

— Проводите меня до уборной.

— Зачем?

— Какое тебе дело, подлец, — глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка. — С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду... Толстое животное!

— Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдем в уборную... Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с! В уборную я вас одну не пушу.

— Вы форменный идиот, — простонала тихонько Мурочка, — ведь уборная женская!

— Да... там, может, другой ход есть...

— Да сак-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретин?!

«Удерет она без сака или нет? — подумал Бултырин. — Пожалуй, не удерет».

— Ну, идите! Я всё равно у дверей сторожить буду.

Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултырина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с горничной.

— Едем домой! — решительно сказала Мурочка.

«Ага! Не выгорело с любовником», — злоратно усмехнулся про себя Бултырин.

— Пожалуй, едем!

Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз, на красивую Мурочку, — сел с нею на извозчика.

— Жаль, что пьесы не досмотрели, — любезно обратился он к ней, когда они поехали, — забавная, кажется, пьеска...

Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала:

— Подлец, подлец! Дурак проклятый! Тупица!

— Чего вы ругаетесь? — удивился Бултырин.

— Вот же тебе, кретин: когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впущу любовника... ха-ха-ха!

— Нет, вы этого не сделаете, — хладнокровно сказал Бултырин.

— Почему это, позвольте спросить?

— А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить...

— Вы с ума сошли! Вы так глупы, что даже не понимаете шуток!

— Ладно, ладно. Так и сделаю. А что?! Проговорились, да теперь на попятный? Ей-Богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово Жоржу?!

— Посмейте! Я позову дворников, они вас в участок отправят.

— А я скандал сделаю! Скажу, что я ваш любовник и вы меня приревновали к вашей горничной.

— Подлец!

— Пусть.

Свеча догорала, слабо освещая спальню... На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрывая простыней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала, и глаза ее были красны.

В углу, в мягком большом кресле сидел полусонный Булыгин и, грызя машинально вынутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую.



КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев¹ вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой, зеркальной поверхности воды.

Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоявшей по колена в воде и обливавшей горящими руками голову в зелёном чепчике.

«Женщина! — подумал Плюмажев и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире. — Ей-Богу, женщина! И молоденькая, кажется!»

Его худые, старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок.

— Эх! — простонал Плюмажев. — Анафемская близорукость... Что за глупая привычка — не брать с собой бинокля.

Он протер глаза и вздохнул:

— Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что — хоть убей, не разберу. Ага! Вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик да подожду: может, подплывет ближе. Эхе-хе!

Спотыкаясь, он взобрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую заросль кустов, как взгляд его упал на неподвижно застрявшую между зеленью веток гим-

назическую фуражку, продолжением которой служила блуза цвета хаки и серые брюки.

— Ишь, шельма... Пристроился! — завистливо вздохнул Плюмажев и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег.

Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбувшись, сказал:

— А, и вы тоже!

«Подлец! Ещё фамильярничает», — подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустился рядом на траву и заискивающе хихикнул:

— Хе-хе! Любопытно?

— Хорошенькая! — сказал гимназист. — Одни бедра чего стоят. Колени тоже: стройные, белые! Честное слово.

— А грудь... А грудь? — дрожащими губами, шепотом осведомился Плюмажев.

— Прелестная грудь! Немного велика, но видно — очень упруга!

— Упруга?

Плюмажев провел кончиком языка по сухим губам и нерешительно произнес:

— Не могли ли бы вы... одолжить мне на минутку... бинокль!

Гимназист, не отнимая от глаз бинокля, отрицательно замотал головой:

— Э, нет, дяденька! Этот номер не пройдет! Надо было свой брать.

Плюмажев протянул дрожащую руку.

— Дайте! На минутку.

— Ни-ни! Даром, что ли, я его у тетки из комода утащил! Небось, если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали!

— Да дайте!

— Не мешайте! Ого-го!

Гимназист поднялся вперед и так придавил к глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность.

— Ого-го-го! Спиной повернулась... Что за спина! Я, однако же, не думал, что у нее такой красивый затылок...

Лежа рядом, Плюмажев с деланным равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от тайной обиды и негодования.

— В сущности, — начал он срывающимся, пересохшим голосом, — если на то пошло — вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно.

— А вы у меня просили бинокль! Тоже!.. Самому можно, а мне нельзя.

Плюмажев помолчал.

— Захочу вот — и отниму бинокль. Да еще приколочу. Я ведь сильнее...

— Ого! Попробуйте отнять... Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик — ну, выдерут в крайнем случае за уши, а вот вам позор будет на всё лето. Человек вы солидный, старый, а скажут — такими глупостями занимается... Теперь она опять грудью повернулась. Живот у нее... хотите, я вам буду рассказывать всё, что видно?

— Убирайся к черту!

— Сам пойдя туда! — хладнокровно возразил гимназист.

— Грубиян...

— От такого слышу.

Плюмажев заскрежетал зубами и решил — наградивши мальчишку подзатыльником — сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слюну и обратился к гимназисту деланно-ласковым тоном:

— Зубастый вы паренек... Вот что, дорогой мой: ежели не хотите одолжить на минутку, то... продайте!

— Да... продайте... А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать!

— Я уверен, молодой человек, — заискивающе сказал Плюмажев, — что тетушка ваша и не подумает на вас! Теперь прислуга такая воровка пошла... Я бы вам полную стоимость сейчас же... А?

Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств. Он задумался.

— Гм... А сколько вы мне дадите?

— Три рубля.

— Три рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине 8 стоит.

Гимназист с презрением повел плечом и опять обратился к противоположному берегу.

— Ну, вот что — 5 рублей хотите?

— Давайте десять!

— Ну, это уж свинство. Сам говорит, что новый восемь стоит, а сам десять дерет. Жильник!

— Мало ли что! Иногда и двадцать отдашь... Вот... теперь она наклонилась грудью! Замечательно у нее получается сзади... Перешла на мелкое место и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные!

Раньше гимназист восхищался бесцельно. Но теперь он делал это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.

— Эге! Что это у нее? Ямочки на плечах... Действительно! А руки белые-белые... Локти красивые!! И на стисках ямочки...

— Молодой человек, — хрипло перебил его Плюмажев, — хотите... я вам дам восемь рублей...

— Десять!

— У меня... нет больше... Вот кошелек... восемь рублей с гривенником. Берите... с кошельком даже! Кошелек новый, три рубля стоил.

— Так то новый! А старый — какая ему цена — полтинник!

Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое, — но втайне побоялся: как бы мальчишка не обиделся.

— Ого! Стала спиной и нагнулась! Что это! Ну, конечно! Купальный костюм расстегнут и...

— Слушайте! — перехватывающимся от волнения голосом воскликнул Плюмажев. — Я вам дам, кроме восьми рублей с кошельком, — еще перочинный ножичек и неприличную открытку!

— Острый?

— Острый, острый! Только вчера купил!

— А папиросы у вас есть?

— Есть, есть. По...зволите предложить?

— Нет, вы мне все отдайте. А! Кожаный портсигар... Вот — если папиросы с портсигаром, ножичек, открытку и деньги — тогда отдам бинокль!

Плюмажев хотел выругать корыстолюбивого мальчишку, но вместо этого сказал:

— Ну, ладно... Только вы мне пару папиросок оставьте... на дорогу...

— Ну, вот новости! Их всего шесть штук. Не хотите меняться — не надо.

— Ну, ну... берите, берите... Вот вам: можете пересчитать: восемь рублей десять копеек! Вот ножичек. Слушайте... А она... не ушла?

— Стоит в полной красе. Теперь боком. Натя, смотрите.

Гимназист забрал все свои сокровища, радостно засвистал и, игриво ущипнув Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.

Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся: на песчаной отмели перед купальней в полосатом купальном костюме стояла жена Плюмажева Марья Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.

У Плюмажева в глазах пошли красные круги... Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду.



До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла его дача, предстояло идти версты три...

Ноги ныли и подгибались, смертельно хотелось курить, но — папирос не было...







КНИГА
ВТОРАЯ

ЗАЙЧИКИ
НА СТЕНЕ



Светлому моему другу —

Сосфье Шаумовне!



ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий раз, когда я просыпаюсь ясным солнечным утром — на стене и на потолке над моей кроватью весело дремлют желтые солнечные зайчики. Я долго, не отводя глаз, гляжу на них и чувствую широкую беспричинную радость, а мысль в это время работает и создает веселые замысловатые образы... Но иногда ветер хлопнет оконной рамой, зайчики тревожно и пугливо перепрыгнут на другое место, а я благодарно улыбнусь им и сейчас же весело спешу к письменному столу.

Так и написались «зайчики на стене».

Когда я выпустил свою предпоследнюю книгу, кое-кто задал мне вопрос: не слишком ли много я пишу? Не много ли это — в один год три книги?¹

Я тогда промолчал, потому что знаю хороший тон, потому что знаю — не принято автору вступать в полемику со строгими угрюмыми критиками.

Теперь же — возражая критикам в настоящем предисловии, я не рискую заслужить упрек в бестактности, потому что начинаю *первый*...

И вот мои возражения:

Если все мои книги и выпущены в текущем году, то писались они в течение трех лет².

А сроку их выхода я не придавал никакого значения... Дело не в этом. Хорошие это книги — их прочтут; плохие — бросят.

Упрек в многописании — если в него вдуматься, — упрек, не имеющий под собой никакой солидной почвы. И вот почему: я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне часто очень весело. Значит, я часто и пишу.

Канарейка веселится и поет еще чаще, но никому не придет в голову заткнуть ей глотку; наоборот, всякий, кто слушает ее пение, не упустит случая похлопать ее поощрительно по плечу и сказать ласково:

— Молодец, птичка божья. Старайся!

Прямая противоположность канарейке — дверные петли, которые, наоборот, поют очень скупно и редко; но даже и эта умеренность не спасает их от нареканий. Самые музыкальные натуры морщатся, хмурятся и ворчат:

— Неужели никакой черт не догадается их смазать, что ли, чтобы они не скрипели?!

Вот пример, который, по моему мнению, доказывает ясно и просто всю неосновательность упреков в многописании...

Все дело, таким образом, сводится только к чутью и искренности критического определения: кто автор? Веселая ли певчая птица — или дверь, пение которой вызывает неутолимое желание заткнуть ей глотку?

Аркадий Аверченко

ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дожими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Всё в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но, когда пел, — ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыханье и ропот до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, — но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Таковую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А матерьял стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя, — говорил отец. — Ты ничего не понимаешь...

— Конечно, — горько усмехаясь, возражала мать. — Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — деликатно возражал отец. — Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к парходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, — я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька, — сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, — до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как всё в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою нескольких носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью чело-века, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите, — дрожа от нетерпения, говорил он. — Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились — «он» оказался колоссальной величины умывальником, с мраморной, лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим. — Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит? Четыреста двадцать пять рублей.

— Ха-ха-ха! — торжествующе захохотал отец. — А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь этот мрамор, красное дерево и всё — стоит по случаю всего двадцать пять рублей! Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, — ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет! — сказал отец. — Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил, что:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный, отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать на педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала...

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... это отец, предводительствуя армией носильщиков, — вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник, с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень,

а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа, — весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли? — подхватил отец. — Прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоять такая лампа?

— Семь тысяч, — сказал я, обойдя вокруг лампы. — По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (14 фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), — то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Выгашенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начал, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

Однажды на лестнице опять послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы, — счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой...

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и всё норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часыгодились нам как спортивный, не виданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю¹, усаживали ее на ко-

лоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов — мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашенных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.



ГОРОВОЙ САПОВ

Ялтинский городской Сапогов получил от начальства почетное, полное доверия к уму и такту Сапогова поручение: обойти свой участок и проверить всех евреев — занимается ли каждый еврей тем ремеслом, которое им самим указано и которое давало такому еврею драгоценное, хрупкое право жить среди чудесной ялтинской природы...¹

Проверять хитрых семитов Сапогову было приказано таким образом: пусть каждый семит сделает тут же, при Сапогове, на его глазах, какую-либо вещь по своей ремесленной специальности и тем докажет, что бдительное начальство не введено им в заблуждение и недостойный обман.

— Ты только держи ухо востро, — предупредил Сапогова околоточный. — А то — так тебя вокруг пальца и обкрутят!

— Жиды-то? Меня-то? Да Господи ж.

И пошел Сапогов.

— Здравствуйте! — сказал Сапогов, входя к молодому Абраму Голдину. — Ты это самое, как говорится: ремесло свое... Сполняешь?

— А почему мне его не исполнять? — удивился Абрам Голдин. — Немножко кушаю себе хлеб с маслом. Знаете — фотография, конечно, такое дело: если его исполнять, то и можно кушать хлеб с маслом. Хе-хе! На здоровычко...

— Та-ак, — нерешительно сказал Сапогов, переминаясь с ноги на ногу. — А ты вот что, брат... Ты докажи! Проверка вам от начальства вышла...

— Сделайте такое одолжение, — засуетился Абрам Голдин, — мы сейчас из вас сделаем такую фотографию, что вы сами в себя влюбитесь! Попрошу вас сесть... Вот так. Голову чуть-чуть набок, глаза сделайте, прошу, немножко интеллигентнее... рот можно закрыть! Закрой-те рот! Не делайте так, будто у вас зубы болят. Нос, если вам безразлично, можно пока рукой не трогать. Потом, когда я кончу, можно его трогать, а пока держите руки на грудях. Прошу теперь не шевелиться: теперь у вас за-ме-ча-тель-но культурный вид! Снимаю!! Готово. Спасибо! Теперь можете делать со своим носом, что вам угодно.

Сапогов встал, с наслаждением расправил могучие члены и с интересом потянулся к аппарату.

— А ну — вынимай!

— Что... вынимать?..

— Что там у тебя вышло? Покажь!..

— Видите ли... Сейчас же нельзя! Сейчас еще ничего нет. Мне еще нужно пойти в темную комнату проявить негатив.

Сапогов погрозил Голдину пальцем и усмехнулся.

— Хе-хе! Стара штука!.. Нет, брат, ты мне покажи сейчас... А этак всякий может.

— Что это вы говорите?! — встревоженно закричал фотограф. — Как же я вам покажу, когда оно не проявлено! Нужно в темную комнату, которая с красным светом, нужно...

— Да, да... — кивал головой Сапогов, иронически поглядывая на Голдина. — Красный свет, конечно... темная комната... Ну до чего же вы хитрые, жидова! Учитесь вы этому где, что ли... Или так — сами по себе? Дай мне, говорит, темную комнату... Ха-ха! Не-ет... Вынимай сейчас!

— Ну, я выну — так пластинка будет совершенно белая!.. И она сейчас же на свету пропадет!..

Сапогов пришел в восторг.

— И откуда у вас что берется?! И чтой-то за ловкий народ! Темная, говорит, комната... Да-а. Ха-ха! Мало чего ты там сделаешь, в этой комнате... Знаем-с. Вынимай!

— Хорошо, — вздохнул Голдин и вынул из аппарата белую пластинку. — Смотрите! Вот она.

Сапогов взял пластинку, посмотрел на нее — и в его груди зажглась страшная, тяжелая, горькая обида.

— Та-ак... Это, значит, я такой и есть? Хороший ты фотограф. Понимаем-с!

— Что вы понимаете?! — испугался Голдин.

Городовой сумрачно посмотрел на Голдина...

— А то. Лукавый ты есть человек. Завтра на выезд получишь. В 24 часа.

Сапогов стоял в литографской мастерской Давида Шепшелевича, и глаза его подозрительно бегали по странным доскам и камням, в беспорядке наваленным во всех углах.

— Бонжур, — вежливо поздоровался Шепшелевич. — Как ваше здоровье?

— Да так. Ты ремесленник будешь? А какой ты ремесленник?

— Литографический. Ярлыки разные делаю, пригласительные билеты... Визитные карточки делаю.

— Вот ты мне это самое и покажи! — сказал, подмигивая, Сапогов.

— Сколько угодно! Мы сейчас, ваше благородие, вашу карточку тиснем. Как ваше уважаемое имя? Сапогов? Павел Максимович? Одна минутка! Мы прямо на камне и напишем!

— Ты куда? — забеспокоился Сапогов. — Ты при мне, брат, пиши!

— Да при вас же! Вот на этом камне!

Он наклонился над камнем, а Сапогов смотрел через его плечо.

— Ты чего же пишешь? Разве так?

— Это ничего, — сказал Шепшелевич. — Я на камне пишу сзади наперед, а на карточке оттиск выйдет правильный.

Сапогов засопел и опустил руку на плечо литографа.

— Нет, так не надо. Я не хочу. Ты, брат, без жульничества. Пиши по-русски!

— Так оно и есть по-русски! Только это ж нужно, чтобы задом наперед.

Сапогов расхохотался.

— Нужно, да? Нет, брат, не нужно. Пиши правильно! Слева направо!

— Господи! Что вы такое говорите! Да тогда обратный оттиск не получится!

— Пиши, как надо! — сурово сказал Сапогов. — Нечего дурака валять.

Литограф пожал плечами и наклонился над камнем.

Через десять минут Сапогов сосредоточенно вертел в руках визитную карточку и, нахмутив брови, читал:

— «Вогопас Чивомискама Левап».

На сердце у него было тяжело...

— Так... Это я и есть такой? Вогопас Чивомискам Левап. Понимаем-с. Насмешки строить над начальством — на это вы горазды! Понимаем-с!! Хороший ремесленник! Отметим-с! Завтра в 24.

Когда он уходил, его добродушное лицо осунулось. Горечь неза- служенной обиды запечатлелась на нем.

«Вогопас, — думал, тяжело вздыхая, городовой, — Чивомискам!»

Старый Лейба Буцкус, сидя в уголку сквера, зарабатывал себе сред- ства к жизни тем, что эксплуатировал удивительное изобретение, вы- зывавшее восторг всех окрестных мальчишек... Это был диковинный аппарат с двумя отверстиями, в одно из которых бросалась монета в пять копеек, а из другого выпадал кусок шоколада в пестрой обертке. Многие мальчишки знали, что такой же шоколад можно было купить в любой лавчонке, без всякого аппарата, но аппарат именно и привле- кал их пытливые молодые умы...

Сапогов подошел к старому Лейбе и лаконически спросил:

— Эй, ты! Ремесленник... Ты чего делаешь?

Старик поднял на городского красные глаза и хладнокровно отве- чал:

— Шоколад делаю.

— Как же ты его так делаешь? — недоверчиво покосился Сапогов на странный аппарат.

— Что значит — как? Да так. Сюда пятак бросить, а отсюда шоколад вылезет.

— Да ты врешь, — сказал Сапогов. — Не может этого быть!

— Почему не может? Может. Сейчас вы увидите.

Старик достал из кармана пятак и опустил в отверстие. Когда из другого отверстия выскочил кусок шоколада, Сапогов перегнулся от смеха и, восхищенный, воскликнул:

— Да как же это? Ах ты, Го-осподи. Ай да старикан! Как же это оно так случается?

Его изумленный взор был прикован к аппарату.

— Машина, — пожал плечами апатичный старик. — Разве вы не видите?

— Машина-то — машина, — возразил Сапогов. — Да как оно так выходит? Ведь пятак-то медный, твердый, а шоколад сладкий, мягкий... как же оно так из твердого пятка может такая скусная вещь выйти?

Старик внимательно посмотрел своими красными глазами на Сапогова и медленно опустил веки.

— Электричество и кислота. Кислота размягчает, электричество перерабатывает, а пружина выбрасывает.

— Ну-ну, — покрутил головой Сапогов. — Выдумают же люди. Ты работай, старик. Это здорово.

— Да я и работаю! — сказал старик.

— И работай. Это, братец, штука! Не всякому дано. Прощевайте!

И то, что сделал немедленно после этого слова Сапогов, могло быть объяснено только изумлением его и преклонением перед тайнами природы и глубиной человеческой мысли: он дружеским жестом протянул старому шоколадному фабриканту руку.



На другой день Шепшелевич и Голдин со своими домочадцами — уезжали на первом отходящем из Ялты пароходе.

Сапогов по обязанностям службы пришел проводить их.

— Я на вас сердца не имею, — добродушно кивая им головой, сказал он. — Есть жид правильный, который без обману, и есть другой сорт — жульнический. Ежели ты действительно работаешь: шоколадом или чем там — я тебя не трону! Нет. Но ежели — Вогопас Чивомискама Левап — это зачем же?



ГРАФ КАЛИОСТРО

I.

У кого из нас не сжималось сердце и не хмурились страдальчески брови при чтении в газетах краткого, но выразительного сообщения:

Дикая расправа. Вчера обыватель города Мымры избил палкой газетного корреспондента.

Кто из нас не качал печально головой и не говорил со стоном отчаяния:

— Какая темнота! Боже, какая косность!

И рисовался нам облик затравленного, замученного носителя и проводника света и культуры, откуда-то глядели страдающие недоуменные глаза газетного корреспондента с застывшим в них вопросом:

— За что?

За что? Теперь я знаю, за что.

С самых ранних лет меня до глубины души волновала и возмущала человеческая несправедливость. И до глубокой старости я буду негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких деликатных вопросах.

Таким тонким деликатным вопросом я считаю многовековую исконную вражду между провинциальным журналистом и провинциальным обывателем, и меня всегда удивляло, что никто до сих пор не мог разобраться как следует в вышеупомянутом деликатном вопросе.

Все, как будто сговорившись, согласным хором восклицали по прочтении телеграммы об избиинии обывателем провинциального журналиста:

— Какая ужасающая тьма! Что за дикари!

И, конечно, всю вину обрушивали на обывателя.

Вероятно, многим известно, что у обывателя часто бывает совершенно противоположное отношение к провинциальному журналисту. Обыватель патриотичен, он гордится своим городом, своей газетой, своим журналистом, и нередко с его уст срываются такие одобрительные слова:

— Читали вы сегодня в «Мымринском Курьере» статью графа Калиостро? — (Провинциальные журналисты избирают себе самые звучные, красивые псевдонимы.) — Читали? Ах, шельма! Ах, собака! Попадись такому на язычок... Как это он ловко отбрил сегодня помощника заведующего городскими скотобойнями... А вчера — тоже: «Известно ли, — говорит, — кому это надлежит ведать, что ямы, выкопанные для посадки деревьев, залило водой и затянуло грязью?»¹ Очевидно, — говорит, — городские деньги идут не на благоустройство города, а для наполнения ям зловонной водой?» Так и колет! Так и брызжет ядом! И откуда что берется?!

Обыватель гордится своим фельетонистом, восхищается им...

Когда граф Калиостро, с гордым, независимым видом, шагает по городскому саду, обыватели почтительно уступают ему, как существу высшему, дорогу, а сзади слышится тихий заглушенный шепот:

— Смотрите, смотрите!.. Это граф Калиостро! Который вчера порядки в городской библиотеке прохватил.

— Ах, какой интересный!

И шагает, шагает граф Калиостро, с загадочной улыбкой на лице, таинственный в своем могуществе, до краев наполненный неограниченными возможностями прохватить, разнести и продернуть всех, кто является врагом культуры и общественности.

Ни у кого тогда ни на минуту не появляется мысль поколотить графа Калиостро или причинить ему какую-либо другую неприятность — он, как коронованная особа среди своих почтительных подданных, в полной безопасности...

И долго работает он так, окруженный всеобщим уважением и тихим удивлением, бичуя пороки и неправду. И кажется, что Россия бла-

годенствует под мирным тактичным управлением знатных титулованных иностранцев: в городе Мымрах борется с городскими скотобойнями граф Калиостро, в Звенигороде бичует думские порядки суровый, непреклонный князь Серебряный, а Елабугу защищает от натиска тьмы и спячки Железная Маска, или какой-нибудь Марк Аврелий, или граф Монте-Кристо...²

Так борется и работает эта титулованная нация.

И вдруг — среди безоблачного неба появляется странное, неожиданное, страшное сообщение:

МЫМРЫ. Обыватель Коренастов поколотил палкой журналиста Балкашкина, пишущего под псевдонимом — граф Калиостро.

Это является каким-то зловещим сигналом.

Подданные восстают на своих королей, и звенигородский обыватель начинает очертя голову колотить своего князя Серебряного, в чем от него не отстают елабужец, неожиданно набрасывающийся без всякого милосердия на Железную Маску, Марка Аврелия или даже на самого сурового, загадочного Монте-Кристо.

И рисуется перед глазами облик свергнутого с пьедестала, затравленного поборника светлых идеалов и носителя культуры, и откуда-то издали звучит страдальческий недоуменный вопрос Марка Аврелия:

— За что?

Пожалуй, ответить на этот вопрос будет не так трудно.

II.

Разворачивая местную газету, обыватель Коренастов всегда полон истерического любопытства: что-то сегодня она принесет ему интересного?

Просмотрев одним глазом телеграммы, набрасывается на фельетон и с замирающим сердцем читает:

В страшное время мы живем!

В человеке гложет всё хорошее, светлое.

Мы возвращаемся к первобытным временам:

— Зверства и жестокости!

Вчера мы были свидетелями следующего факта: измученная лошадь тащила под гору тяжелый воз, а ломовик осыпал ее ударами, кричал, ругался и всячески оскорблял беззащитное животное, не могущее ответить ему теми же словами.

Что же делает наше общество покровительства животных?

Оно спит?

— Покойной ночи, господа!

Если вам нужны подушки — не возьмете ли вы их у гласных нашей городской думы?

Ха-ха!

Да...

Глубокую истину высказал великий Островский:

«Жестокие, сударь, у нас нравы»³.

Фельетон производит на Коренастова ошеломляющее впечатление.

— Ловко, шельма! Как это он здорово вернул Островского.

Бедный Коренастов не знает, что ни одно произведение графа Калиостро не обходится без трех цитат:

1) Жестокие, сударь, у нас нравы.

2) Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба⁴.

3) Поживем — увидим.

Первая принадлежит Островскому, вторая — Гуцкову, а третья — неизвестно кому. Вероятно, Марку Аврелию или Железной Маске...

Коренастов доволен, Коренастов кивает головой и переходит к хронике.

Хроника такая:

Вчера закончено рытье ям для посадки деревьев на Павловской улице. Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

...«Вырыта заступом яма глубокая...»⁵

В последние дни наступили неожиданные холода с ветром и дождями. «Холодно, холодно, холодно», — как говорили три сестры в пьесе Чехова того же названия⁶.

Нравится Коренастову и хроника. Написана она бойко, живо, с цитатами и ссылками на популярных авторов. Видно, что писал интеллигентный человек.

Прочитывает Коренастов и театральную рецензию:

Шедшая вчера пьеса популярного сатирика Гоголя «Ревизор» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. Петров провел свою роль с огоньком. Побольше бы таких хороших пьес! Публики было немного. Скоро антреприза заканчивает сезон и уезжает. «Негр сделал свое дело, негр может уходить»...⁷

Коренастов в восхищении.

III.

На другое утро Коренастов снова разворачивает газету. Читает фельетон:

Городская дума до сих пор ничего не сделала с приказчиным отдыхом.

Почему?

Она спит? Не нужна ли ей подушка? Пусть она возьмет ее в обществе покровительства животных!

А приказчики пока что — работают как лошади...

Да... Жестокие, сударь, у нас нравы!

Мы не будем удивлены, если этот вопрос пролежит под сукном еще десять лет.

— Всякое бывало! — как говорил мудрец Бен-Акиба в «Уриель-Акосте» популярного Гуцкова.

Поживем — увидим.

Коренастов молчит. Не выводит его из молчания и задумчивости даже хроника:

Вчера закрылись за прекращением эпидемии холерные бараки. «Негр сделал свое дело, негр может уходить».

Безмолвно прочитывает Коренастов театральную рецензию:

Шедшая вчера пьеса популярного автора Шекспира «Гамлет» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. С большим огоньком провел свою роль тени отца Гамлета Петров. Почаще бы ставить такие чудные пьесы! Публики было мало. «Мало слов, а горя реченька», — как говорил популярный певец гражданской скорби Н.А. Некрасов⁸.

Молчит Коренастов.

IV.

Снова и снова разворачивает по утрам Коренастов «Мымринский Курьер». Снова и снова читает он графа Калиостро. И снова бичует неутомный граф лавочников, которые нагружают мальчишек тяжелыми кулками.

Снова подкрепляет он это обвинение цитатой:

Жестокие, сударь, у нас нравы. Впрочем, поживем — увидим.

Хроника по-прежнему пишется бойко, интеллигентно:

Вчера отбыл с курьерским поездом в Москву податной инспектор Косолапов. «В Москву, в Москву», — как говорили три сестры Чехова в пьесе того же названия⁹.

И снова, как и прежде, несчастная Макбетова не может удовлетворить капризного графа Калиостро, хотя она и пыгается играть Лизу в нашумевшей в свое время пьесе драматурга Грибоедова¹⁰, так трагиче-

ски, безвременно погибшего под ножами убийц (жестокие, сударь, и т. д.).

Коренастов дочитывает газету, и брови его сжаты, и на лице написана мрачная решимость, страдание и боль, а плечи нервно подергиваются.

Молча встает он, приглаживает волосы и, глядя куда-то в угол, сдержанно говорит жене:

— Жена! Дай мне сюртук. Вернусь через час.

Отыскивает палку, шляпу и — уходит.

Через час возвращается, ставит палку в угол и, не промолвив ни слова, ложится в постель.

Спит тревожно.

А на другой день, как удар грома, появляется в газете неожиданное бессмысленное, дикое сообщение:

Обыватель Коренастов избил палкой нашего сотрудника графа Калиостро (А.М. Балкашкина). Жестокие, сударь ты мой, у нас нравы!

И поднимается сразу целый лес всплескивающих рук:

— Боже! Где мы живем? Среди дикарей? Какая косность... какое мракобесие...

До глубокой старости буду я негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких, деликатных вопросах.



ЯД

(ИРИНА СЕРГЕЕВНА РЯЗАНЦЕВА)

Я сидел в уборной своей знакомой Рязанцевой и внимательно смотрел, как она гримировалась. Ее белые, гибкие руки быстро хватали какие-то неизвестные мне щеточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

«Милые руки, — с умилением подумал я. — Милые, дорогие мне глаза...»

И неожиданно я сказал вслух:

— Ирина Сергеевна! А ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.

— Наконец-то! — сказала она, слабо смеясь. — Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

— Молчи, — сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

— Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая — помнишь — тоже так, со слабым сорвавшимся криком «наконец-то!» бросается в объятия помещика Лазартова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя!

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли, за отсутствием горючего материала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

— Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

— Видишь ли, — сконфуженно объяснила она, — ты немного неудачно обнял меня... Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчина должен обнимать за талию.

— Как... должен? — изумился я. — Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия — я бы обнял талию, а раз подвернулась шея — согласись сама...

— Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчина обвивает женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея — узаконенный способ!) и сказала, целуя меня в усы:

— Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты, под моим благотворным влиянием, завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы! Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того — хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу?.. Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня? Или: что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир! Напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володичка! Не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер его прогоняет?»

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета»¹, где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты, под моим влиянием, завоевал себе самое высокое положение на поприще славы! Я хочу быть твоей вдохновительницей!»

— Странно, — сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину... И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было... Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом, веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»...² А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет³, обвинявшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то — ха-ха! — висело напротив), говорила тихо, дрожащим предсмертным голосом:

— Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... — Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: — Нет! Ближе... Совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

— Замолчи, — нервно говорил я. — Кашалотов, «Погребенные живо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Павловной. Верно? Еще ты играла Ольгу Павловну, а Рафаэлов — Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

– Ты... хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

– Не «светлую», – хладнокровно поправляя я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную». Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», 7-е явление?⁴

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальческими губами и, неожиданно, со стоном, обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чая, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

– Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтобы упасть к ее ногам и помириться (все-таки я любил ее), но тотчас же я спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

– Слушай, – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, не ты его говоришь!..

– А кто же его... говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в 4-х актах, между вторым и третьим актом проходит полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!

– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

— Да, конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене — пойми ты это — такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни?.. Милая! Будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя! Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку — плод досугов какого-то Лимонова... Я говорю серьезно, будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

— Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она, в неожиданном порыве, обняла меня под мышками (способ не принятый!), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся» — пропустил я мимо ушей.

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!», выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, — она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки — диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок».

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежних: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось. Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

— Здравствуй, старый толстый дурачок!
Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала... Сначала я лениво прислушался, потом прислушался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек, Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

— Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны! Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете — не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили!

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой...

— Ирина! — шептал я. — Настоящая Ирина.

А, впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..



НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ

I.

Я приближался к городу Калиткину — цели моего путешествия. И по мере моего приближения — я начинал интересоваться им, городом Калиткином.

За шесть станций до Калиткина я спросил одного из соседей по вагону:

— Вы знаете город Калиткин? Что в нем находится замечательного? Есть ли там какие-либо памятники, музеи, красивые виды?

— Доподлинно вам не могу сказать, — поразмыслив немного, отвечал сосед. — Кажется, что там нет ни музеев, ни памятников. Знаю только одно, — что там живет знаменитый гражданин.

— Какой гражданин?

— Доподлинно вам не могу сказать. Ни имени его не упомянул, ни причины его известности... Знаю только, что очень знаменитый.

За три станции до Калиткина я, заинтересованный, обратился к другому соседу:

— Вы не знаете, что это за знаменитый гражданин, живущий в Калиткине?

— Знаю. Феоктист Иваныч Барабанов.

— Да?! А чем же он, извините меня за беспокойство, знаменит?

— Точно не могу вам сказать. Знаю только, что он, Барабанов, человек чрезвычайно знаменитый. Даже за пределами Калиткина!

За одну станцию до Калиткина я пристал с расспросами к третьему пассажиру.

— Кто такой Барабанов?

— Феоктист Иваныч? Он же спас Россию.

— Неслыханно! Как же это он сделал?!

— Доподлинно я этого не знаю. Известно только, что...

Поезд споткнулся и остановился. Это был город Калиткин — место пребывания загадочного, знаменитого гражданина Барабанова, спасшего Россию.

Я выскочил из вагона, сел на извозчика и поехал в гостиницу, самую лучшую в городе. Она же была и средняя гостиница, и самая худшая в городе, потому что была она единственная во всём Калиткине.

Умывшись в номере, я позвал хозяина гостиницы и, полный лихорадочного интереса к знаменитому гражданину, спросил:

— Барабанова знаете?

— Господи!!!

— Он спас Россию?

— А как же!

— Как же он ее спас?

— От немцев — вот как.

— От каких немцев?

— От войны с Германией он ее спас — вот от чего!

— Как же он это сделал?

— Доподлинно не скажу, но что он ее спас — так уж будьте покойны. Уж это верно. Весь город знает об этом.

— Да он чем был в то время, когда спасал Россию? Посланником, что ли?

— Нет, не посланником.

— Министром?! Королем дружественной державы?!!!

— Барабанов? Уездным землемером он был в то время, Барабанов.

— Чудеса! Ступайте.

Хозяин с гордым самодовольным выражением лица вышел из номера, а я, наскоро одевшись и расспросив дорогу в клуб, последовал за ним.

В клубе мне необходимо было видеть нескольких лиц, а кроме того, я надеялся выяснить, наконец, полную таинственности и загадок историю землемера Барабанова...

II.

Старшина записывал меня в какую-то книгу, а я в это время, горя нетерпением, спросил его:

— Кто Барабанов?

— Он? Спас Россию.

К этому подвигу Барабанова в Калиткине, очевидно, все привыкли и говорили о нем без тени волнения и радости. Старшина сказал эту великую громоподобную фразу таким хладнокровным тоном, каким сообщают:

— А я только что выпил рюмку водки.

Человек быстро со всем свыкается. Я уверен, что современники и знакомые Пушкина говорили о нем приблизительно в таком тоне:

— А Саша опять какую-то шутовину написал. Не помню, как она называется... «Борис Годунов», что ли.

Слуга великого Гоголя чистил каждый день сапоги барину безо всякого душевного трепета и даже (о, я хорошо знаю слуг) частенько поплевывал на эту существенную часть туалета творца «Мертвых душ». Ему, бедняге, и в голову не приходило, что его барину, в конце концов, поставят на каждой свободной площади по памятнику¹.

Я возразил старшине:

— Спас-то он спас. Я уже слышал об этом. Но как?

— Он? Он предотвратил войну между Германией и Россией. А в тот год эта война была бы гибельна для России. Не знаю даже, остались ли бы мы с вами живы.

— Что же он сделал для этого?! — с легкой нервностью в голосе воскликнул я.

— Сделал? Он чего-то, именно, и не сделал. Не сделал чего-то такого, что — если бы было им сделано — повело бы за собой ужасную войну с Германией... Согласитесь сами, что, в этом случае, — сделал, не сделал — одно и то же!

— Как же вы сами не знаете, что это такое ужасное, чего Барабанов не сделал или что это героическое — что им было проделано?!

Старшина развел руками.

— Да он сам редко об этом рассказывает. А я слышал от других.

— Где Барабанов? — отрывисто спросил я.

— Он сейчас здесь, в клубе. Сидит в читальне. Он теперь почти не выходит оттуда. Читает в газетах политические известия и изучает по каким-то книгам историю народов. О войнах каких-то читает. Замечательный человек!!

Я не мог больше выдержать. Я пошел к Барабанову.

III.

Передо мной сидел в низеньком кресле немолодой человек в черных очках, с бледным истощенным лицом, и внимательно читал толстую большую книгу.

Я, с весьма понятным чувством волнения и почтительности, рассматривал его, этого нового Ивана Сусанина, сидевшего так скромно и незаметно в читальне маленького провинциального клуба, вместо того чтобы греметь в столице, быть осыпанным деньгами, почестями и орденами...

Передо мной сидел человек, спасший Россию — громадную страну, одна губерния которой по площади больше всей Франции и Италии!

Я приблизился к креслу и прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Барабанов?..

— Я Барабанов, — сказал знаменитый землемер, опуская книгу. — Здравствуйте. Что такое?

— Меня интересует один вопрос... — переступив с ноги на ногу, смущенно начал я. — Каким образом вы спасли Россию? Об этом все говорят, трубят весь город, но как это сделано — никто толком не знает.

Барабанов положил книгу на стол и тихо отвечал:

— Да, я спас Россию.

— Это так... поразительно... что я бы хотел... поподробнее.

— О! это длинная история... В кратких словах она такова: я сделал один шаг, который предотвратил кровопролитную войну между Германией и Россией — совершенно тогда не подготовленной и потерпевшей

бы, наверное, ряд страшных поражений, вплоть до полного падения и разрушения великого государства...

— И вы сделали в предотвращение этого один только шаг?! Какой же это шаг?! Что это за святой, гениальный, проникновенный шаг?

Землемер Барабанов скромно улыбнулся.

— С первого взгляда — шаг этот очень простой: двенадцать лет тому назад, пятого сентября, я не поехал в Петербург, хотя и собирался туда. Не знаю — что меня толкнуло, но я не поехал. Мог бы поехать, даже должен был поехать — но не поехал!

Я оглянулся. Нас окружало до двадцати человек именитых граждан Калиткина, постепенно набравшихся в читальню и слушавших теперь наш разговор с редким вниманием и благоговением.

— Вы не поехали в Петербург!.. — пораженный, воскликнул я. — А что бы было, если бы вы туда поехали?!

— Что? А я вам скажу — что. У меня там живет зять Дудукаев — человек крайне любопытный, горячий и вспыльчивый. Я, признаться, к нему и ехал. Ну-с... А вы знаете, милостивый государь, что как раз в то же время в Петербург приезжал германский кронпринц, с целью нанести нашему Государю визит и ознакомиться с Россией? Знаете ли вы об этом?

Горя нетерпением, я машинально ответил:

— Знаю. Что же дальше?

— Дальше? А дальше было бы вот что... Как я вам уже сказал — зять мой Дудукаев был человек истерически любопытный и грубо, до потери сознания, вспыльчивый. Кроме того, был он близорук. Если бы я в то время приехал в Питер — он обязательно потащил бы меня смотреть кронпринца и, конечно, по своей близорукости, лез бы в самую гущу толпы, поближе к кронпринцу... Конечно, полицейские, видя его странную настойчивость и стремительность, отпихнули бы его, он, не стерпевши, дал бы кому-нибудь в ухо и, конечно, произошла бы грандиознейшая свалка, в самом центре которой оказался бы ничего не подозревавший кронпринц. Вы знаете, господа, что во время драки дерущиеся не разбирают ни сана, ни положения человека и, как всегда бывает в таких случаях, — кронпринцу влетело бы больше всех! Осталь-

ное понятно. Возгорелся бы крупный международный конфликт, а так как в то время русским министром иностранных дел был человек бездарный, бестактный, напыщенный и грубый, — ненавистник немцев, — то дело немедленно получило бы страшный для России оборот². Министр вовлек бы Россию в пагубную для нее войну, и я не знаю...

Барабанов обвел толпу калиткинцев задумчивым взором:

— ...И я не знаю — многие ли среди присутствующих были бы сейчас живыми и здоровыми.

— Да здравствует Барабанов! — крикнула толпа.

IV.

Пораженный, не знающий, что подумать, стоял я перед землемером и смотрел ему прямо в глаза.

— И это всё сделали вы?!

— Конечно. Подумайте, если бы я поехал в Петербург...

— Черт возьми! — воскликнул я. — А чем же вы докажете, что всё это было бы так, если бы вы приехали?

Барабанов прищурился.

— А чем вы докажете, что этого бы не было?

Один из калиткинских дураков подошел к Барабанову и ободряюще похлопал его по плечу.

— Правильно, Барабанов! Под это уж не подкопаешься.

— Да, — сказал кто-то сзади. — Это уж как по писаному.

Я видел ясно, что Барабанов дурачит меня и всех присутствующих. Но как я мог уличить его во лжи? Ведь он говорил то, что могло бы быть...

Я хотел повернуться и уйти, но неожиданная, прекрасная мысль удержала меня на месте.

— Да.... Пожалуй, вы действительно спасли Россию... А скажите: что же удержало вас от поездки в Петербург? Неужели только предчувствие? Или еще что-нибудь было?

Не замечая той страшной западни, которую я ему готовлю, Барабанов простодушно отвечал:

— Отчасти предчувствие, а главным образом то, что я не получил от матери из Киева ожидаемых денег. Она в то время попала нечаянно под какой-то экипаж, сломала руку и лежала в больнице, почему и не могла выслать денег.

— Стойте! — торжествующе закричал я. — Так это, выходит, не вы спасли Россию, а я!!

— Почему?! — закричали все, придвигаясь ближе.

— Да потому что я и есть тот самый человек, экипаж которого наехал на вашу матушку.

— Предположим... Но... При чем же здесь Россия? — презрительно усмехнулся Барабанов.

— При чем?! А при том, что, если бы я не наехал на вашу матушку, она выслала бы вам деньги, а вы бы потащились в Петербург и устроили бы там мировой скандал. Значит, я и спас Россию — нашу великую, любимую, прекрасную родину!!

— Постойте! — крикнул сзади тот человек, к которому я приехал по делу. — Постойте! Выходит, что и не он даже спас Россию, а я. Я к нему тогда собирался в Киев, но не поехал. А если бы поехал — он, наверное, не раздавил бы матери Барабанова. Не поехал же я потому, что гулял на свадьбе дочери Бумагина.

Бумагин был тут же. Он ударил себя в грудь и сказал:

— Значит, не ты спас Россию, а я. Дочь-то ведь моя!

— Значит, она и спасла ее! — сказал кто-то сзади.

— Нет, жених! Если бы он не женился...

— При чем здесь жених... Тетка его, после смерти...

— Значит, тетка?!

Поднялся страшный крик и спор.

Через полчаса выяснилось, что Россию спасла та русская, неграмотная баба, служанка тетки жениха, которая вкатила по ошибке несчастной тетке двойную, смертельную дозу какого-то лекарства.

Тут же решили выделить из среды калиткинцев депутацию — с поручением разыскать эту служанку и принести ей благодарность за спасение России.

Когда ее отыскивали — она оказалась существом исключительной скромности: она даже не знала о совершенном ею подвиге — спасении от гибели великой, прекрасной, дорогой каждому из нас родины!



ГЕРАКЛ

I.

На скамейке летнего сада «Тиволи»¹ сидело несколько человек... Один из них, борец-тяжеловес Костя Махаев, тихо плакал, размазывая красным кулаком по одеревенелому лицу обильные слезы, а остальные, его товарищи, с молчаливым участием смотрели на него и шумно вздыхали.

— За что?.. — говорил Костя, как медведь, качая головой. — Божжже-ж мой... Что я ему такого сделал? А?.. «Тезей! Геракл!»...

Подошел член семьи «братья Джакобс — партерные акробаты»². Нахмурился.

— Э... Гм... Чего он плачет?

— Обидели его, — сказал Христич, чемпион Сербии и победитель какого-то знаменитого Магомета-Оглы. — Борьбовый репортер обидел его. Вот кто.

— Выругал, что ли?

— Еще как! — оживился худой, пренесчастливого вида борец Муколяйнен. — Покажи ему, Костя.

Костя безнадежно отмахнулся рукой и, опустив голову, принялся рассматривать песок под ногами с таким видом, который ясно показывал, что для Кости никогда уже не наступят светлые дни, что Костя унижен и втоптан в грязь окончательно и что праздные утешения друзей ему не помогут.

— Как же он тебя выругал?

Костя поднял налитые кровью глаза.

– Тезеем назвал. Это он позавчера... А вчера такую шутку преподнес: «Сибиряк, – говорит, – Махаев, – борется, как настоящий Геракл».

– Наплюй, – посоветовал член семейства Джакобс. – Стоит обращать внимание!

– Да... наплюй. У меня мать-старушка в Красноярске. Сестра три класса окончила. Какой я ему Геракл?!

– Геракл... – задумчиво прошептал Муколяйнен, – Тезей – еще так-сяк, а Геракл, действительно.

– Да ты знаешь, что такое Геракл? – спросил осторожный победитель Магомета-Оглы.

– Черт его знает. Спрашиваю у арбитра, а он смеется. Чистое наказание!..

– А ты подойди к репортеру вечером, спроси – за что?

– И спрошу. Сегодня еще подожду, а завтра прямо подойду и спрошу.

– Тут и спрашивать нечего. Ясное дело – дать ему надо. Заткни ему глотку пятью целковыми, и конец. Ясное дело – содрать человек хочет.

Костя приободрился.

– А пяти целковых довольно? Я дам и десять, только не пиши обо мне. Я человек рабочий, а ты надо мной издеваешься. Зачем?

Он схватился за голову и простонал, вспомнив все перенесенные обиды:

– Господи! за что? Что я кому сделал?!

Лица всех были серьезные, сосредоточенны. Около них искренно, неподдельно страдал живой человек, и огрубевшие сердца сжимались жалостью и болью за ближнего своего.

II.

Был поздний вечер.

По уединенной аллее сада ходил, мечтательно глядя на небо, спортивный рецензент Заскакалов и делал вид, что ему всё равно: позовет его директор чемпионата ужинать или нет?

А ему было не всё равно.

Из-за кустов вылезла массивная фигура тяжеловеса Кости Махаева и приблизилась к рецензенту.

— Господин Заскакалов, — смущенно спросил Костя, покашливая и ненатурально отдуваясь. — Вы не потеряли сейчас десять рублей? Не обронили на дорожке?

— Кажется, нет. А что?

— Вот я нашел их. Вероятно, ваши. Получите...

— Да это двадцатипятирублевка!

— Ну что ж... А вы мне дайте пятнадцать рублей сдачи — так оно и выйдет.

Заскакалов снисходительно улыбнулся, вынул из кошелька сдачу, бумажку сунул в жилетный карман и снова зашагал, пытливно смотря в небо.

— Так я могу быть в надежде? — прячась в кустах, крикнул застенчивый Костя.

— Будьте покойны!..

Прошла ночь, наступил день. Ночь Костя проспал хорошо (первая ночь за трое суток), а утро принесло Косте ужас, мрак и отчаяние.

В газете было про него написано буквально следующее:

Самой интересной оказалась борьба этого древнегреческого Антиноя — Махаева³ с пещерным венгром Огай. В искрометной схватке сошелся Махаев, достойный, по своей внешности, резца Праксителя⁴, и тяжелый железный венгр. Как клубок пантер, катались оба они по сцене, пока на двадцатой минуте страшный Геракл не припечатал пещерного венгра.

Опять днем собрались в саду, на той же самой скамейке, и обсудили создавшееся невыносимое положение...

Ясно было, что грубый, наглый репортер ведет самую циничную кампанию против безобидного Кости Махаева, и весь вопрос только в том — с какой целью?

Сначала решили, что репортера подкупили борцы другого, конкурирующего чемпионата. Потом пришли к убеждению, что у репортера

есть свой человек на место Кости, и он хочет так или иначе, но выжить Костю из чемпионата.

Спорили и волновались, а Костя сидел, устремив остановившийся, страдальческий взгляд на толстый древесный ствол, и шептал бледными, искривленными обидой губами:

— Геракл... Так, так. Антиной! Дождался. «Достойный резца»... Ну, что ж — режь, если тебе позволят. Ешь меня с хлебом!.. Пей мою кровь, скорпиён проклятый!

Костя заплакал.

Все, свесив большие, тяжелые головы, угрюмо смотрели в землю, и только толстые, красные пальцы шевелились угрожающе, да из широких мясистых грудей вылетало хриплое, сосредоточенное дыхание...

— Антиноем назвал! — крикнул Костя и сжал руками голову. — Лучше бы ты меня палкой по голове треснул...

— Ты поговори с ним по душам, — посоветовал чухонец. — Чего там!

— Рассобачились они очень, — проворчал поляк Быльский. — Вчера негра назвал эбеновым деревом⁵, на прошлой неделе про него же написал: сын Тимбукту...⁶ Спроси — трогал его негр, что ли?

— Негру хорошо, — стиснув зубы, заметил Костя, — он по-русски не понимает. А я прекрасно понимаю, братец ты мой!..

Долго сидели, растерянные, мрачные, как звери, загнанные в угол.

Думали все: и десятипудовые тяжеловесы, и худые, изможденные жизнью легковесы.

Жалко было товарища. И каждый сознавал, что завтра с ним может случиться то же самое...

III.

Вечером Костя опять выследил спортивного рецензента и, когда тот всматривался в неразгаданное небо, заговорил с ним.

— Слушайте, — сосредоточенно сказал Костя, беря рецензента за плечо. — Это с вашей стороны нехорошо.

Рецензент поморщился.

— Что еще? Мало вам разве? — спросил он.

Кровь бросилась в лицо Косте.

— А-а... Ты вот как разговариваешь?! А это ты видел? Как это тебе покажется?

Вещь, относительно которой спрашивали рецензентова мнения, была — большим жилистым кулаком, колеблющимся на близком от его лица расстоянии.

Рецензент с криком испуга отскочил, а Костя зловеще рассмеялся.

— Это тебе, брат, не Тезей!!!

— Да, Господи, — насильственно улыбнулся рецензент. — Будьте покойны!.. Постараюсь.

И они разошлись...

Разошлись, не поняв друг друга. Широкая пропасть разделяла их.

Снаружи рецензент не показал виду, что особенно испугался Кости, но внутри сердце его похолодело...

Идя домой, он думал:

«Ишь, медведь косолапый. Дал десятку, и Ангиноя ему мало. Чем же тебя еще назвать? Зевесом, что ли? Попробуй-ка сам написать...»

И было ему обидно, что его изящный стиль, блестящие образы и сравнения тратятся на толстых, неуклюжих людей, ползающих по ковру и не ценящих его труда.

И душа болела.

Была она нежная, меланхолическая, полная радостного трепета перед красотой мира.

В глубине души рецензент Заскакалов побаивался страшного, массивного Кости Махаева и поэтому решил в сегодняшней рецензии превзойти самого себя.

После долгого обдумывания написал о Косте так:

Это было грандиозное зрелище... Мощный Махаев, буд-то сам Зевс борьбы, сошедший с Олимпа потягаться силой с человеком, нашел противника в лице бронзового сына священного Ганга, отпрыска браминов, Мохута. Ягуар Махаев с пластичными жестами Гермеса напал на терракотового противника и, конечно, — Гермес победил! Не потому ли, что Гермес, лицом — Махаев, в борьбе делается леген-

дарным Гераклом? Мы сидели и, глядя на Махаева, — думали: и такое тело не иссечь? Фидий⁷, где ты со своим резцом?

Вечером Заскакалов пришел в сад и, просмотрев борьбу, снова отправился в уединенную аллею, довольный собой, своим протеже Махаевым и перспективой будущего директорского ужина.....

Быстрыми шагами приблизился к нему Махаев, протянул руку и — не успел рецензент опомниться, как уже лежал на земле, ощущая в спине и левом ухе сильную боль.

Махаев выругался, ткнул ногой лежащего рецензента и ушел. Рецензентово сердце облилось кровью.

«А-а, — подумал он. — Дерешься?.. Хорошо-с. Я, брат, не уступлю! Не запугаешь. Тебе же хуже!.. Теперь ни слова не напишу о тебе. Будешь знать!»

На другой день появилась рецензия о борьбе, и в том месте, где она касалась борьбы Махаева с Муколяйненом, дело ограничилось очень сухими скупыми словами:

Второй парой боролись Махаев с Муколяйненом. После двадцатиминутной борьбы победил первый приемом «обратный пояс»⁸.

Махаева чествовали.

Он сидел в пивной «Медведь», раскрасневшийся, оживленный и с худо скрытым хвастовством говорил товарищам:

— Я знаю, как поступать с ихним братом. Уж вы мне поверьте! Ни деньгами, ни словами их не проймешь... А вот как дать такому в ухо — он сразу станет шелковий. Заметьте это себе, ребята!

— С башкой парняга, — похвалил искренний серб Христич и поцеловал оживленного Костю.



СУХАЯ МАСЛЕНИЦА

I.

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров... Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

— Ты не бережешь себя... Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.

— Ты что-то бледный сегодня? — спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудно-брюшную преграду.

— Да, — отстраняясь, говорил муж. — У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!

— Милый! Ты шутишь, а мне больно... Не надо так... — умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии...

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

— Если ты мне когда-либо изменишь — я умру.

— Почему? — лениво спрашивал муж. — Лучше живи. Чего там.

— Нет, — шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. —

Умру.

«Господи! — мучился писатель Перезвонов. — Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь... Все-таки веселее!»

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II.

Однажды была Масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры...

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.

— Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

— Почему? — спрашивали гости.

— Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету.

Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

— Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

— Ничего, благодарю вас, — вздохнул писатель. — У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь...

— Как, — испугалась жена. — Ты хочешь пройтись?! Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

— Не может этого быть, — возразил Перезвонов, — до сих пор меня обижали только хорошие люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал:

«Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене».

III.

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

Мимо Перезвонова прошла молодая красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

«Ой-ой, — подумал Перезвонов. — Этого так нельзя оставить... Не нужно забывать, что нынче Масленица и многое дозволено»¹.

Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

— Послушайте... — после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон заливчатского ловеласа и уличного покорителя сердец. — Вам не страшно идти одной?

— Мне? — приостановилась дама, улыбаясь. — Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

— Да, — сказал писатель, придумывая фразу попошлее. — Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

— Как? Как вы сказали? — восторженно вскричала дама. — «Пока молоды... пользоваться жизнью». О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

— А что мы у вас будем делать? — напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

— О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом — вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

— Вы меня принимаете за кого-то другого, — делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

— Боже мой, милый Иван Алексеевич...² Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно...

— Просто я маляр Авксентьев, — резко перебил ее Перезвонов. — Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут приятели. Дербализнем там. Эх, вы!!

IV.

— Прах их побери, так называемых порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила — отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны... Черррт! Нет, Перезвонов... Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая-то венгерка.

— Садитесь со мной, — сказал писатель. — Выпьем хорошенько и повеселимся.

— Хорошо, — согласилась венгерка. — Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

— Какой это дурак отзывал вас?

— Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне «выпить и повеселиться». А они смеялись и потом говорят: «Эта Илька всегда напугает. Перезвонов не мог сказать так!»

— Черррт! — прошипел писатель. — Вот что, Илька... Вы сидите — кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

— Да расплачиваться не надо, — сказала Илька. — За вас уже заплачено.

— Что за глупости?! Кто мог заплатить?

— Вон тот толстый еврей — банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: «За всё, что потребует тот господин, — плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться». Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

— Вы, вероятно... переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевки и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и — гром аплодисментов прокатился по зале... Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем.

Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и, со слезами умиления, стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V.

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала напрокат немудрые маскарадные костюмы...

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился вовсю — кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

— Ходы сюда! — кричал он, выдвигая ногами выкрутасы. — Целуй менэ, барышна, на морда.

— Ах, какой вы веселый кавалер, — говорила восхищенная испанка. — Я поеду с вами ужинать!..

— Очин прекрасно, — хохотал турок, семена возле дамы. — Одын ужин — и ныкаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете на диване рядом с хохотушкой-испанкой и в засос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

— Ой, не плачь, Маруся — ты будешь моя!
Кончу мореходку, женюсь я на тебя...³

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

— Позвони человеку, мильй, чтобы он дал кофе и больше не входил... Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки...

VI.

В дверь осторожно постучались.

— Ну? — нетерпеливо крикнул Перезвонов. — Нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия... Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

— «Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия...»

В дверях показались репортеры.

VII.

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

— Чего ты?!

— Милый... Я так беспокоилась... Отчего ты такой бледный?.. Я думала — ушел... Там женщины разные!.. Масленица... Думаю, изменит мне...

— Где там! — махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. — Где там!



ПО ТУ СТОРОНУ...

Мир таинственного и загадочного — мир прекрасный, привлекательный и в то же время страшный именно этой своей загадочностью и таинственностью.

Немногие могут заглянуть за страшную завесу неизвестного, а те, кто заглянул, на всю жизнь сохраняют в душе холодный ужас, а на голове много лишних прядей седых волос.

В моей жизни было всего три случая таинственных, непонятных явлений, которые находятся всецело по ту сторону человеческого постижения и при воспоминаниях о которых сердце мое наполняется удивлением и страхом, а по спине пробегает легкая, холодная дрожь.

Первый случай был давно, во дни моей молодости.

Однажды, когда я прогуливался по пустынному полю, ко мне подошла старая цыганка и, пытливно взглянув в лицо, сказала:

— Барину скоро предстоит дорога.

— Откуда ты знаешь? — удивленно вскричал я.

— Старая Любка всё знает, — зловеще сказала цыганка.

Пораженный этим странным предсказанием, я дал цыганке двугривенный, и она исчезла.

Прошло года три. Я уже стал забывать о своей прогулке, встрече с цыганкой и ее словах, как однажды осенью на мое имя пришла телеграмма, чтобы я экстренно выезжал в N, где жил мой дядя.

Полный тяжелых предчувствий, поехал я в N и на вокзале, встретив тетку, узнал печальную новость: дядя вчера умер!

— А какое у нас сегодня число? — спросил я.

— Десятое.

«Поразительно! — подумал я. — Ровно три года и десять дней со времени моей встречи с цыганкой... Откуда она могла знать о предстоящей смерти дяди и теткой телеграмме?»

Рассказывая о последних минутах дяди, тетка сообщила, что старик за десять минут до смерти был еще жив...

Эта странность еще больше утвердила меня в мысли, что между двумя рассказанными случаями: предсказанием цыганки и смертью дяди — была какая-то загадочная, не разрешимая человеческим пониманием связь...



Второй случай был совсем недавно. До сих пор я не могу прийти в себя, и если до сих пор я не верил в необъяснимое в природе, то этот случай с категорической ясностью мог поколебать мой скептицизм.

Был солнечный, светлый день, исключавший всякую возможность предположения о чем-нибудь таинственном, что случается только в страшные, темные осенние ночи... Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Я нанял по часам извозчика — молодого, безусого парня (я это хорошо запомнил). Мы заезжали в несколько мест, и я, думая о своих делах, совершенно забыл об извозчике и его ординарной наружности.

Последнее место, куда я заехал, был банк. Закончив в несколько минут свои дела, я вышел на улицу, вскочил в пролетку¹ и приказал извозчику ехать домой. Он ударил по лошадам и, пошевелившись на козлах (я никогда не забуду этой минуты...), медленно обернул ко мне свое лицо.

— Куда прикажете? — спросил извозчик, глядя на меня исподлобья.

Я вскрикнул и закрыл в ужасе лицо руками: на меня смотрело бородатое, старообразное лицо с длинными усами и морщинами на щеках.

До сих пор я твердо помню, что между тем, как я впервые нанял этого извозчика, и страшным моментом его поворота ко мне прошло не более двух часов... Откуда же могла взяться эта большая борода, усы и морщины у молоджавого безусого парня?! Что случилось за это время в природе? Пронеслось ли над нашими головами несколько никем не замеченных десятков лет, украсивших парня всеми атрибутами зрелого возраста, или... сам дьявол сидел на козлах, меняя по своему желанию личину извозчика?

Удивительнее всего, что старый извозчик уже не помнил улицы, с которой он впервые взял меня, и странными мне показались его преувеличенные поклоны и благодарность, когда я уплатил ему условленные два рубля за время.

Кто был мой извозчик? Тайна по-прежнему окутывает этот страшный вопрос непроницаемым покровом... Разрешится ли она когда-нибудь? Бог весть.

Третий случай я считаю самым страшным.

Однажды прислуга сообщила мне, что в новолуние на чердаке появляется какая-то белая фигура, пугающая всех своим зловецим видом.

— Вздор, — улыбаясь, сказал я. — Почему именно в новолуние? Если она является, то может явиться когда угодно.

Но прислуга стояла на своем.

— Хорошо, — сказал я. — Я проверю это. Теперь как раз в новолуние, и я посмотрю — явится ли твое привидение?

В ту же ночь я, с замирающим сердцем и не слушая уверений прислуги, что, раз нет новолуния, не будет и привидения, отправился на чердак.....

Рано утром, бледный, с перекошенным от ужаса лицом, я еле сполз с чердака вниз. На все вопросы у меня только и хватило пролепетать:

— Прислуга была права... Новолуния не было, привидение действительно не появилось. Ясно, что в новолуние, значит, оно является.

После этого необъяснимого случая прошло много времени... Я тогда же немедленно настоял на переезде с ужасной квартиры, но даже и теперь, когда я вспоминаю о ночи на чердаке, волосы мои шевелятся, и я стараюсь изгнать из памяти эту ночь, убедившую меня в существовании таинственных, призрачных существ загробного мира...



МАГНИТ

I.

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка.

Уходя утром из дому, я, с напускной небрежностью, сказал жене:

— Если мне будут звонить, — спроси: «Кто?» — и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже 8 часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, предупредил, кроме жены, — горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

— Если мне будут звонить, спросите: «Кто?» — и запишите номер.

— Слушаю-с, барин.

— Хорошо, папа.

И я вышел, с сознанием собственного достоинства и солидности, и шагал по улице так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

— Смотрите, какой он важный!

— Да. У него такой дурацкий вид, будто бы он только что обзавелся собственным телефоном!

II.

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

— Что такое?!.

— Барин, барин! — шептала она, давясь от смеха. — Подите-ка, что я вам скажу... Как бы только барыня не услышала.

Первой моей мыслью было, что она пьяна; второй — что я вскружил ей своей наружностью голову и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе и строго спросил:

— Чего ты хочешь?

— Тш!.. Барин! Сегодня вы к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву!

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия, и она говорит первое, что взбрело ей в голову.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

— Что случилось? — обеспокоился я.

— Бедный папочка!.. Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше уж ты брось эту драную кошку, Бельскую.

— Ка... кую... Бельскую? — ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

— Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка!. Клеманс говорит, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе два глаза кислотой, а потом она просила, чтоб ты сегодня обязательно приехал к ней в шанган! Я мамочке не говорила, чтоб ее не расстраивать. О глазах-то.

Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем кабинете за столом, держа в руках телефонную трубку, и истерическим, дрожащим от слез голосом говорила:

— И это передать?.. Хорошо-с. Можно и это передать. И поцелуй? Что?.. Тысячу поцелуев? Передам и это... Всё равно уж, заодно!..

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

— В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно: муж, кажется, проследил.

— Это дом сумасшедших, — испуганно вскричал я. — Ничего не понимаю!!.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

— Ты... мерзавец!

— Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние сведения?!

— Ты смеешься?.. Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?..

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

— № 349—27. — «Мечтаю тебя хоть одним глазком увидеть сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй!»

— № 259—09. — «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

— № 317—01. — «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле — тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

— № 102—12. — «Ты — негодяй! Надеюсь — понимаешь?»

— № 9—07. — «Мерзавец! И больше ничего».

— № 177—02. — «Позвони, как только придешь, моя радость. А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?»

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

— Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? — с дрожью в голосе спросила она. — Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона! Позвони же ей... № 177—02! А то придет муж, и вам не удастся «условиться о вечере». Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была чья-либо шутка, то такие шутки обыкновенно не доставляли мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

— Центральная? № 177—02? Спасибо. Это 177—02?..

Мужской голос ответил мне:

— Да. Кто говорит?

— № 300—05. Позовите к телефону Надю.

— Ах, вы номер 300—05? Я на нем уже ее однажды поймал! И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что я при встрече надаю вам пощечин. Я знаю, кто вы такой!

— Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите, что она сумасшедшая!

— Я ее не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха! Профессиональные обольстители! Знайте, № 300—05, что я поколочу вас, не позже завтрашнего дня, палкой.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III.

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти, не отрываясь, смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, — дружески шептала мне:

— Папа!.. Так ты бросишь эту драную кошку, Бельскую? Смотри же... Брось ее.

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефонный звонок.

Я вскочил и помчался в кабинет.

— Кто звонит?

— Это № 300—05?

— Да. Что нужно?

Послышался женский смех.

— Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его дел?

— Кольца у меня нет, — отвечал я. — И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я утрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сообщили, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом — кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку», Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда. Звонили и ночью.

IV.

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

— Если вам всё равно — поменяемся номерами телефонов.

— А зачем? — удивился я.

— Да видите ли... Ваш номер 300—05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли...

— Да, они уж очень привыкли, — согласился я.

— ...И, поэтому, так как мой новый номер мало кому известен, — происходит путаница.

— Совершенно верно, — кивнул я головой. — Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не уехал ночью в Москву, как предполагал.

— Да? — обрадовался молодой человек. — Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

— А Клеманс-то собирается вам за Бельскую выжечь глаза, — сообщил я, подмигивая.

— Вы думаете? Хвастает. Никогда я из-за нее не брошу Бельскую.

— Как хотите. А я обещал, что бросите. Потом, тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77—92. Я обещал усыновить.

— Вы думаете, он мой? — задумчиво спросил бритый господин. — Я уж, признаться, совершенно спутался: где мои, где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

— А тут еще один какой-то — муж Нади — обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он, улыбаясь, добродушно махнул рукой.

— Ну уж и палка! Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же — поменяемся номерами?

— Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V.

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, слышал доносившиеся из гостиной голоса:

— Так вы артист? Я очень люблю театр.

— О, сударыня! Я это почувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то магнетическое! Почему вы не играете? Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, и всё это покрыл звук поцелуя.



ИХНЕВМОНЫ

Редактор сказал мне:

— Сегодня открывается выставка картин нео-новаторов, под маркой «Ихневмон»¹. Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

— Да! Забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

— А если выставка скверная?

— Я вас потому и посылаю... именно в а с , — подчеркнул редактор, — потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

— А где же картины?

— Да вот они тут висят! — ткнул он пальцем на стены. — Все тут.

— Вот эти? Эти — картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

— Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

— Эт-то... забавно. Интересно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например?

— Что именно?

— Да вот там висит... Такое, четырехугольное.

— Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

— Да это вот... такое, зеленое. Руки такие черные... вроде лошади.

— А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется «Абиссинская девушка»? Ну, что ж... Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

— А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

Открылась выставка «Ихневмон», — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадаетесь целый ряд интересных, удивительных вещей...

Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова «Весенний листопад». Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься: как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно?

Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, — показывает в художнике талантливое трудолюбивое мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми, волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: «Крики тела», «Почему», «Который», «Дуют».

Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса «Легковой извозчик». Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими...

Написав всё это, я перешел в следующую комнату.

Там висели такие странные, не виданные мною вещи, что, если бы они не были заключены в рамы, — я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчицы передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих, заключенных в рамы, вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил, с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием.

После некоторого колебания я написал:

Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского...² Всё, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего.

Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней сквозила деликатность и теплое отношение к несчастным, оби-

женным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — всё было мягко и осторожно.

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

— Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело...

— Тяжело? — удивился я. — Почему?

— Нешто ж у нас нет совести, или что?! Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только... Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил-человек?! И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а всё на сердце нехорошо... Нешто ж мы не понимаем сами — картина это или што? Обратите ваше внимание, господин... Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтоб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрепала, покачулась и с глухим стуком упала на пол.

— А, чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

— Вы не так ее вешаете, — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. — Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой.

— А не всё ли равно! Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит... Багетщик тут у меня был знакомый — багеты им делал, — так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? Где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись, присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков — после разберут!.. Гм... Да где уж тут разобраться.

Я вздохнул.

— До свиданья, голубчик.

— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..

— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

— Конечно. Всё, что я мог написать.

— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашенных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратика? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

— Это по поводу выставки «Ихневмона»? — спросил он. — Это трудно — написать о выставке «Ихневмона». Я могу написать о выставке «Ихневмона».

— Пожалуйста! — криво улыбнулся я. — Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию... Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это всё, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

— Ну вот, готово. Слушайте:

«Выставка Ихневмон». В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне воз-

можностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью «Весенний листопад»? Стулов ушел от Гогена³, но его не манит и Зулоага⁴. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ⁵, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: «жизнь».

Заинтересовывает Булюбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные, порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис⁶, в ее первоначальном цветении.

Примитивный по синему пятну «Легковой извозчик» тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков, сказку⁷.

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:
— Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

— От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали... Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что, если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию, — для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой, провалившейся груди...



ЖЕНА

I.

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Так — нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних — и только.

Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит.

С деталями ее отношения ко мне — мне приходилось сталкиваться и раньше, но я всё никак не мог собрать их в одно стройное целое.

А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с ослиным упрямством отказывался сойтись на моей шее.

— Сойдись, проклятое белье, — бормотал я просящим голосом. — Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот — петля для заправки лопнула.

— Чтоб ты лопнула! — разозлился я. — Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе — придется снова зашить петлю.

Я подошел к жене.

— Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

— Нет, я этого не сделаю.

— Как — не сделаешь?

— Да так. Зашей сам.

— Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

— Да, — сказала она грустно. — Вот именно поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру — ты останешься один — и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей — будешь ты плакать и говорить: «Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?...» Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.

— О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая — когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру всё было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку — для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

— Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!!

Я побледнел.

— Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

— Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди — слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

— А что же мне... с ней делать? — прошептал я обескураженно.

— Я уже придумала! — радостно серебристым смехом засмеялась жена. — Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!!

Я задрожал от ужаса.

— Милая! Но ведь... они могут убить тебя!!

Лицо ее засияло решительностью.

— Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый.

А я — что уж... Мое здоровье и так слабое... я кашляю...

Я залился слезами и бросился к ней в объятия.

«Не прошли еще времена христианских мучениц», — подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне, во всём и везде первое было — ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза, — был мужской цилиндр.

— Смотри-ка, — удивился я. — Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки.

— Твой это цилиндр, мой милый!

— Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы...

— А теперь — я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить как подарок маленькой жены, не правда ли?

— Спасибо, милая... Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну конечно же подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

— Прости меня... Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

— Почему здесь инициалы «Б. Я.», когда мои инициалы — «А. А.»?¹

— Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: «Люблю тебя».

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II.

- Нет, ты не будешь пить это вино!
- Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик...
- Ни за что... Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!
- Зачем?
- Там окно открыто. Тебя может продуть.
- О, я считаю сквозняк предрассудком!
- Не говори так... Я смертельно боюсь за тебя.
- Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога...
- Ни-ни. И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?
- Я вынимал папиросу.
- Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?
- Да одна папир...
- Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто... В летнем и не думайте.
- Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.
- Ты – Монблан² доброты!
- Она застенчиво смеялась.
- Глупенький... Уж и Монблан... Вечно преувеличит!
- Часто задавал я себе вопрос:
- «Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на всё светлое, хорошее?»
- Однажды, во время прогулки, я подумал:
- «Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасши ее, сам, с улыбкой любви на устах, сгорел бы дотла или, с перерезанным горлом, корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя».

Но другая мысль — здравая и практическая, налетела на свою пыльную безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу.

«Ты дурак и эгоист, — сказала мне победительница. — Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени? Ты умрешь — и хорошо... Но после тебя останется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами...»

— Нашел! — громко сказал я сам себе. — Я застрахую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день всё было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным восторженным лицом, преподнес жене...

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь — жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше отношение жены и ее хлопоты о моих удовольствиях были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда исступленный... Это была какая-то вакханалия заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

— Радость моя! — ласково говорила она, смотря мне в глаза. — Ну, чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

— Да я уже пил сегодня, — нерешительно возражал я.

— Ты мало выпил... Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится — нелепо отказываться... Да — совсем забыла — ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар — крепких-прекрепких!..

Я чувствую себя в раю.

Я обедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон, и сквозной ветер ласково обдувает меня... Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну — мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

— Какова нынче погода? — спрашиваю я у жены.

— Тепло, милый. Если хочешь — можно без пальто.

— Спасибо. А что это такое — беленькое с неба падает? Неужели снег?

— Ну уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

— Грудь болит, — сказал я.

— Попробуй покурить сигару, — ласково глядя меня по плечу, сказала жена. — Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди...

Женитесь, господа, женитесь.



АЛЬБОМ

I.



ни лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной — пухлые, с золоченым обрезом и металлическими застегивками, битком набитые бородастыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек — семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, — совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома¹. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре:

— Ну, что новенького?

Тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом и сказать:

— Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?

И дальше всё идет как по маслу.

— Кто этот старик? — спрашивает гость.

— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

— Какая странная борода. А это кто?

— Это наш Ваня, когда был маленький.

— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.

— Да... Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.

— Гм... Как вырос! А это?

— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.

— Как фамилия?

— Павлова.

— Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.

— Не было.

— Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?

— Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.

— В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек — спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежав-

шись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь «дождливом лете» и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома — гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяйину руку и объяснил всё это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

— А это кто?

— Это первый лист. Тут карточки нет... Переверните.

— А это кто?

— Это моя покойная тетьа, Глафира Николаевна.

— Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и — беспомощно и бесцельно повис в воздухе.

«Спасите! — хотел крикнуть он. — Утопаю!»

Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:

— Отчего же она умерла?

— Кто?.. Тетьа? От сердечных припадков.

«Почему ты, подлец, — подумал молодой гость, — отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетьа и кто ее пользовал... Вот бы времячко-то и прошло».

— От припадков? Да уж, знаете, наши доктора... А это кто?

— Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

— Странные теперь пепельницы делают...

— Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но — альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.

— А где альбом? — спросил гость. — Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, «чтобы составить общее впечатление».

Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван.

Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул:

«Ограбили!»

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом и, побледнев, поднялся с места:

— Ну... мне пора.

II.

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходить ко мне всё чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: «Самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.», «Вид гавани в Ревеле»² и «Знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде».

Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою «семейную реликвию».

Оставалось единственное средство: пошарить на стороне.

И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной ружлядью громадный кожаный аль-

бом, битком набитый самыми разнообразными карточками — как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов — все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом и — никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого — сам выбрал себе отца, мать, старого дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попало ни одного крошечного ребенка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13—14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи.

Пришлось ограничиться тем, что сделать все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких — увы — было немало) — простыми знакомыми...

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ всё тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

— Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? — предложил я. — Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

— Кто это?

— Это моя бедная любимая матушка... Она умерла от сердечных припадков... Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

— А это кто?

— Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка... Как она вам нравится?

— Хорошенькая.

— Вы говорите — хорошенькая... Красавица! Моя первая любовь.

— Да? А она вас любила?

— Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать... Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И... ее я больше не видел...

Лицо мое было печально... На ресницах повисли две непрошенные предательские слезинки.

— Давно это было? — тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

— Давно ли? Семь лет тому назад... Но мне кажется, что прошла вечность.

— И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

— Не видел. Куда она исчезла — неизвестно. Это странная, загадочная история.

— Что же она вам написала на обороте карточки?

— Не помню, — осторожно отвечал я. — Это было так давно...

— Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

— Не помню — на этой ли карточке она сделала надпись или на другой...

— Все-таки разрешите взглянуть, — попросил один господин с романтической натурой, сангументально улыбаясь. — Первый любовный лепет невинной девической души — что прекраснее этого?

— Что прекраснее этого? — как эхо повторил другой гость и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

— Что за черт?

— Не смейте касаться того, что для меня «свята святых», — испуганно закричал я. — Зачем вы вынимаете карточку?

— Странно... — не обращая на меня внимания, прошептал гость. — Очень странно.

— Что такое?!!

— Вот что здесь написано: «Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом — родинка»³.

— Что такое — хипесничество? — спросила какая-то гостья.

— Хипесничество? — промямлил я. — Это такое... вроде телефонистки.

— Нет, — сказал один старик. — Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

— Хорошая первая любовь! — иронически заметила дама.

— Это недоразумение, — засмеялся я. — Позвольте карточку... Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту — видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

Благоуханную любовь извлекли из альбома, и сантиментальный господин прочел:

— «Катерина Арсеньева (прозв. Бельенкая) род. в 1882 году. 1899—1903 занималась проституц., с 1903 г. — магазинная воровка (мануфактурн. товар)».

III.

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

— Интересно, — сказал старик, — что написано на обороте карточки вашего отца?

— Воображаю, — отозвалась дама.

— Не смейте оскорблять этого святого человека! — крикнул я. — Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

— «Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 — мелкие кражи, 1882 — кража со взломом (1 г. тюрьмы), 1885 — убийство семьи Петровых — каторга (12 л.), 1890 — побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке».

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания — насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому... Несколько карточек уже было вынута, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

— Эй, вы! Хозяин! — крикнул мне гость, старик. — Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбоченился и сказал с грубым смехом:

— Да-с! Купил я его сегодня за 2 рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечешки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом — честный откровенный альбом, а ваши — это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин... Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, — но гости после моих слов немедленно разошлись.

Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука — я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.



ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОСПОДИНА ВОЛЯГИНА

Господин Волягин! Вы обвиняетесь в том, что 17 июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами... Признаете себя виновным?

Господин Волягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:

— Что ж делать... признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства...

— Ага... Так-с. Расскажите, как было дело?

— 17 июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно пропатавшись так до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал тенистое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать... Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде — глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время — заметьте это, г. судья!), я стал смотреть на них.

— То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А скажите... эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

— Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну — именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз...

Господин Вопягин оживился, зажестичулировал.

— Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то, что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и, своим темным цветом, еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительными ямочками...

Судья закашлялся и смущенно возразил:

— Что это вы такое рассказываете... мне, право, странно...

Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.

— Руки у нее были круглые, гибкие — настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну... грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы...

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

— Однако там ведь были дамы и... без костюмов?

— Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но — не то! Решительно не то... А другая — прехорошенькая девушка лет восемнадцати...

— Ага! — сурово сказал судья, наклоняясь вперед. — Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?

— Юные формы ее, г. судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно-мала, бедра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно...

В камере послышалось хихиканье публики.

— Замолчите, г. Вопягин! — закричал судья. — Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого... Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления — спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Вопягин поклонился и повернулся к дверям.

— Еще один вопрос, — остановил его судья, что-то записывая. — Где находится это... место?

— В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдете мост, г. судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет узкая тропинка к берегу, а на берегу высокие, очень удобные кусты...

— Почему — удобные? — нервно сказал судья. — Что значит — удобные?

Вопягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.



ШУТКА

Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска, общественное положение — она торговала семечками и апельсинами. Поэтому все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.

Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недюжинным и пареньком «с продувной головой», а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недостижимую головокружительную высоту, — она молилась.

Дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери письма, которых та не

могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.

— Жоржик... — заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок, — так вы ж мне напишете? А? А?

Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.

— Да... Напиши! Вы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.

— Тире? — бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова. — Да зачем оно?

— Как зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.

Он задумался.

— Фразы тоже. Разные. Всё это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..

— И как это вам, Георгий Кириллыч, всё это ниспослано... — с явной грубой лестью прошептала семечница. — И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито не едено, цельное письмо накострячить!

Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.

— Что? «Накострячить»? Ну и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите, пожалуйста... «Накострячить»!..

Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцию грубой лести и подмазыванья:

— Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг — уходит. Такой, можно сказать, красавчик, за которым девки помирают, и вдруг, это самое... Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: «Много, — говорит, — у меня этого народу, много

дармоедов, только, — говорит, — Зяблов, Георгий Кириллыч, распрединственный золотой человек».

— Да ты врешь.

— И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!

И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:

— Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!

Но — Жорж был грамотен, являл себя знатоком тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную околесину.

— «Умру, — говорит, — кому дело передать?» — «Да кому ж, — говорю я, — и передать, как не Жоржику?» Посмотрел на меня: «Ему и передам!»

— Да ты врешь, старуха! — восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. — Так и сказал?

— Так. Ей-Богу, так!

Неожиданно щепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничает с ним.

Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к собеседнице вполоборота и холодно сказал:

— В сущности говоря, что вам угодно?

— Жоржик! Красавец! — заегозила старуха. — Так я же это самое и прошу!

— Что — это самое? Выражайтесь яснее!

— Да письмо ж.

— Что — письмо?

— Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!

— Кому письмо?

— Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще намедни прислала.

Жорж сосредоточенно нахмурился.

— А отчего ж ты неграмотная? А?

— Да где ж мне было... — развела руками госпожа Нестеренкова. — Сначала была всё маленькая да маленькая — рано было... А потом вдруг — большая! Глядишь — и поздно.

— То-то и оно, — недовольно проворчал Жорж. — Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать — занятых людей беспокоите...

— Я ж не даром! — всплеснула руками встревоженная старуха. — Заплачú, как полагается.

Жорж посвистал.

— Гм... Написать разве?

Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:

«Захочу — напишу, захочу — и не напишу».

— Ладно, — сказал Жорж. — Напишу.

Семечница вздрогнула от радости.

Жорж сидел в каморке у старухи.

— Вот вам, — говорила она, носясь из угла в угол, — яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.

— «Выкушайте», — лениво передразнил благодушно настроенный Жорж. — Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.

— Можно с белой головкой¹, — залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос. — Сейчас пошлю девчонку.

— Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!

— Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.

— Да, знаем мы... с чесноком, — проворчал Жорж. — Письма им еще пиши! Целый день работаешь как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши... Невесело это, знаете.

Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.

– Что это он, как будто, черствый... А?..

Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.

– Ты... тово, Василиса... Я бы вздремнул немного перед письмом... А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп...

Глаза его сомкнулись.

Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала...

– Ну что ж... отдохните. Благо, сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам...

Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:

– По...чему мухи... бес... покоют?

– Теперь-то? – сказала старуха. – Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.

– Чигарики на курузах, – прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.

– Чего извольте? – забеспокоилась старуха.

Но Жорж уже спал.

Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно...

Писали письмо.

Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему всё было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах. Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечница судьба – всецело в его руках...

И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.

Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила, и даже упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и пококетничать трудностью писать вообще, — благодушно сказал:

— Ну, Василиса... говори. Что писать-то?

Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонилась набок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:

— Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь...

«Дорогая дочка Варенька, — писал, заливаясь внутренно хохотом, Жорж. — Эх чем вздумала меня удивить — пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала... Или двести! Тогда бы я тебя благодарила и кланялась... А так — что ж: на один день выпивки с соответствующей закуской мне и хватит только... »

— Написал? — спросила семечница.

— Написал, — отвечал Жорж.

Семечница поджала губы.

— Ну... Что ж бы еще такое? «И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галош не выходить и беречься от климату, вообще, также...»

«Прошу тебя, уважаемая Варенька, — склонив набок голову, выводил подмастерье, — чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому — эти черти разве понимают? Куска фиксатуару² или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь в галошу и соблюдай климатические условия в отношении тишины...»

— Есть?

— Сделано! — сказал Жорж. — Хоть на выставку! Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится, отпрыск... Еще что писать?

Василиса сразу сделалась мечтательной.

— И, кроме всего того, — сказала она нараспев, тонко-претонко, — береги себя, как ты девушка, и мужчина вас, дур, всегда на худое потянуть может... Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит, —

только анафемские это деньги, нечистые... Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества...

— Правильно, — кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:

«И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчи́нами-то дураками хоть пруд пруди... Оберешь его как липку, так что и не заметит!!! А замужество — это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь, — был бы тебе хорошим кавалером и ухажером. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя деньжат, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца — Василиса! Пьем за ваше здоровье! Ура!»

Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно... В нем был и тонкий, здоровый юмор, и несколько дружеских теплых слов по его, Жоржа, адресу, и легкий шутливый тон по отношению к глупой сентиментальной семечнице — всё было округлено, закончено.

— Готово, мамаша! — воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму. — На чаек, с вашей милости.

Счастливая старуха захопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.

Отыскала почтовый ящик и бережно, тщательно всунула в отверстие письмо, протолкнув его пальцем как можно дальше.



В ЗЕЛЕННОЙ КОМНАТЕ

(Послеобеденные разговоры)

Я где-то читал, — сказал мой друг Павлов, — что цвет обоев в комнате очень влияет на настроение человека... Голубые обои располагают к лени, неге и мечтательности, желтые — действуют тяжело, угнетающе, красные дают настроению повышенный интенсивный тон, а белые умиротворяют, смягчают и успокаивают человека...

Есть у некоторых людей такие характеры: если они услышат о каком-нибудь удивительном явлении — то не успокоятся, пока не приведут примера или явления еще более удивительного, случая еще более странного. Если при таком человеке рассказать о том, что индейские слоны нянчат ребят, он снисходительно улыбнется и расскажет, что австралийские кенгуру не только нянчат ребят, но и дают им первые уроки закона Божьего, лечат от золотухи и помогают прорезываться зубам. Если при таком человеке рассказать, что вы видели в цирке атлета, поднимающего десять пудов и держащего в зубах взрослого зрителя, — этот человек сейчас же вспомнит об одном малоизвестном кузнеце, которого он знал и который поднимал одной рукой шестнадцать пудов, а зубами, «совершенно шутя», держал лошадь и перегрызал подковы.

Седой, маленький господин внимательно выслушал Павлова, тихо улыбнулся и качнул головой.

— Это что! Я помню случай, который никогда не изгладится из моей памяти. Все, кому я ни рассказывал, были ошеломлены этим поразительным случаем, многие считают его беспримерным и необъяснимым, но я, по зрелом обсуждении, нахожу, что в нем не было ничего сверхъестественного, необъяснимого... Вы позволите рассказать его?

Мы были очень заинтригованы.

— О, конечно, конечно!!

Рассказ маленького, седого господина...

В прежнее время я был очень богат и жил широко, шумно и весело. Однажды, наняв и обмобилировав роскошную барскую квартиру, я решил устроить новоселье. Пригласил человек полтора десятка своих друзей и знакомых, заказал ужин и думал провести вечер приятно, разнообразно и весело. Гости все были народ отборный, хороший, потому что богатому человеку, конечно, есть из чего выбирать...

Сначала все сидели в моей громадной столовой, пили чай и мирно обсуждали исход какого-то осложнения на Балканах...

Потом перешли в гостиную, разбились на группы и стали доканчивать разговоры, начавшиеся в столовой.

Около меня сидели двое — инженер и адвокат — и обсуждали фразу одного из них, что «славянские государства — это какое-то гнездо ос».

— Вообще мы, славяне, — пожал плечами адвокат, — народ вздорный, непрактичный и тупой... Стыдно сознаться, но это так...

Инженер недовольно поморщился.

— Гм... Видите ли, я сам славянин и не соглашусь с тем, что вы сказали о славянском племени... Конечно, те, которые сами чувствуют в себе эти черты...

Адвокат побагровел.

— Слушайте, милостивый государь!.. Если я вас правильно понял...

— Да, да, — резко рассмеялся инженер, — вы совершенно правильно поняли меня! Человек, который унижает великое племя, считающее его своим, человек, характеризующий это племя вздорным и тупым, — вероятно, выводит это печальное заключение на основании автобиографических данных.

— Вы за это ответите! — вскричал адвокат, хватая инженера за руку. — Такие оскорбления смываются кровью!!

— Прочь грязную лапу! — заревел инженер. — С удовольствием прострелю твою ограниченную, лишенную высоких мыслей голову.

Разговор этот был так неожидан, что я не успел даже замять его.

Адвокат вскочил, отошел в сторону и стал шептаться с полным красивым офицером. До меня долетели слова:

— Вы не откажетесь, конечно, полковник, быть свидетелем?..

— О, с удовольствием... Другого я сейчас найду.

Адвокат отошел, а полковник остановил проходившего мимо сына банкира и шепнул ему:

— На одну минуту!.. Затеваается дуэль... Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем, вместе со мной.

Банкирский сын свистнул.

— Ду-эль?.. Какие же это идиоты вздумали подставлять свои лбы под пули?..

— Милостивый государь! — раздраженно возразил полковник. — Я бы попросил вас умерить выражения там, где дело касается моих друзей... Это по меньшей мере бестактно!

— Прошу без замечаний! — вспыхнул его собеседник. — Если вы носите военный мундир, то это не значит, что вы можете говорить чепуху! Тоже, подумаешь: бестактно!

— Ах, так?.. — с трудом сдерживая себя, прошипел полковник. — Надеюсь, что всё вами сказанное обязывает вас, как честного человека...

— Пожалуйста! — пожал плечами банкирский сын. — Я хотя и не военный, но пистолет держать умею!..

— Ладно! Жду ваших свидетелей!..

Банкирский сын, с дрожащими от негодования губами, отошел к столу и нагнулся к сидящему за столом студенту.

— Миша... Неприятная история! У меня, кажется, дуэль. Ты не откажешься быть секундантом?

Миша подумал.

— Извини, брат, но откажусь. У меня на носу экзамены, а если я впутаюсь в эту историю — Бог весть, чем она кончится.

— Ну, вздор — экзамены. Неужели ради меня ты не сделаешь этого?

— Ей-Богу, милый, не могу.

Банкирский сын криво усмехнулся.

— Не можешь?.. Скажи прямо — трусишь.

— Ну-ну, брат... полегче! За такие слова — знаешь?

Шепот их перешел в бешеное шипенье и свист. Как две разъяренные пантеры, отскочили они друг от друга, и студент, ни минуты не медля, быстро подошел ко мне.

— Что? — спросил я изумленный, сбитый с толку. — Небось секундантом хотите пригласить? Слышал, всё слышал... Да что вы, господа, белены объелись, что ли?

— Вы можете не соглашаться, — утрюмо сказал студент, — но таких выражений я не допущу. Нужно быть бесцеремонным идиотом, чтобы в качестве хозяина...

— Довольно! — вскричал я. — В качестве хозяина я не могу хорошенько отколотить вас, но завтра я пришлю вам своих друзей...

К нам подлетели четыре человека.

— Не согласитесь ли вы... — начал один.

— Быть, — успел вставить другой.

— Секундантом, — докончили двое.

— Куда вы лезете, — оттолкнул первый второго. — Я его приглашал первый, а не вы!

— Что?! Толкаться? Да знаете ли вы, что подобные поступки смываются кровью....

— Сделайте одолже...

— Ой! Кто это на ногу наступил?

— А вы не подставляйте.

— Ах, так! Я вас хотя не знаю, но вот вам моя карточка...

— А вот моя, черт вас дери!

В гостиной стоял невообразимый шум... Все вопили, бешено брызгали слюной, ругались и толкали друг друга. Большинство гостей наступало на меня, спрашивая, где я мог достать так много грубиянов, мужиков и бестактных ослов.

В ужасе схватился я за голову и выбежал в другую комнату... Возмущенные гости выбежали за мной. Я упал в кресло с закрытыми глазами и долго сидел так.

А когда открыл их, то увидел, что около меня стоит вызвавший меня на дуэль студент и миролюбиво говорит мне:

— А ведь я, мне кажется, погорячился... Вы уж меня простите! Я готов извиниться.

— Помилуйте, — радушно сказал я. — Ну какие там извинения!.. Я сам виноват.

Около нас инженер держал адвоката за пуговицу и, пожимая плечами, говорил:

— В сущности говоря, вы правы: конечно, славяне, в общем, тупы и непрактичны... Чего это я давеча на вас набросился...

— Ну все-таки — я вас понимаю. Обидно! — бормотал, сконфуженно глядя вниз, адвокат. — Мне не следовало этого говорить. Извиняюсь и думаю, что всё будет забыто. Вашу руку!

К студенту Мише подошел банкирский сын и, красный от смущения, сказал:

— Свинья я, Миша! Ударь меня по физиономии!

— За что? — удивился Миша. — Скорее, я был не прав. Пожалуй, если хочешь, я действительно буду секундантом у тебя.

— Не надо, дорогой, любимый Миша. Уже не надо. Я помирился с этим симпатичным славным полковником.

Всюду были ласковые улыбки и дружеский шепот. Полное спокойствие воцарилось среди нас.

Маленький, седой господин замолчал.

— Вот она какая, история-то!

— Да в чем же дело-то? — с живым недоумением воскликнул Павлов.

— Как... в чем дело? — удивился старичок. — Разве я вам не сказал? Всё дело в гостиной, где мы были раньше, и приемной, куда мы потом перешли.

— Э, черт! Да что же там такое было?

— Неужели вы не догадываетесь? Гостиная была оклеена темно-красными обоями, с ярко-красной мебелью, а приемная у меня окрашена белой краской.

– Ну?!!

Старичок хитро посмотрел на нас.

– Цвета-то... Влияют как на настроение! Не правда ли?

Павлов негодующе пожал плечами:

– Если красный цвет действует возбуждающе, белый умиротворяюще, то зеленый вредно действует на человеческое воображение — заставляя бесстыдно лгать!

Я обвел глазами комнату, в которой мы сидели.

Она была зеленая.



ИСЧАДИЕ ГОРОДА

I.

Среди пугающего неожиданного завывания автомобильных гудков, бешеных звонков трамваев, немолчного топота лошадиных копыт, мелькания электрических лампочек и головокружительного верчения кинематографических лент, среди несущейся по громадным улицам обезумевшей от желания жить толпы, среди театров с пряными, развратными, испорченными, как старый сыр в угоду гурману, — пьесами, среди всего этого бродят растерянные люди с потухшими тусклыми взорами, и никто не подозревает — какие странные, неслыханные болезни носят они в себе...

Учитель гимназии Сверкалов надевал перед зеркалом воротничок и что-то мурлыкал тоненьким голоском.

Жена посмотрела на него и дружески усмехнулась.

– Что? Предвкушаешь ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения? Смотри — не опоздай!

Про себя она подумала:

«Пусть скорее уходит. Я тогда сейчас же засяду за вышивание туфель ко дню его именин... Надо, чтобы он ничего не подозревал о туфлях».

В это же самое время Сверкалов почувствовал в груди страшную тяжесть, в ногах дрожанье, а сердце похолодело, как кусок льда.

«Что это значит? Что это? — прошмыгнула быстрая мысль в голове. — Почему она сказала: “Смотри — не опоздай”? Что это значит: “Ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения”?.. Что она имела в виду?»

Сверкалов задумался, потупив омраченное лицо.

«Не думает ли она, что я еду к Ликушиным ради самой госпожи Ликушиной?.. Не думает ли она, что между нами что-то есть? Какой вздор!! Если оно так — необходимо рассеять это нелепое подозрение...»

— Скажи откровенно, — спросил с наружным хладнокровием Сверкалов. — Как ты находишь madame Ликушину?

Взгляд его сверлил жену.

— Как? Да ничего. Она милая, — равнодушно отвечала жена. — Еще может нравиться.

«Что это такое? — похолодел Сверкалов. — Что значит этот намек?»

Жена в это время думала о туфлях и вздрогнула, когда муж схватил ее за руку.

— Знай же, что я эту Ликушину ненавижу! Она мне противна!

Жена удивленно взглянула на него.

— Почему? Что она такое сделала?

К Ликушиной Сверкалов был совершенно равнодушен, и вопрос жены застал его врасплох.

«Подозревает, — заледенело сердце. — Так и есть — подозревает...»

— Ты спрашиваешь — почему?

И, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, бедный учитель гимназии махнул на всё остальное рукой:

— Потому что у нее есть любовник.

Жена пожала плечами и усмехнулась.

— Да тебе-то что... Ведь не влюблен же ты в нее?..

— Почему ты это спросила?! — быстро-быстро заговорил Сверкалов, хватая жену за руку. — Что это значит? Неужели ты подозреваешь?.. А? А? Говори...

— Бог с тобой, — удивилась жена. — Я только не понимаю, с чего ты так волнуешься... Я ведь знаю, что ты любишь меня...

«Что это? — внутренне дрожал Сверкалов. — Искренность или ирония?.. Что она думает? О, я бы много дал, чтобы узнать, что она думает?..»

Тут же он решил окончательно рассеять подозрения жены.

— Ты знаешь, между прочим, что Ликушина имеет целую челюсть вставную... Бррр!.. И волосы красит.

Думая о туфлях, жена машинально спросила:

— Да? Откуда ты знаешь такие подробности?

В груди Сверкалова что-то оборвалось. Похолодело.

«Конец!.. У нее самые определенные подозрения».

Не попадая рукой в рукав пиджака, Сверкалов подозрительно и злобно закричал:

— Что ты пристаешь ко мне с Ликушиной? Что это значит?

— Господи! Да кто ж к тебе пристает? Ты сам же начал о ней разговор. Чего ты волнуешься? Не буду же я ревновать тебя к Ликушиной.

«Конец! — охнул внутренне Сверкалов. — Гибель!»

Схватился за голову и выбежал из дому...

II.

Севши в трамвай, Сверкалов первым долгом вынул двутривенный и стал держать его на виду, весь замирая от опасения, что в нем могут заподозрить пассажира, желающего прокатиться без билета.

Кондуктор раза два промелькнул мимо него, отбирая деньги у других, а Сверкалов тянулся за ним, беспокойно повторяя:

— Получите же с меня... Почему вы не берете с меня?!

Наконец кондуктор протянул руку к Сверкалову. Взял его двутривенный, повертел в руках и, равнодушно возвращая, сказал:

— Пожалуйста, перемените. Это оловянный.

«Конец, — оборвалось внутри у Сверкалова. — Он, наверное, думает, что я нарочно хотел подсунуть ему фальшивый... Черт знает что! Еще, пожалуй, подумает, что я сам и сделал его... Какая гадость».

Сверкалов ненатурально засмеялся, взял обратно деньги, вынул другие и сказал:

— Это мне подсунули где-нибудь. Вот, получите.

И, посмотрев на застывшее лицо кондуктора, заискивающе спросил:

— Что, много у вас работы?

Сейчас же стало ясно, что вопрос, после случая с двугривенным, совершенно нелеп и неуместен. Нужно было загладить его.

Сверкалов снова вынул из кармана оловянный двугривенный, осмотрел его и сказал:

— Ей-Богу, как настоящий! Ха-ха! А вы небось думаете: “Вот, мол, барин хотел всучить под шумок фальшивый двугривенный...” А? Говорите, черт вас возьми... думали?..

Во рту накопила скверная горечь.

«Зачем я это говорю? Глупо, бессмысленно. Ведь я действительно тянулся за кондуктором так настойчиво, будто в самом деле хотел сплавить двугривенный... Боже! Как тяжело!.. Как гадко...»

Так как Сверкалов был уверен, что его соседи подозревают в нем фальшивомонетчика, то — посмотрел на полного блондина в очках и сказал:

— Вот я — имею в гимназии службу, зарабатываю тысячи две, человек более или менее обеспеченный... А каково бедному, если ему попадется фальшивый двугривенный... Не правда ли? Мне-то ничего... Служба, доверие начальства... Гм...

Полному господину нужно было сходить на остановке. Он недоуменно посмотрел на Сверкалова, встал и вышел.

«Конец! — по своей привычке охнул Сверкалов. — Гибель!»

Не дожидаясь следующей остановки, он выскочил из трамвая и остальную часть пути, с тяжелым сердцем, прошел пешком.

III.

Горничная попросила Сверкалова в кабинет Ликушина.

— Барин говорит по телефону... сейчас придет.

Сверкалов сделал несколько шагов по кабинету, подошел к столу и стал рассматривать разные безделушки... Взял машинально какое-то кожаное потертое портмоне и стал рассеянно вертеть его в руках.

Сзади раздался неожиданный голос:

— А! Вы здесь!..

Сверкалов вздрогнул и выронил портмоне.

— Не беспокойтесь, — сказал Ликушин, быстро нагибаясь. — Я подниму.

«Конец! — заскрежетал зубами Сверкалов. — Что он подумает? Что он может подумать? Застал меня одного в кабинете, с чужим портмоне в руках... Господи, как это противно... Как гнусно!..»

— Портмоне рассматривал, — болезненно улыбаясь, сказал он. — Очень замысловатая штука.

— Что вы, — небрежно возразил хозяин. — Самая примитивная штука: нажать сверху пружину — оно и раскроется!

«Да? — задрожал внутренне Сверкалов. — Не думаешь ли ты, что и я нажимал пружину и лазил внутрь?.. Этого только еще недоставало...»

— А мне его не удалось открыть, — заявил он утрюмо.

Хозяин отложил портмоне в сторону и взял гостя за руки.

— Да? Ну, как поживаете, мой дорогой? Что подельвали последнее время?

«Кошелечки чужие открывал», — болезненно усмехнулся про себя Сверкалов. А вслух сказал:

— Ничего. Скажите, где вы купили это портмоне?.. Я бы очень хотел приобрести себе такое. Я его поэтому и рассматривал!

— Господи! Да в самом паршивом магазине можно его купить... Что это вы так заинтересовались этим портмоне?

Сверкалов, бледный, с прыгающими губами, нагнулся к хозяину.

— Почему заинтересовался? Не думаете ли вы, что я хотел ознакомиться с его содержимым? А? Вы уж говорите прямо?

«Как он глупо шутит», — поморщился внутренне Ликушин. — Ха-ха, милейший! Немного же заработали бы вы!.. Там какая-то мелочь... Жена ваша здорова?

— Здорова, — отвечал отрывисто Сверкалов. — С вами случилось когда-нибудь: взял в руки какую-нибудь вещь — совершенно машинально... Начинаешь ее вертеть в руках и только потом с удивлением спохватиться: Э! Как эта вещь попала тебе в руки?! Случалось?

— Не помню, — удивился Ликушин. — А что?

— Да так спрашиваю. Кстати, знаете, я скоро получаю от тетки наследство. Так что в деньгах совершенно не нуждаюсь...

В кабинет вошла хозяйка дома и поздоровалась со Сверкаловым.

— Хе-хе! — сказал Сверкалов. — Почему же вы, Дмитрий Павлыч, не расскажете супруге о только что происшедшем забавном инциденте... Представьте, прихожу я, — Дмитрия Павлыча нет... Беру совершенно машинально это портмоне, вдруг входит он. Я, от неожиданности, роняю портмоне, и мне сделалось смешно: вдруг Дмитрий Павлыч подумает, что я хотел выгащить содержимое кошелька и был застигнут на месте преступления.

Ликушин внимательно взглянул на Сверкалова.

— Да почему вы придаете такое значение этому пустяку? — медленно спросил он.

«Подумал! — оборвалось сердце. — Раньше не думал и не придавал значения, а теперь, после моих бестактных разговоров и объяснений, что-то подозревает. Теперь — конец!.. Гибель!»

Сверкалов выхватил из кармана бумажник и закричал:

— У меня есть деньги... Вот триста рублей!! Я в чужих не нуждаюсь... Не думайте!.. Не ду-у-у...

Упал в кресло и закатился долгой томительно жуткой истерикой.

Ликушины забежали, схватили воду, терли виски, охали и недоумевали.

IV.

За окном был весельи, ликующий праздник: торжествующе гудели автомобили, сверкало электричество и тревожно-радостно звонили трамваи, празднуя грубую победу над человеком...



АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Памяти Марка Твена¹

I.

Недavno один знакомый сказал мне:
— После смерти Марка Твена в печати появилось несколько анекдотов из его жизни. Все газеты перепечатывают их, а читатели покатываются со смеху². Ну и забавник же был этот знаменитый юморист! Читали?

— Не читал. Смешно?

— Да уж так смешно, что мы за животики держались. Вечно он что-нибудь этакое выкинет. Подождите... не помню ли я? Ну, конечно, припомнил! Например, такой анекдот: к нему очень приставали разные лица с просьбами — дать свой автограф. Он раздавал их направо и налево, но вскоре узнал, что его автографы продаются за большие деньги, служа предметом корыстного торга. Он был так возмущен этим, что одному господину из числа спекулянтов, который обратился к Твену с просьбой об автографе, — ответил письмом, написанным на пишущей машине. В этом письме Твен негодовал на то, что его автографами торгуют, и называл такую торговлю позорным явлением. Хо-хо-хо!

Я терпеливо переступил с ноги на ногу.

- Ну? Ну-ну?
- Да что — ну? Вот и всё.
- А анекдот-то где же?
- Тут же. Это и есть анекдот.

И он стал хохотать, корчась и размахивая руками в припадке истерического веселья.

Я ушел от него и вскоре встретился с другим знакомым.

— Я думал, — еле сдерживая улыбку, заявил другой знакомый, — что Твен был только юмористом в литературе... Но оказывается, что он был таковым и в жизни. Последний анекдот о Твене, перепечатанный всеми газетами, немало распотешил читателей и доставил им много веселых минуточек. Не слышали?

- Не помню, — подумав, сказал я. — Какой анекдот?
- О его женитьбе! Ха-ха!

Мой собеседник сел на скамью, уткнул голову между колен и весь задрожал от хохота.

— До сих пор не могу вспомнить спокойно! Ха-ха! Влюбился знаменитый юморист в одну девушку и попросил у ее отца руки дочери таким образом: «Вы ничего не замечаете?» — спросил Твен отца. «Ничего», — отвечал отец. «Понаблюдайте внимательней — может быть, и заметите».

Оглушительный припадок хохота прервал рассказ моего знакомого. Он кашлял, раскачивался и в изнеможении отмахивался руками.

— Да я вас слушаю, — поощрил я его. — Продолжайте.

— Да я и кончил, — отдышавшись, сказал он. — Это и есть анекдот о женитьбе Марка Твена.

Я скромно молчал.

— Однако вы невеселый человек, — обиженно заметил знакомый. — Вас ничем не проберешь. Разве что на вас может подействовать штука Твена со своим тестем. Это уж такая вещь, которая даже мертвого заставит расхохотаться. Однажды тесть подарил Марку Твену большой дом. Знаменитый юморист поблагодарил его и прибавил: «Если вам когда-нибудь вздумается приехать к нам погостить — для вас всегда найдется теплый угол».

— Весь анекдот? — осторожно спросил я.

— Весь. Хе-хе! Так и говорит: «Для вас, — говорит, — всегда найдется теплый угол».

— Больше никаких анекдотов о Твене не имеется?

— Есть еще один. Об автографах. Тоже препотешный, признаться.

— Об автографах я уже знаю, — задумчиво возразил я. — Не надо рассказывать. До свидания.

Весь тот день я был задумчив.

«Как это могло случиться, — думал я, — что такой безмерно веселый всемирный юморист оставил после себя такие странные унылые анекдоты? Одно из двух: или они кем-либо выдуманы после смерти Твена, или Твен действительно имел в жизни эти три случая, но ни в одном из них не думал острить, поступая так, как поступил бы всякий другой обыкновенный человек. А кто-то подслушал разговор с тестем, прочел деловое письмо к спекулятору автографами, да и вообразил, что это и есть анекдоты. И записал их. И напечатал. И перевели. И смеются».

Я слишком люблю Твена и чту его память, чтобы оставить покойника с такими вялыми, скучными анекдотами.

Я решил придумать другие анекдоты для веселого, остроумного Твена. Я твердо верю, что он заслуживает большего. Мне кажется, что такой бриллиант должен быть в лучшей оправе, чем та — из тяжелых неуклюжих бульжников, — которой его окружили бестактные неумелые почитатели.

Написать несколько анекдотов для меня не стоило большого труда — стоило только порыться в своей памяти и вспомнить все те шуточки, которые случалось мне отпускать в веселой компании. Я твердо уверен, что за мной никто не ходил по пятам и не записывал сказанного мной, без чего всё равно все мои остроты погибли бы для света. А так они, по крайней мере, принесут пользу светлой памяти веселого Твена.

II.

Спустя некоторое время после этого в газетах появилась новая серия свежих анекдотов о Твене.

Вот некоторые из них:

По одному источнику

Сидя в одном обществе, Твен потешал слушателей веселыми шутками и анекдотами.

Один из слушателей, позавидовав Твеновым лаврам, заявил:

— Я сегодня тоже сочинил препотешный анекдотец. Вы позволите его рассказать вам?

И он начал рассказывать какую-то смешную историйку, но на половине был остановлен Твеном.

— Постойте! Мне кажется, что я смогу докончить придуманный вами анекдот.

И, к великому восторгу и смеху публики, великий юморист тут же блестяще закончил начатую его завистником историю.

Все были поражены талантливym проникновением Твена в мысли рассказчика.

А Твен застенчиво покраснел и скромно заявил:

— О, это сущие пустяки! Дело в том, что у меня и у него в кабинетах висит отрывной календарь, очевидно, одного и того же издания.

Портрет

Однажды Твен и его приятель совершали загородную прогулку на велосипедах. По близорукости Твен налетел на какой-то предательский камень и покатился под откос вместе с велосипедом.

Его приятель, как завзятый спортсмен, первым долгом заинтересовался состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:

— Цела ли рама, дружище?

— Рама-то цела... — отвечал Твен из оврага. — Но зато портрет, кажется, вдребезги!¹³

Самоубийца

Однажды Твена спросили:

— Покушались ли вы когда-нибудь на самоубийство?

— Да, — серьезно ответил Твен. — Единственный раз в жизни. Это было во время моего путешествия по России — в Москве. Взгрустнулось мне — я и решил.

— Каким же образом вы покушались?

— Я пытался утонуть, спрыгнув с Кузнецкого моста.

Вся соль твеновского ответа заключается в том, что «Кузнецким мостом» в Москве называется обыкновенная улица без всякого признака не только моста через воду, но даже и капли какой-нибудь воды.

Разница

Твен несколько раз обещал издателю одной американской газеты написать рассказ, но всё время что-нибудь мешало ему.

— Помилуйте, — сказал однажды издатель. — Такой великий человек и вдруг — обманывает!

— Чем же я велик? — удивился Твен.

— Ну да! Вы для Америки были тем же Робинзоном Крузо, который, попав на необитаемый остров, первый возделал и украсил этот остров.

— Ну, между мной и Робинзоном Крузо большая разница, — отвечал Твен, подумав. — У него на всю жизнь был один Пятница⁴, а у меня на одной неделе семь пятниц!

III.

Когда вышеприведенные анекдоты о Твене появились в печати, они вызвали общий восторг и удовольствие.

Печатая эти анекдоты, газеты сопровождали их такими предисловиями:

«Неувядаемый юмор в творениях великого юмориста, оказывается, был его спутником и в обычной жизни. Его маленькие шутки, расточаемые в разговорах с друзьями и знакомыми, — настоящие перлы! В них сразу можно узнать незлобивый смех и веселье великого американца. Вот некоторые из этих перлов...»

И тут же приводились истории с портретом, календарем, Кузнецким мостом и Пятницей.

Сначала эти похвалы льстили моему самолюбию, а потом мне сделалось обидно.

Все хвалили покойника Твена, а меня никто даже не потрепал по плечу. Ни одна газета даже и не подумала приписать хотя один рассказанный анекдот — мне, как владельцу его и автору.

Я был в тени.

Тогда я пошел в одну редакцию и заявил:

— А ведь анекдоты-то о Твене — это мои. Я их отчасти выдумал, а отчасти некоторые истории действительно со мной случились. Я их и тиснул под маркой Твена. А теперь я не хочу больше. Прошу меня разоблачить в вашей газете!

Но редактор хладнокровно возразил мне:

— Эти анекдоты прославились постольку, поскольку они принадлежали всемирно остроумному великому Твену. А если эти истории случились с вами — никому они не нужны и никто бы их и не напечатал! Подумаешь — кому интересны эти черты из вашей биографии!

— Почему же неинтересны? — огорченно спросил я.

— Да потому, что вы никому не известный маленький человек. Когда сделаетесь знаменитым и прославитесь — тогда другое дело...

Я круто повернулся спиной и пошел делаться знаменитым и прославляться. (Между прочим, могу сознаться, что это ужасно трудно.)

IV.

Ради заработка я изредка сочиняю анекдоты о великих людях⁵. Так как тратить на этих великих людей лучшие из своих выдумок и анек-

дотов не имеет смысла (может быть, они мне самому пригодятся впоследствии), — я пускаю в оборот следующие вещи, тем не менее приводящие невзыскательную публику в восторг.

О Суворове

Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдата:

— Как думаешь — побьем басурманов?

— Так точно! — отвечал бойкий солдатик.

Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал:

— Ну, ступай.

О Петре Великом и шуте Балакиреве

Как известно, великий преобразователь никогда не расставался со своей знаменитой дубинкой.

Однажды пуговица с его камзола оторвалась и закатилась под стол.

Великий основатель Петербурга нагнулся, пошарил дубинкой под столом и достал пуговицу.

Находившийся поблизости шут Балакирев спросил:

— Ну, что, Алексеич, нашел пуговицу?

О Гоголе

Однажды великий сатирик пришел к знакомым.

— Какова погода? — спросили его.

— Дождь идет, — отвечал незабвенный творец «Ревизора».

И тут же повесил мокрый плащ на гвоздик.

Вот что я пишу и печатаю о великих людях⁶.

Сам же я, признаться, в частной жизни говорю вещи гораздо более ценные, веселые и достойные всяческого внимания.

Но они так и гибнут бесследно. Что ж..



ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.

— Что случилось? — в ужасе спросил муж.

— Сын... Ваня... Горе! Горе наше...

— Заболел, что ли?

— Нет, не заболел, — сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:

— Вчера еще вечером... ничего не было заметно... Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже... пил чай... гулял. А недавно... приходит ко мне... часа два тому назад... Не узнаю: глаза так странно блестят и руки болтаются, как на ниточках... «Что ты, — говорю, — Ванюшка?» «Маменька... — говорит он мне. — Маменька! Извините, — говорит, — меня, но я буду писать драму!»¹

Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.

— Что-о?!!

Жена покорно и скорбно качнула головой.

— Да, говорит: «Драму хочу писать». — «Ванюшка, — говорю я ему, — Ванюшка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я обер-офицерская дочь, отец в банке служит, а ты...» И заплакала! Слезы у меня — кап-кап! «Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фами-

лию нашу позоришь?» — «Маменька, — говорит, — такая уж моя судьба, чтобы написать драму».

Наступила жуткая тишина.

Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.

— Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе...

Он схватился за голову.

— Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за алкоголизм?! За грехи предков... Ха-ха-ха!

Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.

* * *

В маленькой мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.

Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:

— Пишет! Второй акт дописывает!

— Пишет... Возри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь — не ропщу я... Всё в руке Твоей!

Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.

— Ваничка... — простирал к нему руки отец. — Ваничка! Дитя ты наше разнесчастное!

Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:

— Родителей ваших знаю, достойные люди... А вы накося, что выкидываете... Драму пишете!

Молодой человек улыбнулся бледной виноватой улыбкой и попробовал отшутиться:

— Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!

— Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.

Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.

— Глиста чертова! Драму пишет!

— Энтот?

— Он самый. Дармодел, кочерыжка голова!

— Свистни его камнем. Фьють!!!

— Улюлю!

Под ноги ему полетели камни, палки.

Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно... А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:

— Несчастненький...

* * *

Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах...

Окончив драму, молодой человек завернул ее и, крадучись, пошел в цензурный комитет².

— Что прикажете? — встретил его курьер.

— Драму принес.

— Фу ты, пропасть! А я думал, что... Нечего здесь... Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежда висит, как бы ты не стянул грешным делом.

Он вышел, сел на ступеньках и, худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.

Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрягал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:

— Драма?

— Драма!

— Зачем?

— Так.

— Вы сапоги умеете чистить?

— Нет...

— То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете... Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!

* * *

Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и плотники переставляли декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.

Он кротко вынес всё это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.

— Чем могу служить? — спросил антрепренер.

— Я вам драму принес.

— Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?

— Поставить бы у вас?

— Да для чего же мы ее будем ставить?

— Другие же драмы вы ставите? — робко спросил молодой человек.

— Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.

— Хе-хе! — заискивающе засмеялся молодой человек. — Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!

Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.

— Тоже дрянь! Не подойдет.

— Но ведь вы еще не читали?!

— Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка провалится. Савелий, проводи их.

* * *

Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.

Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:

— Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! — сказал он, плача. — У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик... Прости нас.



ОДИНОКИЙ ГРЖИМБА

I.

Тот человек, о котором я хочу написать, — не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:

— Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке — это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича... Хе-хе!

В этом смысле мой герой не был типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а может быть — чрезвычайно, ужасающе стар.

Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас. Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем земли и теперь выползшего на свет Божий дивить и пугать суеверный православный народ.

И еще — я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.

Гржимба был похож на такого слона.

Моя нянька сказала о Гржимбе другое.

Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:

— Что же это такое! Бедненький... Ходит как неприкаянный.

Нянька да я — мы были единственными людьми, которые почему-то жалели дикого, загадочного «неприкаянного» Гржимбу.

А вообще — его все считали страшным человеком.

II.

Когда мне было 10 лет — мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом провинциальном городке на берегу широкой реки¹.

Однажды мы сидели за утренним чаем и занимались рассказыванием друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.

Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась «почему-то лодка», и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы, «почему-то» все в маленьких-маленьких платочках... и «почему-то» они говорили: «Идите к нам!»

Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.

— А мне снилось, — густым голосом прогудел я, раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, — мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили меня, чтобы оскальпировать. Но я — не дурак — схватил глобус да глобусом их. Ого! Убежали да еще томагавки забыли.

Я помолчал немного и равнодушно добавил:

— Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.

Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.

— Пойди, открой, — сказала мать. — Я швейцара услала.

Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и... остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.

Машинально я повернул ключ, и дверь распахнулась. Послышалось урчанье, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.

Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста². Гора-живот переходила в гору-грудь, которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными

щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны. Голову покрывал поношенный цилиндр, и — что меня поразило больше всего — цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком. Точь-в-точь как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.

— Мальчишка, — хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец. — Есть вино?

— Не знаю... — растерялся я. — Спрошу у мамы.

Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.

— Что вам угодно? — спросила мать, и по ее тону было видно, что она перепугана насмерть.

— Стакан вина.

— У нас вино внизу... Где общая столовая. Впрочем... (незнакомец в это время сердито заурчал) ...пойди вниз, принеси им стакан вина.

Я принес бутылку белого вина и стакан.

Стараясь не подходить к посетителю близко, я издали протянул руки, насколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.

Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.

Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.

Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:

— Жить можно?

— Вы хотите сказать, есть ли комнаты? — робко спросила мать. — Да, есть.

— Где?

— Пожалуйста, я покажу.

Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сзади колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром туша незнакомца.

— Вот комната, — сказала мать, поворачивая ключ в дверях.

Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.

— Вот тебе раз, — только и нашлась сказать моя бедная мать.

III.

Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.

Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.

Оттуда доносилось заглушённое ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.

Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:

— Эй!! Горячей воды и полотенца! Чего вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?

Голова скрылась, и дверь захлопнулась.

Слуга понес ему воду и полотенца, и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу в полной темноте и проклинал всех на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.

При появлении слуги он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор, главным образом о еде, спрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить «настоящие порции»? Во время разговора беспрестанно

мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и шею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.

— Я очень боялся, — озираясь, говорил нам слуга, — чтобы он не хватил меня по голове мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..

Обед принес матери новые огорчения.

Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуясь, что это «не настоящая порция».

Дали ему еще.

А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, — и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.

Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.

С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.

По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.

Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас... Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и мне казалось, что много лет он уже так бродит с места на место, оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий. Сейчас, среди ночи, он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.

«Зачем он обтирает шею мокрым горячим полотенцем? — пришло мне в голову. — Для чего это?»

Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.

«А вдруг, — подумал я, — горячая вода остынет и Гржимба умрет?»
Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.

«Неприкаянный»... Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?

А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.

Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хрипкое дыхание в коридоре, а утром мать недосчиталась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.

Коробки из-под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей для коробок у него не было, и он просто гольими пальцами разломил толстые жестяные коробки.

IV.

Прошло три дня. Мать всё время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.

Днем он съедал почти всё, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что-то под нос, и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.

На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила полиции о происшедшем, и в тот же вечер я был свидетелем страшной сцены: явилась полиция — бравая, бесстрашная русская полиция — и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного³.

К Гржимбе постучали.

— К черту! — заревел он.

— Отворите, — сказал околоточный.

— Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову! Откушу пальцы! Проткну кулаком животы!

— Это я, — сказал околоточный. — Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать...

За дверью послышалось урчанье, брань — и ключ повернулся в дверях.

Два дюжих городских налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату.

В комнате царила абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.

Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.

— Бери его, ребята, — скомандовал околоточный.

Городовой подлез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул... Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассуждающего, что организованной силе всё равно придется покориться.

Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на этого странного, никому не понятного человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.

— Что же с ним делать? — спросил старший городской околоточного.

— В Харьков! — рявкнул Гржимба.

— Что — в Харьков?

— В Харьков! Отправьте! Туда хочу!

И его увели — эту тяжелую пыхтящую гору, окруженную малорослыми победившими его городскими.

В ту ночь мы с нянькой много плакали.

Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу, без папы, без мамы, без ласки, — бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, выгаскивают оттуда, причем он безуспешно пыгается сопротивляться, и потом его выслают

в другой город, как тяжелого, никому не нужного слона... И так бродит из города в город одинокий Гржимба — таинственный осколок чего-то непонятного нам — того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.

Откуда Гржимба? Где он одичал?

Нянька тоже плакала.



ВИНО

I.

Литератор Бондарев приехал в город Плошкин прочесть лекцию о современных литературных течениях.

На вокзале Бондарев был встречен плошкинским жителем Перекусаловым — ветеринарным врачом и старым гимназическим приятелем литератора.

Перекусалов так обрадовался встрече с Бондаревым, что от него даже немного запахло вином¹. Он обнял Бондарева, отошел от него, раздвинул руки и, любуясь издали, со склоненной набок головой, сказал:

— Ах ты, свинтус этакий! Эх ты, собака! Как возмужал!.. Какой сделался знаменитый! Боюсь, что ты всех тут с ума сведешь!.. У меня остановишься?

— Нет, в гостинице, — пожимая руку Перекусалова, ответил Бондарев. — У тебя жена, дети, и я боюсь стеснить тебя. Приезжай вечером с женой на лекцию.

— Он еще приглашает! Не только я буду — но и инспектор народных училищ Хромов, и Федосей Иванович Коготь, и член управы Стамякин!! И жена Стамякина будет — прехорошенькое создание! Туземная царица красоты! Увидишь — влюбишься в нее, как собака. Вечером после лекции ко мне отправимся — отпразднуем приезд, как это гово-

рится, — столичной звезды! Ах, как я тебя люблю и всегда любил, милый Бондарь!

— Ты уже... обедал? — спросил Бондарев.

— А что? Нет, брат... на дорогу посошок выпил — перед встречей-то. Едем сейчас в отель Редькина. Там уж и пообедаем.

Вечером, читая лекцию, Бондарев видел в первом ряду сияющего, торжественного Перекусалова, рядом с ним краснолицего мясистого человека, оказавшегося, как потом выяснилось, обладателем фамилии Коготь, а еще дальше — маленького хилого Стамякина с женой, которая действительно была на редкость красивой, интересной женщиной.

Все эти люди неистово аплодировали Бондареву, радостно шумели, а Стамякин даже втайне гордился, что близко знаком с Перекусаловым, который в таких дружеских отношениях со столь известным литератором...

После лекции все поехали к Перекусалову ужинать.

II.

Сначала гости дичились Бондарева и жались по углам, но, когда он рассказал два-три смешных анекдота и какой-то пикантный петербургский случай — все оттаяли.

Обильный ужин, украшенный десятком бутылок с различными этикетками и разнообразным содержимым, — окончательно сломал лед.

Все зашевелились, оживились.

Бондарев, сидя рядом с обаятельной Стамякиной, не сводил с нее глаз, подливал ей вина и без умолку рассказывал о Петербурге, о себе, сообщал тысячу смешных, забавных вещей, отчего Стамякина красиво усмехалась, придвигалась незаметно к Бондареву ближе и изредка бросала на него из-под трепещущих ресниц сладкий, доходивший до самого сердца, взгляд.

«Да ведь она прелестна, — думал Бондарев, оглядывая ее. — Хорошо бы увезти ее в Питер... Фурор бы...»

Пили много, но никто, кроме хилого маленького Стамякина, не пьянел. Инспектор Хромов, сидевший сбоку Бондарева, бросал на него восторженные взгляды и всё подстерегал удобный случай, чтобы вступить в разговор.

Подстерег. И спросил робко, тронув литератора за рукав:

— Как вам приходят в голову разные темы? Я бы думал, думал и целый век ничего не придумал!

— Профессиональная привычка, — благодушно ответил Бондарев. — Мы уже совершенно бессознательно всасываем всё, что происходит вокруг нас, — впечатления, наблюдения, факты, — потом перерабатываем их, претворяем и отливаем в стройные художественные формы.

— Да... претворяем... в формы, — засмеялся инспектор. — В хорошую бы форму я бы претворил что-нибудь. Из всех редакций помелом бы выгнали.

Наливая своей соседке вино, Бондарев наклонился немного и шепнул одними губами, как шелест ветерка:

— Ми-ла-я...

Красивая Стамякина закрыла густыми ресницами глаза.

— Кто?

— Вы.

— Смотрите, — улыбнулась тихо и ласково Стамякина, — вы играете с огнем. Я опасная.

— Пусть. Я с детства любил пожары.

— А как вам платят за принятые сочинения в редакциях? — любовно смотря на Бондарева, спросил инспектор. — Авансом или после?

— Большею частью авансом, — улыбнулся Бондарев. — Мы стремимся вперед и спешим жить.

— По-моему, — заявил Хромов, — нужно бы людей, подобных вам, содержать за счет казны. Ешь, пей на казенный счет, веселись и не думай о презренном металле! Пиши о чем хочешь и когда хочешь... Гм... Или вас должно содержать общество, которое вас читает.

— Это прекрасно, — сказал Бондарев, пожимая под столом руку соседки. — Но это утопия.

— Конечно, утопия, — подтвердила Стамякина, глядя бондаревскую руку.

— Форменная утопия, — пожал плечами Бондарев, кладя руку на круглое колено соседки.

— Безусловная утопия, — кивнула головой соседка и попробовала потихоньку снять руку, которая жгла ее даже сквозь платье.

— Пусть так, как есть, — сказал Бондарев.

— Нет — так нельзя, — улыбнулась Стамякина.

— Нельзя? — вскричал инспектор Хромов. — А, ей-Богу, можно. Вот, например, где вы, Николай Алексеич, остановились?

— В отеле Редькина.

— И напрасно! И совершенно напрасно!! С какой стати платить деньги? Милый Николай Алексеич! Дайте слово, что исполните мою просьбу... Ну, дайте слово!

— Если в моих физических силах — исполню, — пообещал, сладко улыбаясь, Бондарев.

— Милый Николай Алексеич! — Я преклоняюсь перед вами, перед вашим талантом. Сделайте меня счастливым... Бросьте вашего Редькина, переезжайте завтра утром ко мне!

— Да я ведь послезавтра вечером уезжаю, зачем же? — сказал Бондарев.

— Всё равно! На один день! Если бы я был богат, я бы построил вам на берегу тихого моря мраморный дом и сказал бы: «Бондарев! Это ваше... Живите и пишите здесь, в этом доме!» Но я не богат и предлагаю вам более скромное помещение. Но от чистого сердца, Бондарев! А?

— Спасибо, — сказал тронутый Бондарев. — Если вам это доставит удовольствие — завтра же перееду к вам.

— Bravo! — восторженно вскричал инспектор Хромов, шумно вскакивая с места. — Господа! Предлагаю выпить за здоровье того светлого луча, который на мгновение осветил нашу тусклую темную жизнь! Урра!

— Урра! — крикнули гости.

III.

— Вы должны отказаться от своих слов! — бешено кричал бледный Перекусалов, тряся за плечо красного, возбужденного Федосея Ивановича Коготя.

— Нет, не откажусь! — ревел Коготь. — Ни за что не откажусь! Хотя вы меня режете — не откажусь! Зачем мне отказываться?

— Нет, ты откажешься!

— Нет-с, дудки. Вот еще какой! Не откажусь.

Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали:

— Да бросьте! Чего там... Подумаешь!

— Будто дети какие!..

— Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!

Коготь презрительно вздернул плечами.

— Когда и где угодно!

— Послушай, — сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова. — В чем дело? Чего ты так разъярился?

— Он меня оскорбил, — тяжело задышал Перекусалов. — Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути! Ты, надеюсь, понимаешь?..

— Ффу, как глупо! Надеюсь, это всё несерьезно?

— Что?? Ты что же, думаешь, что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи: ударом кулака или показанием языков друг другу? Не-ет, брат!.. Я, может быть, запис здесь в глуши, но поставить на карту жизнь — если затронута честь — всегда сумею.

В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него.

— Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?

Бондарев положил ему руку на плечо и сказал:

— Конечно. Я всё это устрою. Но, скажи, пожалуйста... чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?

— Нет, не пустяки! Вовсе не пустяки, Бондарев! Я не могу тебе сказать, что именно — мне это слишком тяжело, — но не пустяки.

— Хорошо, — серьезно сказал Бондарев. — Тогда — решено! Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях.

Гости стали торопиться домой.

Когда Стамякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.

— Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня — я вас очень прошу — не трогайте меня... Всё равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!

— Свинья! — прошептала Стамякина и взяла Бондарева под руку. — Вы не откажетесь проводить меня?

Сердце Бондарева сладко заколотилось.

— Вы... спрашиваете?.. Господи!

Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила:

— Вы мой господин! Вы приехали дерзко равнодушный, схватили мою жизнь, как хрупкий орех, и раздавили ее властной рукой. А я-то думала, что моя жизнь — крепкая, крепкая... прочная, прочная... Зачем вы сделали это?

— Настя... Если бы я тебе сказал: «Уедем со мной, брось всё...» — ты бы бросила? Уехала?

— С тобой? В Лондон, на Луну; умерла бы, если бы ты умирал, плакала бы твоими слезами и смеялась бы твоим смехом...

Она взяла руку Бондарева, поднесла к губам и поцеловала два раза...

— Завтра я буду у тебя, — сказал Бондарев. — И завтра позову тебя. Пойдешь?

— Твоя.

IV.

Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал:

«Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси — есть одна точка: микроскопический город Плош-

кин. И здесь люди, как это ни странно, — другие, и живут они и думают не захолустно: в один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника, и смелую, с большим сердцем, женщину, и человека, готового riskнуть жизнью ради чести... И всё это очень красиво и странно!»

Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу.

— Извозчик! Знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему!..

— Пожалуйста!

Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его.

— Мужа хотели видеть?

— Да, видите ли... — нерешительно сказал Бондарев. — Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того чтобы жить в гостинице. — Я Бондарев.

— Вечно он... — печально качнула растрепанной головой хозяйка. — А разве в гостинице вам нехорошо было?

— Ничего себе... Но ваш супруг так настаивал...

— Охота вам было этого дурака слушать? Разве он что-нибудь понимает? Пригласил! У нас три комнаты всего, повернуться негде — извольте видеть! Вы уж меня извините, но, когда это сокровище вернется, я его съем за это!

— Приятного аппетита! — пожал плечами Бондарев, повернулся и вышел.

«Действительно, — подумал он, — идиот какой-то... Очень нужно было принимать его приглашение».

— Изво-озчик, черт! Свободен? Вези меня к Коготю. Знаешь — Федосеем зовут. Иванычем.

— Господи ж! — высморкался извозчик. — Завсегда.

«С этой дуэлью еще запутался... Черт знает, что такое! Если бы не дал Перекусалову слова — сразу бы плюнул на всё. А то теперь мотайся как дурак...»

Мимходом он заехал к какому-то доктору. Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и молча слушал.

– Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность.

Доктор встал, протянул литератору руку и сказал:

– Плюньте!

И ушел во внутренние комнаты.

«Порядки! – размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Коготю. – Тут, пожалуй, и пистолетов не достанешь...»

Коготь встретил Бондарева радостно.

– А-а!.. Литератор! Звезда! Садитесь. Чаишки хотите?

– Спасибо, – сказал Бондарев. – Я, собственно, насчет выработки условий...

– Условий? Которых?

– По поводу дуэли.

– Какой дуэли?

– Да вчера же! Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов.

– Юморист вы, – сказал одобрительно Коготь, – вечно у вашего брата закавыки.

– Какие закавыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным.

Надеюсь, вы не отказываетесь от дуэли?

– Вы... в самом деле?

Коготь захохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.

– Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал?

Го-го!

– В чем дело? – закричал Бондарев.

– Вот – голубчик: режьте меня, жгите – буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги.

А скажите, милый... Мы... не дрались?

– Нет, – сухо сказал Бондарев. – В таком случае, прощайте.

Злой, поехал Бондарев к Перекусалову.

Тот еще лежал в кровати.

– Скажи, – спросил сердито Бондарев, – ты помнишь, как вчера вызвал господина Коготь на дуэль?

– Неужто вызвал? – удивился Перекусалов. – За что, не помнишь?

— Это тебе лучше помнить! — закричал Бондарев. — Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли... Как это глупо, как пошло!

— Ты... доктора ездил приглашать? — дико посмотрел на литератора Перекусалов. Закрыв голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.

— О-ой, не могу! О-ой, смерть пришла!

Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.

— На вокзал! Или нет... Постой... Ты знаешь, где Стамякин живет? Вези к ним.

Стамякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза.

— Кого я вижу! Какой вы милый, что заехали!

— Настя! — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. — Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя! Уедем со мной...

Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.

— Ответьте мне на один вопрос...

— Спрашивай всё что угодно. Милая!

— Сколько вы зарабатываете в год?

— Зачем тебе? Тысяч пять-шесть...

— Ну будем благоразумны... Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь... Но что же будет!! Положение всеми уважаемой жены известного в городе человека я переменно на какое-то жалкое, двусмысленное положение — любовницы человека, который ведь может меня и разлюбить. И — что такое 6 тысяч? Мы здесь проживаем восемь, а в Петербурге — чтобы жить так, нужно двенадцать. Ну, милый... Ну, не сердитесь же! Будьте рассудительны...

— Настя! — закричал в ужасе Бондарев. — Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?!

Она погрозила ему пальчиком.

— Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином.

V.

Хотя Бондарев старался уехать из Плошкина незаметно, но провожать его собралась вся вчерашняя компания.

В буфете пили вино. Общество оживилось.

— Мильий Николай Алексеич, — сказал любовно инспектор Хромов, — по-моему, несправедливо, что министерство путей сообщения берет с таких людей, как вы, деньги за проезд. Таких людей нужно возить бесплатно, в купе первого класса.

— Эх! — простонал Перекусалов, опуская голову. — Он хоть и вторым классом поедет, но едет на красивую, интересную жизнь. Ах, братцы, если бы вы знали, как я тянусь к красоте!!

— Красота — это страшная сила!² — подтвердил Коготь, выпивая залпом вино.

Красивая Стамякина нагнулась к Бондареву, чокнулась с ним рюмкой и шепнула:

— Скажите на прощанье что-нибудь такое, отчего мне было бы хорошо... Что скрасило бы мою глупую жизнь.

— Могу! — громко засмеялся Бондарев. — Господа! Пейте больше! Много пейте! Как можно больше...



ЧУДЕСА

То, что случилось со мной в первый день Пасхи, — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные, необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.

Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полуоткрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— Что же?! Что это было?

И молчит завеса.

Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.

Я стоял перед зеркалом во фраке, свежесбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.

Сначала поехал я к Волдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно, все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника...

Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.

Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке¹, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.

Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.

— Извозчик! — сказал я, подходя. — С новым годом!

Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:

— Воистину Воскресе!

— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Лягавая?

— Работницкая.

— Бегать умеет?

— Побежит.

У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:

— Прощай, брат. Кланяйся там отцу, дедушке.

— Покорниче благодарим. Дед вымер нынче.

Я сочувственно вздохнул и отошел.

Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.

Жена Крамалюхина отказалась христосоваться...

— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.

— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?

— А я все-таки поцелую.

— Не понимаю, право...

Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.

— Ей-Богу, поцелую!!

— Право... мне даже странно...

Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.

— Ого! — сказал муж.

Я залился смехом.

— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и похристосовался!

— Однако, — сказал муж.

— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о «стоит только захотеть»?

— Какой анекдот?

— Я вам расскажу...

Мне пришло в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:

«В сущности, ведь она замужня и прекрасно всё должна понимать...»

И я сказал вслух:

— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится, того, — ну, да ведь и вы — хе-хе — не девочка же. Я думаю — прекрасно всё понимаете, а?

Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.

— Странная она какая-то сегодня, — удивился я.

— Это вы ее со своим анекдотом прогнали, — объяснил муж. — Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.

На меня от этих слов сразу повеяло такой непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:

— Почему? Ну, будем, дорогой Илья Ильич, откровенны хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие, — это простой случай! Конечно, я не говорю...

Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.

— Илюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.

— Простите, — сказал я. — Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.

— Бывает.

— Уверяю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!

Она закусила губу:

— Ну один театр все-таки открылся.

Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души. Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.

— Это надо выяснить, — сказал я. — Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глупой шутки или чего-нибудь еще похуже? Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.

— Это театр в частном доме, — сказала она, задумчиво отворачиваясь.

— Ах, так?... А что идет?

— Эга... Сирано де Бержерак².

— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьеску. («Отчего бы мне не посмотреть ее?» — подумал я.) Слушайте, поедem вместе.

— Это неудобно, — быстро ответила она. — Я по приглашению.

— Пустяки! Я заплачу десять рублей. В пользу там каких-нибудь вдов или сирот. Вот. Получите!

Вьнув десять рублей, я пытался всунуть их ей в руку, но она не взяла.

— Стесняетесь от молодого человека деньги получать? — пошутил я. — Явление в наш практический век беспрецедентное! Ну, прощайте. Не буду вас задерживать.

Я вышел. Так как следующий визит был у меня намечен в книжке «к Ахеевым», я взял извозчика и поехал.

Несмотря на теплый ясный воздух, мне почему-то взгрустнулось.

«В сущности, — подумал я, — к чему это всё? Все эти визиты, окорока, английская горькая, христосование? Ведь всё равно все умрут. И я умру... И извозчик умрет».

Сердце мое охватила смертельная жалость к этому понуренному, терпеливо сидящему на кóзлах человеку, который должен умереть, и — ни одна душа о нем не вспомнит. После безрадостной жизни — безвестная смерть!

— Извозчик! — предложил я. — Хочешь, я доставлю тебе удовольствие?

— Какое? — обернулся он.

— Хочешь, я тебя покатаю? Ты садись на мое место, а я на твое. Хочешь?

— Нельзя. Обштрахуют.

Мне до слез было жал этого покорного печального человека.

— На сколько? — спросил я. — Ну, самое большее, на двадцать пять рублей? Так получай их! А теперь — пересаживайся!

Может быть, с точки зрения уличного благоприличия это и было странно, но моральная красота моего поступка искупала какие-то глупейшие уличные правила, и я, без тени смущения, перелез на кóзлы.

Уличные моралисты — судите меня!

Я довез извозчика до самого подъезда Ахеевых и, остановившись, слез. И неожиданно в голову мне пришла простая человеческая

мысль, центром которой был оправлявший в этот момент сбрую извозчик.

«Извозчик, — подумал я, — такой же человек, как и другие... Почему я могу войти к Ахеевым, а он не может? Потому что на нем грубый армяк и что он крестьянин? А Кольцов? А Никитин?³ И я спрошу их прямо: вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?»

Уговорить извозчика стоило мне больших трудов. Наконец он согласился, и я, демонстративно обвив рукой его шею, чтобы еще больше подчеркнуть равенство наших положений, вошел с ним к Ахеевым.

У них были гости: какой-то старец и толстая дама.

— Здравствуйте! — сказал я громко. — Христос Воскресе! Вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате... А посадите ли вы его с собой за стол?

Остановившись посреди комнаты, мы с извозчиком внимательно следили за выражением лиц хозяев.

— Отчего же, — сказал Ахеев. — Теперь такой праздник, что мы всякому рады. Садитесь.

— Не бойся, милый, — дружелюбно толкнул я извозчика в спину. — Садись. Я знаю, что у этих добрых людей слово не расходится с делом. Дайте моему другу извозчику стакан коньяку.

И так как я решил идти до конца, то попросил:

— И не какой-нибудь дряни, а лучшей марки. Он такой же человек, как и мы.

Извозчик принялся за еду и питье, а мы сидели и молчали. Смотрели на него...

Но было скучно. Я это чувствовал.

— Отчего вы все такие скучные? — спросил я. — В жизни так мало радости, что смех и веселье нужно изобретать.

Толстая дама улыбнулась.

— Посоветуйте, что делать. А мы уже повеселимся.

— Итальянцы любят шутки, мистификации, — сказал я, — а мы не любим. Давайте сделаем какую-нибудь мистификацию!

— Какую?

Я обвел глазами стол.

— Можно устроить мистификацию для визитеров. Смотрите: вино из бутылок можно вылить — заменить уксусом, сырную пасху посыпать солью и перцем, в окорок, вместо гвоздики, наткать маленьких гвоздиков, а куличи выдолбить внутри и насыпать туда земли с цветочных горшков и окурков.

Я расхохотался.

— Вообразите их удивление, когда они начнут есть и пить. Ха-ха! Я вам сейчас это всё устрою.

— Да не надо, — сказал Ахеев.

— Почему же не надо? Надо. Вы увидите, как это будет превесело.

Я опрокинул цветочный горшок и, высыпав землю, стал поливать ее мадерой.

Произошла глупейшая сцена: хозяин вырвал у меня бутылку и бес- тактно крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Почему? Вы же просили... мистификацию...

Он вырвал у меня кулич, верхушку которого я успел уже снять, и крикнул:

— Убирайтесь вон!

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы сумасшедший! Я же вас не трогаю!

— Пойдем, — сказал извозчик.

Я посмотрел на лицо хозяина, который, казалось, готов был пере- рвать глотку за какой-то кулич и початую бутылку скверной мадеры, — и мне сделалось противно сидеть среди этих людей... И мучительная, тяжелая тоска охватила мою душу.

— Жалкие вы черви! — с отвращением сказал я. — Идем, мой друг. Ты еще не сыт? Эй, вы! — надменно продолжал я. — Я беру у вас эту колбасу, жареную курицу, бутылку коньяку и графин водки. Не бес- покойтесь — плачú. Человек с душой торгоша! Получите двенадцать рублей... Ха-ха! Сдачи не надо.

Вконец уничтоженный хозяин и гости не смели посмотреть мне в глаза. Хозяину, очевидно, было смертельно неловко за свой бестактный поступок с куличом.

Мы подошли к пролетке⁴, и я разложил на сиденье собранные с собой припасы...

— Ешь, извозчик, пей. А я посижу около лошади, постерегу, чтобы ее не украли конокрады.

В то время в городе свирепствовала шайка конокрадов, и поэтому моя боязнь этих дьявольски хитрых людей была небезосновательной.

Извозчик пил коньяк прямо из бутылки, а я сидел у ног лошади, глядел на него и думал:

«Вот кто никогда не покинет меня! Из таких именно самородков, черноземных людей и выходят честные старые преданные слуги».

Будущее показало, что я не ошибался.

— С визитами я не поеду! — сказал я сам себе. — Пора уже прекратить этот глупейший обычай.

О, традиции, всосанные с молоком матери! В душе все-таки было смутное неопределенное чувство боязни, что знакомые обидятся, если я о них не вспомню. Но этому горю можно было помочь.

Мимо проходил рассеянный сосредоточенный человек без шапки. Я остановил его.

— Милый! Вот тебе записная книжка... Сделай по ней, вместо меня, визиты. Тут у трех я уже был, а у остальных не был. А это тебе за труды. Двадцать рублей. Довольно? Скажи, что я, мол, кланюсь... Не забудешь?

Он молча взял деньги, книжку и ушел. Будто гора свалилась с моих плеч.

Солнце склонялось к закату. Какая-то тихая, неопределенная грусть вползала в душу. Мы сидели с извозчиком у колес пролетки, и каждый думал о своем.

— Спой мне, — тихо попросил я, очнувшись, — что-нибудь тихое, задушевное, отчего бы душа сладко и больно сжималась.

Извозчик послушно открыл рот и запел. Глухие надтреснутые звуки выходили, разливаясь в предвечернем воздухе. Но вот они окрепли, зазвенели — и полилась широкая безудержная русская песня.

— И-и-э-э-ух — ха! га-а-а, — пел извозчик, и тихо припал, притаился истомленный солнцем воздух.

— Кто здесь песни орет? А? Отчего ты не на козлах? — раздался сверху чей-то грубый голос. — В участок захотел, полосатый черт.

Мы вскочили.

Перед нами стоял грубый, с красным лицом, городской и махал кулаком.

— Вы кричать не имеете права, — возразил я. — А если вы оскорбили моего товарища, назвав его полосатым чертом, то он выше этого. Стыдно ругаться! Вы себя этим унизили, а не его. Сами вы полосатый невыносимый дурак!

— А-га-га! — завопил городской. — Ругаться? Пойдем!

Я вырвался из его рук, ударил его кулаком в лицо, отчего он упал, отбежал в сторону и крикнул своему другу извозчику:

— Спасайся! Бежим! Против нас целый заговор — я всё понял! Держись около меня.

И мы побежали.

На нашем пути встретилась какая-то церковь.

— Храм Божий! Сюда! — скомандовал я. — Здесь мы в сравнительной безопасности.

— Пойдем на колокольню, — предложил извозчик.

— Прекрасно! Беги вперед!

Колокольня была открыта. Мы вбежали по узкой лесенке и захлопнули за собой обе двери. В глазах моего спутника горело мужество, а его беззаветная храбрость ободряла и меня, усталого, измученного...

— Часов пять мы здесь продержимся, — сказал я. — А там придет подмога. Мои молодцы не дремлют.

Мы залегли на колокольне.

Я отламывал кирпичи, на случай защиты от неожиданного нападения, а мой верный извозчик схватился за язык большого колокола и, раскачав его, зазвонил тревожно и громко.

— Надо бы так устроить, — посоветовал я, — чтобы наши друзья услышали эти призывные звуки, а враги не догадались, где мы.

Извозчик обещал приложить к этому все усилия и зазвонил еще громче. Я выглянул в амбразуру окна.

— Идут! Борись, брат! Мужайся.

Мы поцеловались, схватили кирпичи и осьпсали ими черную толпу врагов, глухо шумевшую внизу.

— Сдавайтесь! — крикнули они.

— Ни за что! — отвечал я, высовываясь. — Лучше смерть, чем позор.

Извозчик прищурился и бросил в них кирпичом; потом сел под колокол и сразу, как мертвый, уснул.

— Борись, Петя, — посоветовал я, прилег у окна и положил голову на какую-то скамеечку.

Что было дальше — не помню.

Если бы всё случившееся произошло глухой ночью, когда осенний ветер дует в трубы и темные силы справляют свой дикий шабаш, туманя и мороча человека, сбитого ими с толку, — это еще было бы допустимо.

Но как могло случиться среди бела дня то, что рассказано выше, — я до сих пор не могу объяснить.

И стоим мы теперь с моим другом извозчиком, недоумевающие, с пальцами, положенными на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— За что? На два месяца? За что же, Господи?



ПЕТУХОВ

I.

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля — Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова — он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла — такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла — их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

— Как жарко!

— Да, — опустив веки, согласилась соседка. — Очень. В горле пересохло до ужаса.

— Выпейте лимонаду.

— Неудобно идти к буфету одной, — вздохнула красивая дама.

— Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

— Неужели мы так больше и не увидимся? — с легким стоном спросил Петухов. — Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

— Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

— Ах, ах! Умоляю вас — где же мы увидимся?

— Нет, нет, — усмехнулась брюнетка. — Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге¹.

— Ага! — вскричал Петухов. — О, спасибо, спасибо вам.

— Я не знаю — за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, — и уехала.

II.

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

— Где ты была сегодня вечером?

— В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

— Одна?

— Нет, с Марусей.

— С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

— Я тебя не понимаю.

— Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

— Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

— Э, матушка! Я не сомневаюсь — ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! На-

чинается это всё с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакое какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь — он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла, и — согласишься, это очень возможно — ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) — вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко», — говорит он. «Да, — простодушно отвечаешь ты. — В горле пересохло...» — «Не желаете ли стакан лимонаду?» — «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

— Леля! — простонал он. — Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже — негодяй! — при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться? Ты, конечно, свидания ему не назначила — я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

— Что с тобой, глупенький? — удивилась жена. — Ведь этого же всего не было со мной...

— Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

III.

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, — была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и, с криком радостного изумления, спросила:

— Вы? Каким образом?

— Позвольте быть вашим кавалером?

— О да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

— Милая! — прошептал он еле слышно. — Как мне хорошо...

— Тссс... — улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. — Таких вещей замужним дамам не говорят.

— Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

— Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...

— «Вообще» — вздор, а кузину домой отправим.

— Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

— Когда? Когда?

— Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

— Спасибо!..

— Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

— Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

— Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое — уютно?

— Солнце мое лучистое! — уверенно сказал Петухов.

.....
Приехав домой, он застал жену за книжкой.

— Где ты был?

— Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

— Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

— Ага! Понимаю-с! Всё мне ясно!

— Что?

— Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полужнакомым пройдохой. У-у, п-подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул...

– Ты... в своем уме?

– О-о, – горько засмеялся Петухов, – к сожалению, – в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полу-назначенное полу-свидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он – не будь дурак – сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

– Не согласишься... «Я, – скажешь ты, – замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!» Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин, – ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV.

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.

Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

– Спите? – прошептал он. – Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия – они утомляют!!

– Милый, что с тобой? Ты бредишь?

– Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но – кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретила с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать, – это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя, никому не нужная борьба...

– Саша!!

– Что там – Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

– О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления – приближают тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты – чистая, добродетельная женщина только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот – гибнет всё! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватаящим за душу голосом.

V.

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, положил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

– Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя, едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера Генерального штаба, – чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшемся рыжеволосым сыном Марса² – это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и – не буду скрывать – даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злобно подмигивал ей и шипел:

— А что — кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го!
Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!



СЛУЧАЙ С ПАТЛЕЦОВЫМИ

*Что может быть хорошего из Назарета?*¹

Глава I. КЛЮЧИ



днажды летом в одиннадцать часов вечера супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от дверей своей квартиры — и ругались.

— В конце концов, — бормотал Патлецов, — это даже удивительно: стоит только поручить что-нибудь женщине — и она приложит все усилия, чтобы исполнить поручение как можно хуже и глупее!..

— Молчал бы лучше, — угрюмо отвечала жена, — уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся:

— В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе, — обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как ничего другого поблизости не было, — представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть переднюю дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне дверей. Как вам это покажется?

Солидный столбик от перил даже не улыбнулся, храня полное молчание, свойственное субъектам этого типа, а Патлецов, стремясь излить душу, не смутился молчанием собеседника и продолжал:

— И представьте, чем эта женщина оправдывается?! «А вы, — говорит, — картежники!» Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю мужа и, энергично обернувшись, спросила:

— Скажи: чего ты от меня хочешь?

— Мне было бы желательно знать — как мы попадем в квартиру?

Жена задумалась.

— Это ты виноват! Ты отпустил прислугу до завтра — ты и виноват. Если бы она была внутри, она бы открыла нам.

— Видели? — обратился к своему единственному другу — столбику Патлецов и заскрежетал зубами... — Я виноват, что отпустил прислугу?! А она ее нанимала — значит, она и виновата! А та заперла черный ход — она, значит, и виновата! А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок — он и виноват?!

— Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж, — возразила жена. — Если бы не вышла — ничего бы и не было...

— Что? Как вам это понравится?..

Если бы у столбика было какое-нибудь отверстие сверху — он зевнул бы им. Так всё это было скучно...

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично; за второй проект автор его удостоился одного только краткого слова:

— Ду-рак.

— Ну что ж, — кротко улыбнулся Патлецов. — Если я дурак, а ты умная — придумывай сама выход. А я вздремну...

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

— Ты чего?

— Мне страшно. Ступай за слесарем.

— Да какой же слесарь в двенадцатом часу? Все честные слесаря спят...

— Бери хоть нечестного. Мне всё равно!

Муж улыбнулся.

— Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками — он бы оборудовал всё это моментально.

— Поймай вора.

— Что ты, милая... Как же это так: поймай вора!.. Что это, блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной, скверной репутацией. Говорили, что в трактире гнездились разные темные личности, жулики не у дел и карманники, пропивавшие здесь дневную добычу.

Сначала то, о чем подумал Патлецов, показалось ему невероятно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, — план стал казаться гораздо проще, исполнимее.

«Во всяком случае, — усмехнулся про себя Патлецов, — это оригинально и, во всяком случае, никакого другого выхода, кроме гостиницы, которую эта дура отвергает, — нет!»

Он сказал жене, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава II. «НАЗАРЕТ»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом кисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную, липкую дверь.

На первый взгляд в «Назарете» не было ничего страшного: за столиками сидели легковые извозчики, истерзанные мастеровые и женщины, такие дешевые, что две из них равнялись по стоимости — порции рубленых котлет.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему:

— Не могу я навести у вас справочки?

— Ну? — сурово и подозрительно кивнул головой одноглазый.

— Мне нужен слесарь. Нет ли здесь между вашими... гостями слесаря?

— А вам для чего такого?

— Ключи от дверей потерял. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

— Бог их знает... Все они слесаря, так или иначе. Ходят тут всякие.

— Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю.

Я заплачу ему.

— Вон туда идите, — ухмыльнулся буфетчик. — Видите, в уголку роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возьмутся. Мне-то что!

В уголку сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя — Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

— Да вам что нужно, господин? — с каким-то неискренним удивлением спросил Зря, самый старший.

— Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

— Да мы всегда честно рубли зарабатываем, — с болезненным самолюбием вора заворчал Аркашенька.

— И прекрасно! Мне нужен слесарь... Ключи я от дверей забыл. Так — открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

— Не занимаемся.

— Как же так? А мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой бритый парень, с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

— Да как же так — ночью идти в чужую незнакомую квартиру, отмыкать какие-то двери — Бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

— Да я хозяин квартиры! — загорячился Патлецов. — Понимаете — хозяин! И я вам разрешаю... Мало того — я даже прошу вас об этом! Вы меня выручите...

В практике трех друзей это был редкий смехотворный случай — когда хозяин сам давал разрешение на то, что они делали всегда с душевной тревогой и тайным трепетом.

Тем не менее, Зря и Аркашенька отказались от предложения категорически.

— Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?!

— Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? — спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

— Заперто всё уже! Господи! А мне сказали, что тут в «Назарете» можно найти этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру? Мы бы с женой были вам очень благодарны... Чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сангиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина — будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебание раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

— Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава III. МИШКА САМАТОХА

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

— Нашел! Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в суконке были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический лязг. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил на подоконник суконку и развернул ее.

— О-ой, что это? — с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, — зачем так много?

— Инструменты, сударыня, — снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. — Разные тут.

— А это что?

— Это английский лобзик, — стал объяснять польщенный вниманием супругов Мишка. — Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

— А зачем, чтоб не слышно? — спросила жена.

Патлецов и Саматоха перебросились быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

— Это, изволите ли видеть, американский ключ — последнее слово техники — со вставными бородками: можно вставить какую угодно... вот набор бородок... Это обыкновенные отмычки, к сожалению, не полный набор, — всего двенадцать штук...

Невыносимые алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста... Он вертелся, щелкал пальцами по синеватой стали, гремел отмычками, с увлечением объяснял достоинства новой системы буравчика перед прежними и умилялся до слез, когда госпожа Патлецова робко дотрагивалась тоненькими холеными пальчиками до странных, таинственных приборов.

— Ну а как же вы откроете нашу дверь? — спросил Патлецов. — Этим, что ли?

— Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворней и с блеском. Он улыбнулся госпоже Патлецовой, вынул маленький крючок, как фокусник показал его публике, засучил рукава и принагнулся к замку.

— Только он уже не будет больше годиться, — предупредил он. — Ничего? Английские замки, видите ли, нужно сломать снаружи, чтоб открыть...

— Всё равно, — нетерпеливо сказал Патлецов. — Лишь бы попасть нам домой.

— Слушаю-с.

Послышался треск... Саматоха с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание глядевшей на его работу с любопытством госпожи Патлецовой.

И сам Патлецов был тоже неизмеримо заинтересован.

Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня. Он чем-то повертел в дверной щели, дернул, потряс ручкой двери и наконец быстро, эффектным театральным жестом радостно, как дитя смеясь, толкнул ее ногой.

— Пожалуйста-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты утомленного Саматоху и сказал ему:

— Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один... Он, насвистывая, занялся складыванием своих принадлежностей, любовно осматривал их, дышал на них ртом и потом чистил тусклый металл рукавом потертого пиджака.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась, и в ее светлом четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городской.

— А-ах! — крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

— Вот что, милый мой, — строго обратился к нему Патлецов. — Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком опасная персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оногo... Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении... Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом — благодарю покорно! Да я ночей не буду спать

.....

Когда молчаливого Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.



АРГОНАВТЫ

I.

В то время я стоял во главе одного сатирического журнала, и по обязанности редактора мне приходилось ежедневно просматривать уйму рукописей, присылаемых со всех концов России.

Произведения, которые присылались авторами с прямой и бесхитростной целью увидеть свое имя в печати, — были в большинстве случаев удивительными образчиками российской безграмотности, небрежности и наивности. Мотивы присылки рукописей были, по большей части, одни и те же, и излагались они всегда в начале препроводительного письма:¹

- «Говорят — попытка не пытка... Поэтому посылаю, в надежде, что» и т. д.
- «Не имея средств к существованию, решил выступить на поприще литературы и поэтому посылаю»... и т. д.
- «Не боги горшки обжигают, а поэтому прилагаемые стихи прошу напечатать»...
- «Будучи обременен многочисленным семейством, хотя и дьякон, хотел бы подработать на стороне, стихами или чем»...
- «Ввиду того, что все знакомые находят мои произведения недурными и даже великолепными, я посылаю их вам для печати. Гонорар — на ваше усмотрение»...

— «Очень бы хотелось видеть себя в печати. Поэтому посылаю стишки и, если поместите, со своей стороны обещаю способствовать художественному и литературному успеху издания».

А стихи были такие:

Скоро вспомнил я зимнее время,
Как гулял с тобой по горам,
Кругом снег, пелену расстилая,
Не давал нам гулять по горам².

Так что автор, даже при самом сильном, искреннем желании «способствовать литературному успеху издания», не мог этого сделать...

Однажды среди всего этого потока вздорных рассказов, безграмотных стихов и нелепых претензий мое внимание остановило письмо из каких-то Степанцов³, сопровождавшее стихи. И то, и другое было так удивительно, что я расхохотался, позвал сотрудников, секретаря и прочел послание из Степанцов еще раз.

Вот какое оно было:

Мы — я и брат — пишем вам об этом. Наша цель не столь строиться в славе своих ранних творений, сколько в получении авторитетных анализов наших с братом недосугов, что открыло бы нам альтернативы сокровищ в литературных подвигах грядущих сочинений. Мы с братом встречаем в наших юных корпусах моментов много невыносимых — даже до боли приведших дефектов, что много повредило нам в плавном сообразовании со всей литературной корпорацией. Мы запоздали. Но ничего! Нам еще нельзя упускать листву на безнадежное высушение и неозеленение. К сожалению, нравоучительной использованности в Степанцах нам не найти. Так что посылаем с братом свои произведения, и ежели ваш уважаемый журнал отнесется к нам инертно и напечатает — то посвятим свою жизнь великой литературе поэтических сообразований... Ответьте в «почтовом ящике» под фирмой «Абраму и Бациону Самуйловым из м. Степанцов».

При письме прилагались стихи обоих братьев, причем Абрам, обладавший, очевидно, пылким сангвиническим темпераментом, писал так:

СТИХИ

Тебя безумною любовью любя,
Готов отважиться на подвиг я опасный,
Но если ты обманываешь меня,
То знай, что мститель я ужасный!
Как ягуар, я кровожаден, зол,
Тебя я буду мучить пыткой смертельной,
Потом, вонзив в сердце тебе топор —
Расчет покончу с жизнью твоей изменной!!

Меланхолик Бенцион был прямой противоположностью своему порывистому брату... Тона у него были элегические, нежные, и даже стихи так и назывались: «Элегия».

Ты пела в сладостном томленьи:
«Милый мой, люблю тебя!»
Внимали сим речам в сомненьи
И звезды, лес, шептавшийся с природой...

*

Теперь же всё прошло... на век...
Нет больше этих чудных снов...
И так исчезнет всякий человек:
Бесследно также, как всё это.

Письма и стихи очень потешили секретаря и сотрудников.
— Какой же вы ответ дадите этим чудакам? — спросил секретарь.
— Увидите, — рассмеялся я.

На другой день я ответил в «Почтовом ящике» в ряду других юмористических шуточных ответов неудачникам пера и карандаша — и братьям Абраму и Бенциону Самуйловым из м. Степанцов:

Братья писатели! Приводим ваши стихи, представляя их на суд публики... Очень талантливо! Я думаю, все согласится с нами, что самое лучшее для вас — это забросить ваши степанцовские дела и приехать в Петербург, чтобы такие гениальные дарования развивались и совершенствовались в благоприятных условиях⁴. Довольно ли вам по 500 рублей в месяц заработку?

В ближайшем номере журнала «Почтовый ящик» был напечатан, и журнал разлетелся по всей необъятной России, вплоть до безвестного м. Степанцов.

II.

Однажды, когда я, сидя у себя, просматривал последнюю корректуру, мне сообщили:

— Вас на лестнице спрашивают каких-то двое.

Я вышел.

На площадке лестницы действительно стояли два худых грустных господина, обремененных чемоданом, парой подушек и какими-то коробками и сверточками.

— Что т-такое? — отшатнулся я в удивлении. — В чем дело? Вы, вероятно, не ко мне?

— Ну, если вы редактор, так к вам, а если вы не редактор — так не к вам, — сказал, дружелюбно улыбнувшись, старший человек.

— Мы прямо к нему, так сказать, к редактору, — подтвердил господин помоложе.

— Кто вы такие?

— Конечно, он нас не узнал, — обернулся один к другому.

— Конечно, раз они нас никогда не видели. Хе-хе! Мы братья. Братья Самуйловы. Он Абрам, а уж я — так Бенцион.

— Что же вам от меня угодно?

— Смотрите! — сказал Бенцион. — Этот человек так занят, что даже всё забыл. Мы же из Степанцов, которые стихи вам присылали, а вы еще написали — приезжайте — можно склеить гениальное дельце.

Бенцион толкнул Абрама в бок, и тот одобрительно, полный радужных перспектив, захохотал.

Я похолодел.

— И вы потому, что прочли мой ответ в «Почтовом ящике», — потому и приехали?!

— Ну конечно, — кивнул курчавой головой Абрам. — Зря на что мы бы не поехали... А так — отчего же!

— Сделайте милость! — подтвердил Бенцион.

Я стоял бледный, растерянный.

— Где же вы... остановились?

— А нигде. Прямо, как с вокзала, то — к вам. Стихов привезли — кучу! Три недели писали.

— Ну, хорошо... заходите через... четыре дня. Я подумаю.

Братья схватили свой чемодан, подушки, взялись за руки и послушно повернули к дверям.

— Постойте, — остановил я их. — А деньги-то у вас пока есть?

— Абрам, — с любопытством обратился Бенцион к брату, — а деньги у нас пока есть?

Тот полез в карман.

— Есть. Рупь с мелочью. Билеты стоят, извините, до черта дорого. Ну мы как-нибудь пока.

— Постойте! — нетерпеливо вскричал я. — Натё вам пока, а там увидим.

— Зачем? — удивился Абрам. — Ведь мы же еще не заработали.

— Это так принято — называется: аванс. Берите!

— Называется аванс, — подтвердил Бенцион. — Бери, Абрам. Отработаем!

Они застенчиво взяли деньги и ушли, а я весь день чувствовал себя в глупом положении неопытного, растерявшегося спирита, который вызвал духов, а что с ними делать — не знает...

Когда я рассказал в редакции об этом случае — весь день во всех углах стоял гомерический хохот.

III.

Братья пришли ровно через четыре дня.

— Здравствуйте, — сказал Бенцион. — Как поживаете? Нечего сказать — большой город Санкт-Петербург. А?

— Нечего отнимать время у них, — перебил его деловым тоном Абрам. — Вынимай стихи!

Оба, как по команде, вынули из карманов по пачке стихов и положили передо мной.

— Эти еще лучше, чем те, — сказал Бенцион.

— Ого! — захохотал Абрам, подталкивая ободрительно брата в бок. — Гораздо более!

Я развернул одну пачку, с тайной бессмысленной и беспочвенной надеждой — найти в ней что-нибудь мало-мальски годное для печати.

Первое стихотворение начиналось так:

Будет осень, но будет не время,
Скажут: милый знакомиться с ней,
С той красивой, пухлявой девчуркой.
Чей глазки печальны, как ночь!

— Хорошо, — нерешительно сказал я. — Зайдите через неделю. Мы их прочтем, посоветуемся.

— А? — торжествующе вскричал Абрам, подмигивая Бенциону. — Уже нас читают! Уже об нас советуются. Недурно, а?

— У вас еще есть деньги? — спросил я Абрама.

— Есть, — отвечал он — но по лицам братьев я видел, что денег у них нет.

Чтобы не слышать возражений, я сказал:

— Получите деньги! Это так принято. Всякий писатель, давая вещь для печати, еще раз получает аванс.

– Хорошее дело быть писателем, – удивился Бенцион. – Какой дурак Гришка Конухес, что он сидит в своей галантерее! Что такое, я спрошу вас – галантерея в Степанцах?.. Ха-ха!

Они раскланялись и ушли, а я схватил сам себя за волосы и заскрежетал зубами.

Через неделю они опять пришли, взявшись под руку, сияющие, полные самых радужных надежд.

– Ну?

– Пока ничего, – пожал я плечами. – Деньги у вас есть?

– Нет, – покачал головой Абрам. – Деньги мы у вас больше не возьмем. Мы узнали: таких правил нет – чтобы деньги брать да брать, а что же дальше?

Опустив голову, Бенцион тихо добавил:

– Ну, нам некоторые тут знакомые сказали, что стихи наши не такие гениальные, как мы думали.

Сердце мое сжалось.

– Ну что вы! Стишки ничего себе, да только...

В это время у меня сидел заведующий нашей конторой – грубоватый, мрачный старик.

– Да что, в самом деле, – стихи да стихи! Стихов у нас и так – хоть залейся!.. Вы бы лучше объявление хорошее принесли.

– Объявление? – удивился Бенцион. – Какое?

– Публикацию от какой-нибудь фирмы для нашего журнала. А то стишки – эка невидаль!

Братья стояли молча. Вздохнули и дружно сказали друг другу:

– Ну, идем.

– Ну, идем.

– Возьмите еще аванс! – крикнул я, хватая Бенциона за руку.

Он деликатно высвободился и ушел.

IV.

Однажды, когда я сидел, полный черных мыслей о своем легкомысленном поступке и о судьбе исчезнувших братьев, ко мне постучались.

— Ну? Кто там?

— Извините, — сказал Бенцион, протискивая вперед Абрама. — Мы еще раз к вам. Вот: не надо ли?

Протиснутый вперед Абрам положил мне на стол какую-то бумагу и застенчиво отскочил. Его место занял Бенцион, положил какую-то бумагу и, глупо улыбаясь, тоже отскочил.

«Еще стихи», — усмехнулся я про себя и робко заглянул в подсунутые мне бумаги...

— Что это?

— Объявления, — ухмыляясь, сказал Бенцион. — Вы хотели иметь объявления, так мы вам достали. Он — табачная фабрика, а я — корсеты и «друг человека — желудок».

Фирмы были солидные. Я позвал заведующего конторой и дал ему принесенные объявления.

— Молодцы! — похвалил их старик, будто они именно и сделали то, что от них требовалось. — Так и надо! Тащите еще. Принесли вы, приблизительно, полтораста двойных — значит, следует вам около 22-х рублей, что ли. Хотите получить?

Глаза Абрама сверкнули голодным огоньком, но он потушил его и, опустив голову, сказал:

— Мы должны.

— Должны, — как эхо, подтвердил Бенцион. — Ой, мы еще много должны!

— Пустяки. Это был аванс, — усмехнулся я. — Выдайте им. После сосчитаемся.

Братья просияли, подтолкнули друг друга, засмеялись и вышли вслед за стариком.

Я чувствовал себя на седьмом небе.

V.

Изредка я наводил в конторе справки об удивительных братьях Самуйловых. Мне сообщили, что сначала они показывались редко, объявления, очевидно, давались им туго, но потом — способности экс-поэтов развернулись пышным цветком.

Однажды, зайдя в конфектный магазин, я имел случай наблюдать братьев на их трудной, неблагодарной работе.

Не замечая меня, Бенцион стоял перед старшим приказчиком и убежденно говорил:

— Реклама есть двигатель торговли. Ни одна копейка, брошенная на рекламу, не пропадает даром. Все солидные фирмы сознали необходимость широкой рекламы, тем более в таком распространенном журнале, как...

— Мы никому вообще не даем объявлений, — сказал приказчик. — Наша фирма не публикуется.

Он ушел за перегородку, а Бенцион развел руками и обратился к продавщице:

— Помилуйте! Реклама — это двигатель торговли... Копейка не пропадает! Все солидные фирмы, которые коммерческие...

Барышня улыбнулась и занялась каким-то покупателем. Абрам взял за пуговицу господина в пальто и сказал:

— Вы не можете себе представить преимущества рекламы! Это двигатель торговли, и я удивляюсь...

— Да я покупатель! — сказал господин. — Ей-Богу, мне нечего рекламировать.

— Нечего? — удивился Абрам. — Очень жаль!

Он увидел меня и радостно поздоровался.

— Здравствуйте! Поймите, пожалуйста, что всякая коммерческая фирма, понимающая рекламу как двигатель торговли...

— Это вы не мне объясните, — засмеялся я. — А им.

— Я им уже объяснял... Чудаки! Не понимают... Имейте в виду — каждая копейка, потраченная на рекламу...

Мы все втроем вышли из магазина.

Я простился с ними, сел на извозчика и, уезжая, расслышал, как Бенцион говорил Абраму:

— Вы понимаете, что разумно данная реклама, которая есть двигатель торговли, должна оправдывать каждую истраченную копейку...

VI.

Недавно я получил записку без подписи, гласившую:

Если бы вы приехали сегодня вечером к Контану⁵, то это было бы очень хорошо. А если бы вы спросили там, где кабинет номер двенадцать? — то это было бы еще лучше... Не кушайте много за обедом. Ну? Приедете? Приезжайте...

Я усмехнулся и решил поехать.

В кабинете, как и можно было предполагать, находились братья Самуиловы. Увидев меня, Бенцион подтолкнул локтем Абрама, засмеялся и воскликнул:

— Он таки приехал! Он выпьет с нами рюмочку-другую шампанского за всеобщее процветание и за альтернативы сокровищ в литературных недосугах. Вы, может быть, думаете, что сделали глупость, выписав нас для работы в журнале? Позвольте вас удостоверить, что глупости здесь не было ни малейшей... Мы, ей-Богу, катаемся, как какие-нибудь сыры в маслах.

— Ого-го! — одобрительно сказал Абрам. — Этот редактор знает, что он делает. Он с расчетом делает.

Я засмеялся и крепко пожал повеселевшим братьям руки.

И начался наш веселый пир...

Хорошо пить, когда небо безоблачно.



СМЕРТЬ ДЕВУШКИ У ИЗГОРОДИ

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе, у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустно-рассеянный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятностей сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства...

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла бы ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся исключительно у сельских садовых изгородей, не забредая в шумные города.

С ними было бы легко: в худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность городская женщина: глаза ее ни на одну секунду не устремятся в беспредельную даль; глаза эти бегают, злые, ревнивые, подстерегающие тут же — около вас и вокруг вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в такой уютный мягкий пуховый платок, какой всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди; ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она протыкает свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей, и всё это с самым обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

* * *

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без всякого колебания причислить к числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучал женщин вообще, и — много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременно условием — не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

— А кем же ты будешь считать меня?

— Я тебя буду считать существом выше человека, — предложил я, — существом особенным, недостижимым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама — какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

— Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

— Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, — доказывает, что никогда мы с тобой не споемся. Я даже не буду говорить навязные в зубах слова о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины — это вздор! Просто мы разные — и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на один уровень с черным свинцовым карандашом — ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей!..

— Ну, поцелуй меня, — сказала женщина.

— Это можно. Сколько угодно.

Мы поцеловались.

— А ты меня будешь уважать? — спросила она, помолчав.

— Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать — ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания подымалась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволок и, очевидно, причиняли не меньше хлопот и беспокойств, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она, расчесывая свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая прийти ей на помощь, посоветовал остричься — она назвала меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

— Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности — кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

— Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, удобна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли, корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится, — сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

«Выдумаю-ка я для них башмаки», — решает в пылу своей ужасной работы этот таинственный человек.

За образец почему-то он всегда берет всё мужское, всё умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

«Гм... — думает этот человек. — Башмак... Хорошо-с».

Под башмак подсовывается чудовищный громадный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц и — бедная, обманутая доверчивая женщина обута.

«Ничего, — злорадно думает этот грубый таинственный человек. — Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочину. Для чего зонтики служат? От дождя? От солнца? У мужчин они большие, плотные? Хорошо-с. Мы тебе вот что сделаем: маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва свежего ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца благодаря своей микроскопической величине не спасает, и, кроме того, ручка в нем ежеминутно отваливается.

«Носи, носи, — усмехается суровый незнакомец. — Я тебе и шляпу выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно будет втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь! За тебя, брат, некому заступиться; мужчина с вашим братом подлецом себя держит».

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

— Вот, — сказала мне продавщица, — модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

— Что это?

— Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. 12 рублей. Есть такие же из композиции — 9 с полтиной, но без серебряной ручки.

— А есть у вас, — с тонкой иронией спросил я, — клей для приклеивания выпавших волос на старое место?

— На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли новинку — аппарат для извлечения головных шпилек, завалившихся за спинку вагона?

— Благодарю вас, — холодно возразил я. — Я скорее попытаюсь это сделать с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

Жившая у меня городская женщина проводила время так: просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был виноградный сезон, то — что-нибудь другое: плитку шоколада, лимон с сахаром или конфеты.

Читала газеты: именно те места, в которых говорилось о Турции.

— Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды.

— Они такие милые. У тети жил один турок-водонос, черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, будто убеждаясь, прочно ли он сидит в своем гнезде, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мной накануне.

Через пять минут она заливалась слезами.

— Зачем ты ее купил?

— А что?

— Почему непременно — «Историю маленькой блондинки»? Потому что я — брюнетка? Понимаем-с, понимаем.

— Ну?! Еще что?

— Я знаю: тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо. Ты глубоко в этом раскаешься.

— В чем?

— В этом.

Она плакала, а я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

— Луша, — спрашивала горничную жившая у меня женщина, — зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

— Да он не заходил.

– Ступайте!

– Это еще что за шгуки?! – кричал я сурово.

– Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты изменяешь мне с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

– Дай мне слово, что, когда ты меня разлюбишь, – ты честно заявишь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство!

Недавно я пришел к ней и сказал:

– Ну, вот. Я и разлюбил тебя.

– Не может быть! Ты лжешь! Какие все мужчины негодяи.

– Мне не нравятся городские женщины, – откровенно признался я. – Они так запутались в кружево и подвязки, что их никак оттуда не выгатишь. Ты глупая изломанная женщина, ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами! Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защитил бы нас двух от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусное кофе. Она будет тоже женщиной, но все-таки это другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платье и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания попавших в глаз соринки!

– Ну, поцелуй меня, – сказала слушавшая меня очень внимательно женщина.

– Не хочу. Я тебе всё сказал. Целуйся с другими.

– И буду. Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него никого и нет. Не беспокойся, милый. Поманю – толпой побегут.

— Прекрасно. Во избежание давки советую тебе установить с помощью наряда полиции очередь. Прощай!!

И ушел.

На другой день к сумеркам я уже нашел всё, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь...

Я упал перед ней на колени и заплакал.

— Я устал и весь изломан. Исцели меня! Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

— Встаньте! Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь.

Не надо плакать... Мы будем счастливы.

— У меня было прошлое! — сказал я. — У меня была женщина.

— Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, значит, у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла — в то время как я осыпал поцелуями ее дорогие для меня ноги (в ботинках на низких каблуках):

— Не надо, не надо...

Через две недели я, свежий, молодой, переродившийся, вез ее к себе в тот город, где жил, — с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накопили у меня на глазах, когда я бросал мимолетный взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое, трогательное.

Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный, гудевший, как громадный шмель, город.

— Она здесь? — неожиданно спросила меня моя спутница.

— Кто — она?

— Эта... твоя...

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Вдруг вы... будете с ней встречаться? А?!

— Милая! Раньше ты так не говорила. И потом — это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.

— Ах! Это, мне кажется, всё равно. Зачем ты сейчас посмотрел на ту высокую женщину?

— Да так просто.

— Так? Но ведь ты же мог смотреть на меня!

Она сразу сделалась утрюмой, и я, чтобы рассеять тяжелое положение, предложил:

— Зайдем в этот магазин. Мне нужно купить воротничков.

— Зайдем. И мне тоже кое-что нужно.

В магазине она спросила:

— У вас есть маленькие кружевные зонтики?

Я побледнел.

— Милая!! За... чем... Они же неудобны. Лучше большой...

— Большой? Что ты такое говоришь? Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики? Это не деревня!.. Послушайте! У вас есть подвязки, знаете, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах... да не эти! Дайте с высокими каблуками, еще выше... еще!

И я сидел, молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и искаженным страданием лицом, и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из кружевных хрупких зонтиков и как на них причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе — резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

«Modes et robes»^{*}.

Девушка отошла от изгороди и — умерла.



^{*} «Моды и платья» (*фр.*).

МАЛЬЧИК С ЗАТЕКШИМ ГЛАЗОМ

(О критиках)

I.

Критиков мне приходилось встречать с самого детства.

Будучи семилетним мальчиком, я однажды прыгал по двору, подбрасывая в то же время камушек и стараясь после каждого прыжка снова поймать его. Тогда это доставляло мне громадное удовольствие, которое теперь я бы уже не пережил, пытаясь повторить это, — потому что сделался я человеком взрослым, тяжелым и пресыщенным подобными удовольствиями.

Прыгая таким образом, заметил я мальчишку с синяком под глазом, приблизившегося ко мне и очень заинтересованного моими телодвижениями.

Это был типичный критик.

— Вот-то дурак! — сказал он, неодобрительно шуря затекший глаз.

— Почему дурак?

— Да это ж легко. Это всякий сделает.

— А как надо?

— Ты попробуй так: закрой глаза, подпрыгни, подбрось камень высоко-высоко, да и поймай его. Вот это будет штука!

Мне очень хотелось заслужить одобрение мальчишки с затекшим глазом. Очевидно, это был понимающий человек, хорошо знакомый с подпрыгиванием и подбрасыванием камней, а я был начинающий дилетант, новичок.

Я сделал всё по указаниям критика: зажмурил глаза, подпрыгнул, метнул высоко камень и сейчас же услышал звон разбитого стекла и чей-то болезненный крик.

Сначала меня отколотила проходившая мимо кухарка, в голову которой попал камень, разбивший до того в своем полете оконное стекло; потом колотил меня квартирант, окно которого пострадало от камня, а потом я перешел в руки случайно проходившего по двору человека, равнодушного к моему поступку, но поставившего, вероятно, целью доставлять себе время от времени дешевое невинное удовольствие: избивать подвернувшихся под руку детей.

Мальчишка с затекшим глазом терпеливо перенес побои, которые выпали на мою долю.

Когда все ушли, я размазал по лицу слезы и сказал ему с упреком:

– Видишь! Вот тебе — и попробовал.

– И дурак.

– Да почему же дурак? Ты ведь сам сказал.

– Молчи, сволочь...

Он ударил меня грязным кулаком по шее и, переваливаясь, ушел, с невыносимо наглым видом.

С тех пор я этого мальчика не видел. Куда он ушел? — Бог весть. В какой газете он сейчас сотрудничает? — Совершенно неизвестно. И тем не менее, я его встречаю...

II.

Первую книгу моих рассказов критика встретила с некоторым интересом и отметила появление ее целым рядом статей¹.

Запомнились мне несколько статей...²

- 1) Над русской литературой висит какое-то заклятие... В России не может быть настоящего жизнерадостного смеха, он всегда переходит в злую, брызжущую бешенством обличения сатиру; таковы все рассказы писателя, которому посвящается эта статья. Всё время из каждой строки глядит на вас искаженное мучительной гримасой боли и ужаса лицо автора. Это не Марк Твен и даже не Джером. Это скорбная гримаса Чехова.

- 2) Странно читать эту книгу, книгу утробного жизнерадостного смеха, в то время, когда лучшая часть интеллигенции сидит в тюрьмах, когда самодеятельность общества задавлена, когда администрация не разрешает даже открытия потребительной лавки при станции Малаховка. Нет! Не смех как самоцель нам теперь нужен, а ядовитый бич сатиры нам теперь нужен. Автор усиленно подражает Мопассану и Горбунову³. Спрашивается — похож ли он по манере письма на Чехова? Нисколько⁴.
- 3) Автор изображает быт — и только. Ни смеха, ни юмора в книге нет. Это быговые вещички, и они могут быть комичны постольку, поскольку комичен сам быт. В рассказах нет ничего общего с рассказами Чехова, но можно отметить сильное влияние на писателя Глеба Успенского. Пыгается подражать молодой литератор и Достоевскому.
- 4) Глупое гоготанье никогда ни в ком не вызывало восторга. Подражать Лейкину легко, но как отнесется к этому читатель — вот вопрос. Человек, который хочет, если ему показать палец... Что делать такому человеку в великой русской литературе, хранящей заветы великого Белинского и Добролюбова? К сожалению, у автора с Чеховым нет ничего общего...

Я читал критические статьи и не знал, как мне быть? Я понимал еще тех критиков, которые находили, что я подражаю Виктору Гюго или Эдгару По. Но зачем некоторые из них считали нужным отметить, что я нисколько не похож на Чехова, Писемского и Октава Мирбо?⁵

Я очутился в положении того молодого человека, к которому подошел праздный прохожий и с любопытством спросил:

— Вы не сын здешнего городского головы?

— Нет. А что? — совершенно искренно сказал тот молодой человек.

— Я так и думал: вы на него совсем не похожи.

Что делать нам, бедным писателям?

Я помню одного знакомого критика, который очень любил, когда я в большом обществе читал вслух свои новые произведения.

Он слушал чтение с удовольствием. Когда я кончал, он одобрительно кивал головой и задумчиво говорил:

— Очень хорошо!.. Только помнится мне, что я где-то уже что-то подобное читал.

Спина моя холодела.

— Не может быть! — испуганно говорил я. — Где же вы могли прочесть? Я только сейчас это написал. Только сегодня!

Он мялся.

— Мм... не знаю. Может быть. Но хорошо помню, что где-то в каком-то журнале я читал уже почти такую самую вещь.

Я схватывал его за руки, сжимал их и, чуть не плача, молил:

— Где? Где вы могли прочесть? Ну, вспомните!!

— Право, не припомню. Самый факт остался в памяти, а названия журнала и год издания не запомнил.

И всё впечатление от рассказа пропадало, всё настроение было испорчено.

И все слушатели были на его стороне, а на меня поглядывали иронически, и я читал в их взглядах:

«Что, батюшка? Стянул? Попался?!»

Опозоренный, я уходил и, уходя, был твердо уверен: критик просто хотел блеснуть своей эрудицией, зная, что поймать его никак невозможно, и зная, что я совершенно беззащитен в этом случае.

У него было какое-то ужасное право на меня, неизвестно кем ему данное. А у меня на него не было никаких прав. Он со мной мог сделать всё что угодно, а я только мог тайком по ночам плакать и с кротостью молить Всевышнего, чтобы Он послал ему изнурительную лихорадку или эпилепсию.

Но Бог терпел его.

Бог стерпел даже его критическую статью обо мне, в которой он упрекнул меня за недостатки и безграмотность моего слога, — причем написал об этом так:

Автор приводимого юмористического рассказа, который еще молодой, в доказательство чего можно привести много погрешностей в слоге вышеозначенного, что и объясняется этим качеством.

III.

За время моей литературной деятельности я получил целый ряд очень ценных советов, которыми за недосугом не воспользовался.

— Зачем вы пишете рассказы? — спросил меня однажды знакомый.

— Да так. А что?

— Напишите-ка роман.

— Почему?

— Ну вот... Как же без романа? Обязательно напишите.

— Я бы и написал, — нерешительно возразил я, — но вот Петров находит, что я и так пишу большие вещи, Петров говорит, что теперь время миниатюр в сорок строк.

— Ваш Петров осел.

И если бы мой собеседник был моложе и если бы один глаз у него был подбит — в нем без труда можно было бы узнать мальчишку-критика, который советовал мне бросать камушек с закрытыми глазами.

Этот странный мальчишка день-деньской торчит около меня и мешают мне работать.

— Ты что пишешь-то? — спрашивает он, глядя через плечо и щури подбитый глаз.

— Рассказ.

— И глупо. Пьесу нужно писать, а не рассказ.

Я уверен, что, если бы я отложил в сторону рассказ и начал писать пьесу, он снова ввязался бы в мою работу.

— Что ты делаешь?

— Пьесу пишу.

— Брось ее. Отчего бы тебе не написать повести из фабричного быта?

Если бы я ответил ему категорически:

— Не желаю.

Он тут же вздул бы меня.

И вот я отмалчиваюсь, а мальчишка бегаёт за мной и всё советует:

— Пиши политические памфлеты! Отчего бы тебе не попробовать написать стихи? Мне кажется, тебе бы должны удаваться пародии!

Мы с ним никогда не поймем друг друга.

Я до самой своей смерти не прощу ему случая с моим рассказом «Праведник»⁶. Однажды, будучи в хорошем веселом настроении, я написал юмористический рассказ: хозяин дома восхищается прямолинейностью и откровенностью гостя, который много терпел за эти качества; хозяин преклоняется перед гостем, превозносит его, а гость, улучив минуту, набрасывается на хозяина и начинает обличать и разносить его с такой прямолинейностью, что для хозяина остается только один выход — выбросить моралиста-гостя за дверь.

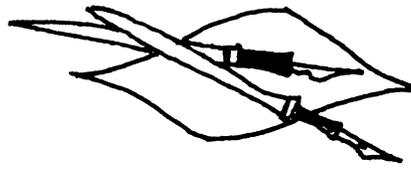
Написав это, я был уверен, что написал презабавный юмористический рассказ. Но мальчишка с затекшим глазом не дремал. Он наткнулся на этот рассказ и написал о нем следующее:

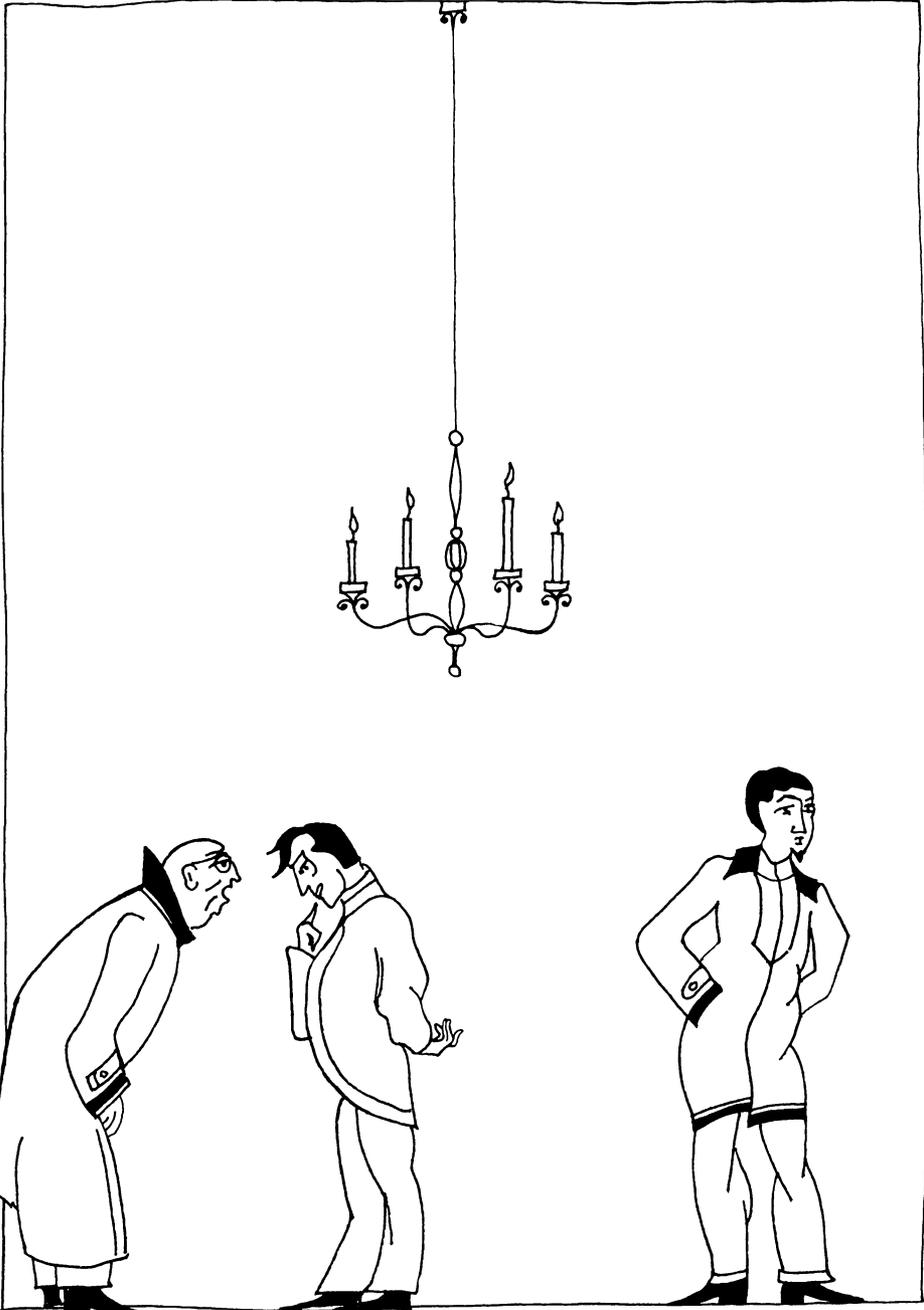
Глубокая безысходная трагедия разыгрывается на протяжении нескольких страниц этого рассказа. Сердце щемит, когда подумаешь, сколько приходится вытерпеть человеку, ратующему за правду, как встречает этого пророка тупой косный индивидуум, шкура которого зачерствела и сердце превратилось в камень. Глубокий пессимизм автора и безотрадность всей вещи доказывает, что молодой писатель вступил на какой-то новый путь — путь беспросветного отчаяния. Со своей стороны мы приветствуем этот переход — от пустынных смешных рассказов — до подлинного произведения серьезного искусства. Влияния Чехова не чувствуется.

Попробовал бы я, по совету мальчишки с затекшим глазом, — вступить на этот путь «бросания камнями с закрытыми глазами»! Читатель немедленно набросился бы на меня и поступил бы со мной по примеру кухарки, квартиранта и того случайного господина, который так любил доставлять себе бесплатное удовольствие — колотить беззащитных детей.

А мальчишка с затекшим глазом стоял бы около, терпеливо перенес бы все доставшиеся мне побои, делая вид, что это не он заварил всю кашу, и, пожалуй, после всех — добил бы меня окончательно.

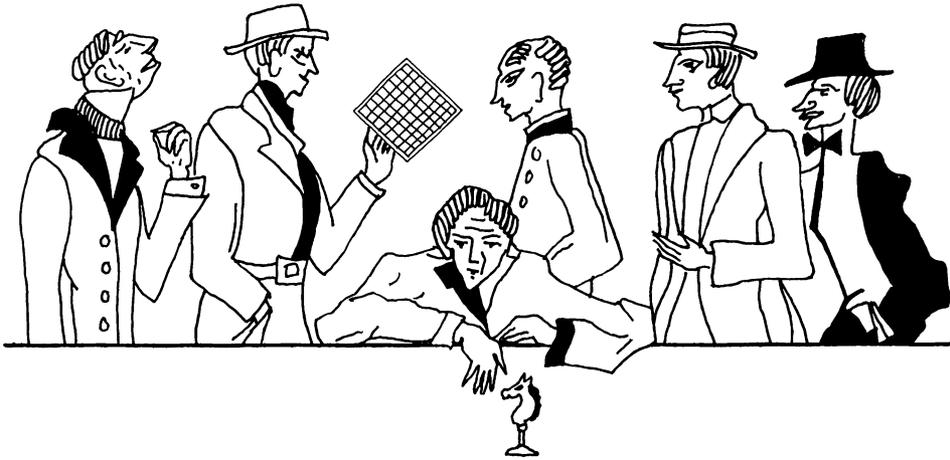






КНИГА ТРЕТЬЯ





ДЕБЮТАНТ

Некоторые болезни требуют героических средств.

I.

Всё несчастье в том, что я очень мягок и добросердечен. У меня никогда не хватает духу прямо сказать дураку, что он глуп, или осадить нахала, когда он этого заслуживает...

В качестве театрального режиссера я хотел бы для себя более твердости и прямизны в обращении с людьми. Но раз у меня этого нет — я избираю другие пути.

Вчера, после репетиции, в мой кабинет ввалился какой-то грузный бородатый человек и, ни слова не говоря, плюхнулся в кресло около моего стола.

— Вы, что ли, режиссер? — кивнул он на меня лохматой головой.

Я поспешил удовлетворить его любопытство.

— Вам, вероятно, нужны способные, талантливые артисты?

Дружеское подмигивание глазом, последовавшее за этим вопросом, пробило брешь в сухой официальной нашей беседе, и я, хлопнувши его по коленке, игриво ответил:

— Голубушка!! Кому и когда они не нужны?!

Он встал, заложил одну руку за борт скюртука, а другой небрежно взъерошил себе волосы.

— В таком случае, как я вам нравлюсь?

Бросив на него беглый взгляд, я, без всякого колебания, поспешил сказать, что лично против него ничего не имею.

— Вот видите!.. Я, может быть, рожден этим... как его!.. Тамберликом¹, а мне приходится служить бухгалтером кирпичного завода.

Выраженное мною горькое сожаление и опасение, что подобные ужасные случаи, вероятно, не единичны, — заставили его ободриться.

— Знаете, вы, кажется мне, человек понимающий... Сколько бы вы могли дать мне жалованья, а?..

Головокружительная быстрота, с которой посетитель перескочил к материальной стороне предполагаемой сделки, немного испугала меня... Я вкрадчиво заметил:

— Но я, простите... не знаю ваших способностей!.. Если бы дать вам дебют.

— Естественно! Но я в себе не сомневаюсь. А скажите... 400—500 рублей в месяц не показались бы вам высоким жалованьем?

Я незаметно улыбнулся и сказал:

— Это? Да это гроши! Если дело сладится, я вам, может быть, ухитрюсь дать и больше... Вы где же играли раньше?

— Вы Помидоровых знаете? Нет? Изумительно! Я у них два раза играл на любительских спектаклях!! Успех колоссальный!!!² Один раз я играл «На пороге великих событий»³, а другой — «Простодушная и ветреная»⁴.

— Это, кажется, хорошие пьесы, — осторожно заметил я, делая над собой некоторые усилия, чтобы сохранить серьезный деловой вид. — Итак, чтобы не откладывать в долгий ящик, приходите завтра в театр. По случаю воскресного дня у нас идет дневной спектакль, и если вы придете около часу, то, может быть, я дам вам роль. Я думаю, что, с вашими способностями, вы сумеете сыграть без репетиции, под суфлера.

– О-о, помилуйте! Для человека способного репетиция только и является теми кандалами, которые сковывают полет его свободного творчества! Не правда ли?..

– Вы рассуждаете, как Гаррик!⁵

Потолковавши о подробностях, мы расстались, очень довольные друг другом.

Весь вечер я был в великолепном настроении и за ужином, среди своих мыслей, неожиданно засмеялся.

II.

Воскресенье. Час полудни. Вследствие страшной духоты июльского дня все мы ходим, как разваренные. Полусонные, задыхающиеся от жары актеры лениво перебраниваются в своих уборных. Железная крыша и стены театра накалены так, что в некоторых местах больно притронуться.

Бухгалтер кирпичного завода был аккуратен, как всякий бухгалтер, и появился смущенный, но счастливый, ровно в час. Я едва узнал его, потому что усы и борода были сбриты и даже волосы на голове коротко острижены.

– Для удобства, в смысле парика, – пояснил он мне после, поглаживая голову.

В руках у него был узел с костюмами, парик и ящик гримировальных красок.

Лень и истома моментально покинули меня. Я встретил его преувеличенно-восторженно и тотчас же потащил в свою уборную, провожаемый вопросительными взглядами актеров.

– Раздевайтесь! У нас сегодня идет «Ревизор», и вам, кажется, есть ролька. Вы помните пьесу?

Его радостный взор омрачился.

– Да... Ре...ревизора! Помню... но очень смутно!⁶

– Это пустяки! Ведь вам сказать только несколько слов, и то под суфлера... Вы будете играть отца Хлестакова...⁷

— Ага! Отца... Кажется, что мое... это, как его... ампула — именно отцы.

— Ну вот видите. На первый раз я одену и загримирую вас. Раздевайтесь! Вот так... Нет, уж будьте добры и сорочку снять!

— За...зачем же сорочку?..

— А как же! Вы, вероятно, знаете, что самый некрасивый жест на сцене — когда артист нелепо взденет руки кверху. Это жест, от которого не могут отвыкнуть самые лучшие актеры... И вот есть средство, которое помешает вам сделать это.

Я взял два больших куска треса* из бухгалтерского запаса и, намочив их обильно лаком, положил обнаженному дебютанту под мышку.

Он был изумлен чрезвычайно.

— Представьте, что я этого не знал!!

— Как же! Теперь одевайтесь... Так как вы должны дать тип очень полного человека, то вам нужно надеть, по крайней мере, трое брюк... Вот так! Теперь четыре или пять сорочек дадут вам необходимую полноту верхней части тела.

Пыхтя и отдуваясь, он натянул всё предложенное мною и, с мужественным видом, стал ждать дальнейшего.

— Что-то мне кажется, что вы всё еще худоваты... Правда, сверху будет зимнее пальто, но этого мало. Вот что... У нас есть зипуны⁸ из бытовых пьес... Я могу подобрать парочку на ваш рост... А сверху пальто! Правда, будет душновато, но для типа... Жертва святому искусству! Как? Вы говорите — сапоги очень жмут? Ага! Это потому, что они тесные. Ну, потерпите! Это тоже жертва... Не так ли?..

Его оживление стало пропадать, и он нерешительно согласился со мною.

Через пять минут передо мною стояло ужасное чудовище необъятной толщины. От тяжести одежд оно качалось на ногах, как тростинка, и пот стекал с пылающего лица обильными ручьями.

— Теперь я вас загримирую... Садитесь.

Он беспомощно заморгал глазами.

* Волосы для наклеивания усов и бород.

— Дело в том... Что я не могу сесть!..

— Ага! Вам мешает пальто, — догадался я. — Ну, это можно сделать стоя.

Натянув на него громадный рыжий парик, я вынул карандаши и стал без толку, первыми попавшимися цветами, разрисовывать его лицо. Он любовался на себя в зеркало и вдруг в ужасе воскликнул:

— Послушайте, зачем же вы мне нос намазали зеленым?..

Я снисходительно улыбнулся.

— Вы, вероятно, не знаете, дорогой мой, что со сцены зеленый кажется розовым. Это вина проклятого электрического освещения... Но мы уже приспособились к этому! По той же причине я вам щеки делаю светло-голубыми. Это придаст вам вид хорошо пожившего человека.

Он благоговейно посмотрел на меня и, смущенный, замолчал.

Его шарообразная фигура в рыжем парике, с размалеванным индейски лицом, производила убийственное впечатление. Я заклеил ему ухо тресом и облегченно вздохнул:

— Готово! Теперь запомните: роль отца Хлестакова заключается в том, что он выходит, неся в одной руке персидский ковер, а в другой — кулек с винами и сахаром... Выйдя на сцену, он обращается к городничему со словами: «Получите обратно ваш ковер и эти купеческие подарки! Знайте, что Хлестаковы вообще, а мой сын в частности, не берут взяток!!» Каратыгин⁹ говорил эти слова так, что театр дрожал от рукоплесканий. Вероятно, и вы не ударите лицом в грязь?..

Он страдальчески улыбнулся и прохрипел, что не ударит.

Я навьючил его тяжелым ковром, кульками и повел за рукав к кулисам, выбравши то место, где стена наиболее накалена беспощадным солнцем.

— Вот, стойте здесь! Боже вас сохрани поставить эти вещи на пол, потому что я могу каждую минуту попросить вас на сцену, а нагибаться вам будет трудно!

Он покорно стал на место, а я обратился к другим, менее важным, делам.

III.

Первый и второй акт я был занят по горло, но перед третьим, заглянувши в угол, был совершенно удовлетворен видом ужасающей горы платья... Наверху этой горы, подобно заходящему солнцу, пылало багровое лицо, с которого ручьи пота смыли весь грим...¹⁰

После четвертого акта я подумал, что он умер, так как застал его прислонившимся к раскаленной стене, но слабое моргание потускневших глаз успокоило меня.

После пятого акта раздался взрыв аплодисментов. Я распорядился не поднимать пока занавеса на вызовы, а побежал к дебютанту и крикнул:

— Выходите!!

Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом и что-то промывчал.

— Выходите, черт возьми, или вы провалите мне пьесу!!

Шатаясь, при моей помощи, он выбрался на сцену, сопровождаемый словами: «Помните же: “Получите обратно ваш ковер” и т. д.»

Всю эту галиматью бухгалтер добросовестно повторил заплетающимся языком, под аплодисменты публики и перед опущенной занавесью, — чего он даже не заметил.

Я втащил его обратно в уборную и сказал:

— А молодцом вы сыграли!.. Слышите, какие аплодисменты? Раздавайтесь!

Он упал на диван и глухо простонал:

— Вся штука в том... что я... не могу поднять рук!

Я весело улыбнулся.

— А... это трес действует! Вы можете убедиться в радикальности средства!

— Я убедился.

Для того чтобы раздеть его, потребовалось пригласить двух плотников. Пять нижних сорочек были мокрые, и даже один армяк¹¹ пропитался потом.

Я вытер бухгалтеру лицо вазелином и, умывши его, дружески сказал:

— Ну-с, а как же условице?.. Подпишем? Вы мне нравитесь.

— Я... — прохрипел он страдальчески. — Я... устрою свои некоторые дела, а потом... по... подумаю.

Избегая моего взгляда, он распрощался и ушел.

Больше я его не видел.



КОРЕНЬ ЗЛА

В агон конки, переполненной публикой. Кондуктор тянет за рукав плохо одетого, угрюмого господина в опорках¹ и кричит ему на ухо:

— Эй, ты! Покажь билет!..

Желчный господин, сидящий около (*возмущенно*). Что ты, скотина, с ним брудершафт пил, что ли? Будь повежливее!

Бритый господин (*сочувственно*). Эти свиньи, если видят, что человек плохо одет, то и...

Желч. госп. (*язвительно*). Ах, он, по-вашему, плохо одет?.. Если вы нацепили дурацкий красный галстук, то и думаете, что важный барин?

Брит. госп. (*кричит, багровея*). Что-о?! Вы пьяны, вероятно! Нахал!! (*Обращаясь к соседке слева, с подвязанной щекой*). Как вам это нравится?

Соседка слева. Слушайте, не кричите мне над ухом! Вы совсем меня оглушили...

Брит. госп. Ах, отстаньте от меня с вашим ухом!..

Гимназист справа (*задорно*). Будьте вежливее с дамами, милостивый государь!..

Мастеровой (*сзади, иронически*). Вы бы, барчук, молоко мамашино на губках обтерли...

Соседка слева (*не расслышавши*). Какой мамаша? Что вы меня навязываете в мамаша каждому мальчишке!

Гимназист. Я не мальчишка и, вообще, прошу вас...

Соседка слева. Кондуктор, кондуктор, меня здесь оскорбляют.

Брит. госп. (*указывая на желчного*). Кондуктор! Убери этого человека, он грубит пассажирам...

Желч. госп. А зачем он привязался ко мне! Вишь ты, костюм у моего соседа плох! Тоже, птица важная!..

Гимназист (*нос у него покраснел и на глазах видны слезы*). Кондуктор, будьте свидетелем, эта дама назвала меня мальчишкой!

Брит. госп. А вот этот сказал, что у меня галстук дурацкий...

Кондукт. Не кричите все зараз, господа. Вас много, а я один! (*К брит. госп.*). Он вас оскорбил?

Желч. госп. Нет, не я его, а он меня! Па-аз-вольте!! Он говорит...

Кондукт. Пожалуйте с конки. Здесь нельзя безобразить...

Брит. госп. С какой стати! Вот еще...

Дама слева. И вот этого мастерового, кстати, уберите! Он грубит. Пьян, кажется...

Мастеровой. Не на твои деньги напился.

Страшный шум. Конка посредине пути останавливается. Больше всех кричат: бритый господин, желчный, дама слева, гимназист и мастеровой. Плохо одетый господин прижался в угол и, молча, пугливо озирается. Слышны возгласы остальных, желающих двинуться дальше: «Городовой! Городовой!..» Медленно подходит городской. Он лениво обводит глазами пассажиров и с апатией на деревянном лице спрашивает:

— Ну чего тут еще не поладили? Ты, рыжий, чего руками размахался?! Не птица, не полетишь!

Дама. Вот его возьмите!

Мастеровой. Меня-а? Ловка больно!

Городовой. Ты чего же это? Вот я те шею как наглажу!..

Мастеровой. Да что же я, господин городской! А как эти, будем говорить, гимназисты...

Гимназист. Ну! А я-то причем!

Городовой. Так, как же это вы, молодой человек, а?..

Гимназист (*гордо*). Прежде всего, представителю отживающего полицейско-бюрократического режима я никаких показаний давать не намерен. Но для восстановления... восстановления истины должен сказать, что эта дама оскорбила меня неуместным прозвищем мальчишки...

Дама. А зачем же вы...

Гимназ. Я за вас заступился! Этот господин кричал вам на ухо...

Брит. госп. Да как же не кричать, если вот этот говорит мне, что у меня галстук дурацкий...

Желчн. госп. Потому и сказал, что вы позволили себе отозваться невежливо о костюме этого вон человека (*указывает на плохо одетого господина*).

Плохо од. госп. (*конфузливо, робко*). Я что же... Я ничего не имею...

Городовой (*до сих пор тупо выслушивающий претензии, оживляется и устремляет строгий взгляд на плохо одет. госп.*). Это ты что же! А? Безобразить? Да я тебя!! Пошел вон с конки!

Пл. одет. госп. Господа! Милостивые государи! За что же я-то...

Городовой. Но-но-но! Поговори еще! Проваливай!

Кондуктор. Так его, так! Смуты только из-за него! (*Выпроваживает, вместе с городовым*).

Желчн. госп. (*глядя вслед удаляющемуся пл. одет. госп.*). А у него, знаете ли, в самом деле что-то подозрительное в лице...

Брит. госп. (*дружелюбно*). Ну, не я ли это первый заметил!..

Дама слева. Такому и в карман залезть — плевое дело!

Мастеровой. Обломать бы ему бока, знал бы тогда... (*К гимназисту*). Дозвольте папироску!..

Гимназист. Сделайте одолжение! Вы эс-эр² или эс-дек³?



КОСА НА КАМЕНЬ

I.

Репортер Шмурыгин вышел из редакции в крайне угнетенном состоянии духа. Удручала его проборка, заданная редактором за доставление несвежего материала.

Последнюю остроту редактора он находил даже пошлой:

— Если вы думаете, что всякая дичь должна быть несвежей, то жестоко ошибаетесь. Тем более что ваши утки большей частью доморощенные¹.

— Это ты кому говоришь! — шептал, идя по улице, пасмурный репортер. — Ты говоришь, волосатый черт, представителю прессы! За это теперь отвечают!..

Потом он стал мечтать:

«Хорошо бы, если бы этот дом вдруг моментально провалился! Эффектная вещь. Строк на сто. Или какой-нибудь автомобиль чтобы с размаху въехал в зеркальное стекло кондитерской. Воображаю, как позеленел бы Абзацов! А то он всюду со своим длинным носом первый поспеет».

С житейских событий он перешел на политические:

«Хорошо бы депутатов стравить на драку... Потом — впечатлений, интервью, показаний очевидцев — рублей на сорок². Пойти разве и сказать одному правому депутату, что другой депутат назвал его идиотом. Тот ему задаст за идиота! Разве можно так оскорблять парламентского деятеля?! Да что толку... Потасовки-то ведь я не увижу. Ну времена! Хотя бы на самоубийство какое, самое паршивое, наскочить».

И вслед за этой мыслью репортер вздрогнул, будто пронизанный электрической искрой...

Он увидел себя на пустынном мосту через Фонтанку³, куда завели его сладостные грезы о несбыточном, и увидел не только себя, но и

другого человека, свесившегося через перила моста и якобы любовавшегося гаснувшим закатом.

«Э! — сказал самому себе Шмурыгин. — Зачем бы этому фрукту торчать здесь без дела и любоваться черт знает на что. Ясно, что парень ждет удобной минуты, чтобы, — он не был бы репортером, если бы не сказал этой фразы, — чтобы покончить все расчеты с жизнью».

У него ни на минуту не явилось мысли удержать предполагаемого утопленника от самоубийства. Человек в нем спал беспробудно. Проснулся репортер, настойчивый, любопытный и хладнокровный.

«Может быть, черти унесут меня отсюда. Но сам я ни за что не отойду от этого моста. Покажу я им, какая у меня дичь бывает. Сам, напишу, видел. Га! Восторг что такое!!»

И он, как ворон у падали, стал кружиться около моста.

II.

Молодой человек не замечал ничего, что делалось вокруг него.

Репортер ясно видел, как он, стоя всё в той же позе, судорожно цеплялся пальцами за верхушку перил, что-то бормотал про себя и, нахмутив брови, упорно, сосредоточенно смотрел на плескавшуюся под ним влагу.

— Тоже не легко бедняге решиться, — проснулся на секунду в Шмурыгине человек, но репортер внутренне показал человеку кулак, и тот спрятался.

— И чего тянуть вольнку. Не понимаю! — сказал репортер.

Так, в томительном ожидании, с одной стороны, и бормотании с нахмуренным страдальческим взглядом, обращенным на воду, — с другой, прошло полчаса.

Шмурыгину так надоело нудное ожидание, что он решил помочь событиям.

Подойдя к перилам и тоже облокотясь на них, Шмурыгин стал беззаботно смотреть вдаль.

Потом покосился на соседа и непринужденно сказал:

— Каков закатец-то, а?

— Чтобы черт побрал этот закатец. Меня бы это вовсе не огорчило! — ответил угрюмо молодой человек.

«Ага! Меланхолия! — подумал репортер. — Тем лучше».

— В сущности говоря, вы правы. Что такое закат? И что такое наша жизнь вообще? Так, одни страдания.

Собеседник промолчал, и это ободрило репортера.

— Так вот, вдумаешься в жизнь и приходишь к заключению: ну что в ней хорошего? И я преклоняюсь перед теми, которые по своей воле рвут эту серую, скучную нить жизни...

— Идиотская жизнь, — поддержал молодой человек. — Я вот целый час стою здесь, и ничего мне не приходит в голову.

— То есть вы не решаетесь?

— На что?

Репортер смутился.

— Ну, как вам сказать... Людей с характером очень мало. Это ведь не то, что взять, да и выпить бутылку этой зловонной воды.

— Поверьте, что мне легче выпить бутылку этой зловонной воды.

— Еще бы, — сочувственно поддакнул репортер, — не в пример легче. А все-таки, если вдумать, то какой это пустяк: шаг за перила, один миг — и тебя уже нет. Прелестно.

III.

Молодой человек отодвинулся.

— Вы это о чем же?

«Спугнул!» — подумал Шмурыгин.

И смущенно продолжал:

— Я говорю насчет эпидемии самоубийств. В наше проклятое время они имеют большой резон д'этр⁴, как выражается наш передовик⁵.

Молодой человек сочувственно закивал головой.

— Ей-Богу, вы правы! Да вот взять хоть бы меня сейчас: в самую пору вниз головой с моста прыгнуть.

— И вы думаете, что я буду вас отговаривать? Нет! Я очень понимаю, что значит, когда нет выхода. Впрочем, простите, я вам мешаю. Может, мой разговор в такие минуты неприятен.

— О, нет, не беспокойтесь. Я всё равно сейчас ухожу. Пойду в другое место, может быть, там что-нибудь выйдет.

Репортер похолодел, как труп, только что выгашенный из воды.

— Ради Бога! Куда же вы? Разве здесь так плохо?

— А разве хорошо? Я вот уже сколько времени час за часом бесцельно трачу здесь время. Прощайте!

Репортер задрожал от ужаса.

— Но будто вам не всё равно! Поверьте, жизнь так дурна... Каждый лишний час, проведенный на этой бессердечной коре, — такое мучение... Тем более что нигде поблизости нет ни людей, ни лодок... Колоссальное удобство.

Неизвестный нахмурился.

— Я вас не совсем понимаю! Что вы говорите? Затем, это волнение так подозрительно...

Шмурыгин покраснел и потупился.

— Послушайте. Я буду с вами откровенен... Ведь вы меня не обманете! Я прекрасно понял, что вы собираетесь топить. Ну хотите топить — Христос с вами — топите. Идея не глупая. Но какого черта вам искать другого места? Чем здесь, спрашивается, плохо? Место пустынное, вода глубокая — превосходно! Фюить! Как камень. А тащиться куда-то, где вас всегда могут вытащить, это — простите — даже глупо.

IV.

Молодой человек выслушал горячую речь репортера, сосредоточенно думая о чем-то другом.

— Вы знаете, я, кажется, должен быть вам очень благодарен... Но скажите откровенно, для чего вам понадобилось, чтобы я утонул именно здесь?

— Хотел лично видеть всё это.

Неизвестный покачал головой.

— Жестокое, бессмысленное любопытство!

Репортер ударил себя ладонью в грудь.

— Жестокое? Бессмысленное? Ошибаетесь! Я думал, что имею дело с умным человеком. Ведь, поймите, вам решительно всё равно, а я, в качестве репортера, заработаю на этом деле. Вы не можете представить, в какой цене очевидцы.

Веселое выражение появилось на лице незнакомца.

— А-а!.. Позвольте пожать вам руку. Не зная того сами, вы оказали мне большую услугу!

— Боже мой! Какую?

— Вы мне дали тему для рассказа.

— Черт возьми! А... топиться? — разочарованно воскликнул Шмурыгин.

— Да с чего вы взяли, дубовая голова, что я хочу прыгнуть в воду? Просто я стоял на месте, где мне никто не мешал, и хотел выжать тему для нового фельетона. Иногда мысль совершенно не работает. А вы мне дали прекрасный сюжет. Хе-хе. Всего хорошего — побегу писать.

Как пришибленный, поплелся репортер за фельетонистом.

И в мозгу зашевелились мысли:

«Хорошо, если бы ветром занесло сюда на Фонтанку какой-нибудь воздушный шар... Чтоб в лепешку шмякнулись, голубчики! Или чтобы тот идущий рабочий поскользнулся, и в кармане у него разорвалась бомба. Жаль только, прохожих мало — жертв почти не будет...»

Человек в нем спал.



СПЛЕТНЯ

Контролер чайно-рассыпного отделения Федор Иванович Аквинский¹ шел в купальню, находящуюся в двух верстах от занимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать «дачей»...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой, шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые, теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка, очертя голову, взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голый ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную, прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой, позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и, наконец, выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды отчетливо показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голый рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

— Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере², и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможенно, он, после обычной возни в пакгаузе³, сел на ящик из-под чаю и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

— Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю — из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Туда-то бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе — и мужчины, и женщины купаются. Говорит — поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

— Отчего же! — вмешался пакгаузный Нибелунгов. — У него тетка, говорят, богатая, может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусьвающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

— Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможене!.. Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

— Ах, бесстыдники! — застенчиво потупилась Петровна. — Ну и езжали бы себе подальше, а то — на-ко здесь разврат заводит! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так — тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Португеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыньных юбок, душа госпожи Португеевой не выдержала:

— Это что же, для Ривьеры глаженные юбки понадобились?

— Ах, что вы! Слова такие!.. — усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

— Ну да! Небось тебе-то да не знать...

Она скорбно помолчала.

— Эх-ма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, выгаращила глаза...

— Да ваша Марья Григорьевна — хороша, нечего сказать!.. С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и всё!

Горничная всплеснула руками.

— Да правда ли это, Анисья Петровна?

— Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

— Ах, ужаси!

Горничная опрометью, позабыв об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самым членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

— Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна?⁴ — прищуриль глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. — Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников.

— Оставьте! — огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-à-tête*. — Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

* [встреча] лицом к лицу (*фр.*).

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или *chemin de fer*'ом⁵.

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло⁶, с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

— Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка?!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможи, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

— Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут не при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то чтоб после на меня чего не было... Скажут — ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

— Рассказывай: с кем и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

— Да всё с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко... Уже всё и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет — тетка евонная богатая, — и вместе купаться поедут в Ривьеру, куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

Сидя за покосившимся столиком, в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой го-

лове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь — Аквинского — нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

Милая тетенька!

Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требует член таможи господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: «Вы, — говорит, — Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?» «Никак нет», — отвечаю... А он как закричит: «Так вот как!!! Не лгите! Вы, — говорит, — попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблетесь!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором — предупреждаю — вы же и захлебнетесь!!» Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... «Вы, — говорит, — вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!» Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание! Как я уже вам объяснял — это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на всё лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки — не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, — я не женат...



ДУРАК

Раку приходится сталкиваться с человеческим характером тогда, когда его бросают в кипяток. И он краснеет... краснеет за людей.

Теперь, когда я смотрю на его худую нескладную фигуру, бледно-желтые усы и жалкую улыбку человека, ожидающего неизвестно откуда пинка, мне хочется и смеяться и плакать, прижавши к своей груди эту пустую взлохмаченную голову, такую смешную.

Когда я впервые вводил его в нашу компанию, все были уже предупреждены.

— Познакомьтесь.

— Граф Калиостро, — гордо представился один¹.

— Барон Мюнгаузен!²

— Виконт³ Подходцев.

Дурак смотрел на всех восторженно недоумевающими глазами, будучи, очевидно, сильно польщен пребыванием в такой титулованной компании.

— Поверьте, господа... — начал он, не зная, куда девать завернутую в бумагу сотню живых раков и ноты, которые он держал в руках.

Я освободил его от свертков и пригласил сесть.

Определенного плана мы не имели, но «виконт» Подходцев нашлся:

— Что у вас в бумаге?

— Раки. Иду это я и думаю — дай куплю раков! Так и купил.

— Гм!.. Так и купили? Можно посмотреть?

Подходцев сделал в свертке отверстие и вынул одного рака.

— Здорово сделан! — похвалил он, держа рака двумя пальцами перед лампой⁴.

Дурак растерялся.

— Как... сделан? Да он, представьте, живой!

Подходцев обидчиво усмехнулся.

— Шутить изволите-с?! Не ребенок же я, чтобы не отличить живого рака от механического. По-моему, это нюрнбергская работа...⁵

Дурак нагнулся и снизу посмотрел в глаза говорившему, желая отыскать в них тень улыбки.

Однако Подходцев был невозмутим, сохраняя в лице выражение оскорбленного человека.

— Неужели вы... серьезно? — сконфуженно пробормотал Дурак.

— Я серьезен, но серьезны ли вы, сударь?! — вскричал Подходцев, багровея. — Окончивши два с половиной факультета, я дурачить себя не позволю! Ведь всем известно, что настоящие раки бывают красные!

Тяжелая, неповоротливая мысль Дурака усмотрела где-то вдали проблеск выхода из этого странного, нелепого положения.

— Нет, насколько я знаю, раки бывают черные!

— Вы слышите, господа! — с обидчивым удивлением обратился к нам Подходцев. — Сей муж имеет смелость уверять, что раки бывают черные! Зачем же тогда говорят: покраснел как рак?..

— Вареный! — тоскливо перебил гость.

— Нет-с, извините! Ежели какой-либо предмет хотят сравнить с другим, общеизвестным, то берут для этого его вид или, в данном случае, цвет не случайный и редко встречающийся, а тот, в котором предмет чаще всего можно наблюдать в природе. Например, если говорят: «он прыгнул как тигр», — то это не значит, что он прыгнул, как *жареный* тигр!

И, проговорив эти странные слова, Подходцев гордо оглядел компанию.

Мы давились от хохота, избегая отчаянного взгляда Дурака, который озирался, ища хотя в ком-нибудь поддержки.

Наконец он взял злополучного рака двумя пальцами и сказал боязливо-торжествующе:

— Глядите, он движется! Ей-Богу, это живой рак!

— А вы зачем же пальцами на брюшко надавливаете?! Ясно, внутри пружина! Знаем мы эти штуки.

Мы громко поддержали Подходцева, выражая негодование на то, что нас хотят одурачить каким-то механическим раком, как малых ребят.

— Так сломаем его, и я вам покажу! — в приливе вдохновения решил Дурак.

— Зачем же вещь портить? — нашелся Подходцев. — Ведь она рубля полтора стоит.

В порыве безысходного отчаяния Дурак отвел меня в сторону и тихо спросил:

— Послушайте... Неужели они это серьезно?

— Без сомнения! Объясните мне, — участливо прошептал я, — где вы их раздобыли? Не подшутил ли кто над вами?

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

Никогда после этого мне не случалось встречать человека, который был бы более уверен в своей правоте и менее всего мог бы доказать ее. Что за тяжелый, кошмарный мозг лежал под этой толстой мозговой коробкой...

Дурак молча взял из рук Подходцева рака и, положив обратно в бумагу, отошел к окну.

Лица его, обращенного к темным заплаканным от дождя стеклам, я не видел, но согнутая спина и руки, которыми он усиленно тер виски, давали такое впечатление напряженного раздумья и тоски, что я, желая развеселить его, принял на себя роль любезного хозяина и повлек всю компанию к столу.

За ужином разговор принял мрачный, зловещий оттенок. Присутствие Дурака вдохновляло самых неразговорчивых.

— Скажите, граф, — неожиданно обратился Подходцев к одному юноше, — в каком положении ваше дело о краже пальто из передней клуба?⁶

Граф ухмыльнулся.

— Придется сидеть, черт их деря. Из-за какого-то пальто, а? И ведь, представьте, почти совсем удрал — около Биржи⁷ нагнали.

Толстый Клинков обратился к удивленному Дураку и благодушно сказал:

— Ненавижу я эту мелкую работу... Ну что такое пальто? Каждое дело должно быть цементировано кровью. Помнишь, виконт, как мы тогда эту старуху ловко ухлопали. Одними бумажками девять тысяч, не считая золота!

Дурак, с расширенными до последних пределов глазами, сидел без единого звука, и кусок ветчины, который он держал на вилке, так и застыл в воздухе.

— Конечно, — пожал плечами Подходцев, — но в каждом деле нужна логика. Что может быть глупее, например, случая с бароном, когда он, чтобы сократить в приемной доктора очередь, отравил воду, которую пили больные, пришедшие раньше его? Или когда он поджег детский приют, чтобы ему, пьяному, при освещении было легче найти номер своего дома? Всё это не забавно и бесполезно.

Дурак сидел, побледнев как мертвец, и тщетно пробовал разжевать пробку от горчицы, которую кто-то потихоньку вздел ему на вилку вместо колбасы. Крупные капли пота блестели на его лбу, и весь он напоминал большую кошку, которую шутники окунули в воду.

Опомнился Дурак только тогда, когда все, вставая, задвигали стульями. С трудом ворочая своим суконным языком, он поблагодарил меня за гостеприимство, но выразил твердое желание отправиться домой.

— И не думайте! — радушно воскликнул я. — Мы еще выпьем кофе, поболтаем... Не правда ли, многим есть что рассказать? Жаль, нет сейчас самого интересного человека — сидит в централке⁸ за маленькое убийство...

Но Дурак был уже в пальто, обняв руками своих раков и громадный сверток нот.

Когда он попрощался со всеми, угрюмо смотря куда-то в сторону, Подходцев не утерпел и рассьпался перед ним в извинениях.

— Вы знаете, я относительно рака-то ошибся... я, вообразите, полагал, что он нюрнбергской работы, а уж после разглядел на клешне фабричную марку: «И. Павлов. Тула»⁹. Кустарная работа, оказывается.

Дурак молча вышел, и мы, от нечего делать, стали следить за ним в окно.

Смешная, нелепая фигура перешла пустынную улицу и торопливо приблизилась к фонарю.

Дурак раскрыл зонтик, сложил под него ноты, порывлся в свертке раков и, вынув одного из них, близко поднес его к фонарю.

Лицо нашего гостя выражало напряженное любопытство и нетерпение. Фонарь подмигивал и, качая пламенем, подсмеивался над Дураком, который внимательно осмотрел рака и, оторвавши хвост, стал — по одной — отламывать клешни и лапы.

И лицо его всё более прояснялось.

Когда от всего рака осталась только спинка, он отбросил ее от себя, бодро выпрямился, покачал кому-то укоризненно головой, забрал свои свертки и — сплошная сетка дождя быстро затушевала его фигуру.

Дождь ли был тому причиной, — но скука охватила всю компанию. Мы быстро пожали друг другу руки и разошлись, каждый в свою сторону. Один я, выйдя из дому, пошел без всякой цели.

На спине ощущалось холодное прикосновение дождевых капель, как чьих-то равнодушных слез.

Дождь ли был тому причиной, но мне была противна и слякоть, рыдавшая под досками старого деревянного тротуара, и мрак, и противнее всего был мне я сам.



ИЗМЕНА

Меняла Вилкин запер свою лавчонку, которая среди его знакомых носила громкое название банкирской конторы, и, подергав замок, сказал сам себе:

— Сегодня я в «Черный лебедь» не пойду! Ну его! Каждый день — надоело. Не всё же дома оставлять молодую жену без мужа. Хе-хе!

Подходя к дому, он обратил внимание на то, что в окне спальни жены света не было.

— Неужели спит? Странно!

Все происшедшее дальше — было так обычно, что противно рассказывать.

Конечно, он прошел через незапертую дверь черного хода в столовую, оттуда в спальню и, конечно, увидел жену не одну, а с каким-то молодым господином, который, по ближайшем рассмотрении, оказался знакомым Вилкина — Грохотовым. Конечно, для менялы всё это было очень неожиданно, но читающую публику такие вещи должны утомлять. Об этом так часто писали и еще чаще это делали.

Профессия менялы — очень редкая профессия, и только, может быть, именно поэтому развязка навязшей всем в зубах истории о явившемся неожиданно домой муже, который застаёт жену с другом дома, — получила несколько оригинальную, чуждую шаблона окраску.

Заметив, что костюм Грохотова изменил свое обычное местопребывание и, вместо того, чтобы покоиться на плечах и ногах владельца, беспомощно висел на стуле, Вилкин всплеснул руками и вскричал злобно-торжествующе:

— Ага, голубчики! Попались... Нет, не пытайтесь отпираться...

Грохотов сел на кровати и, зевая, хладнокровно сказал:

— Вот дурак старый! Никто и не думает отпираться. Подумаешь тоже.

Вилкин сделал грозное лицо, но тайне почувствовал, что теряет под собой почву.

Все вышло как-то не по-настоящему: жена не упала перед ним на колени, с мольбой о пощаде, и любовник, вместо того чтобы спастись бегством, сидел, зевая, на его супружеском ложе и равнодушно болтал босыми ногами.

— Да как вы смеете?!

— Что такое?

— Позор!.. С чужой женой, в квартире, за которую платит ее муж...

— У вас со своими дровами квартирка? — с явной насмешкой спросил Грохотов.

Вилкин метался по комнате, скрежеща зубами от злобы, и мучительно старался вспомнить, как вообще поступают мужья в таких случаях...

Нечаянно он нащупал в кармане пальто револьвер, который всегда носил от жуликов, и, выхватив его, осененный непоколебимым решением, вскричал:

— На колени, несчастный!! Молись, пока не поздно! Даю тебе минуту сроку!!

— Не строй дурака! — уже сердито рявкнул Грохотов и, вскочив с кровати, бросился к несчастному мужу.

Он ловко поймал его за руку, державшую револьвер, и между ними завязалась недолгая борьба, на которую хорошенькая Вилкина смотрела, приподнявшись с подушек, с плохо скрытым любопытством и удовольствием...

Через минуту атлетически сложенный Грохотов подмял под себя тщедушного Вилкина, отнял у него револьвер и, вставая, неизвестно для чего пребольно ударил его три раза сзади в спину, затылок и в оба уха.

— А, так ты... драться!! Вот я сейчас кликну дворников — они тебе покажут!

Поправляя дрожащей рукой оторванный галстук, Вилкин в бессильном бешенстве двинулся к дверям, но Грохотов предупредил его.

— Э, нет, милый. Ты еще, в самом деле, сдуру накличешь дворников — ведь я твою подлую натурашку знаю! Никуда я тебя не выпущу.

Повернув ключ в дверях, Грохотов выдернул его и крепко зажал в кулаке.

Вилкин постоял у запертых дверей, потом обернулся и сдавленно прошипел:

— Убирайтесь отсюда!

— Да, надо будет, ничего не поделаешь. Кстати, мне и пора... Вилкин, который час?

Вилкин хотел сказать что-то очень обидное для Грохотова, но, покосившись на дверной ключ, зажатый в могучий кулак его бывшего приятеля, только заскрипел зубами и, нервно выдержавши часы, поднес к глазам.

— Пять минут десятого.

— Ого! Время-то как летит... Надо собираться.

Грохотов собрал разбросанные части своего туалета и стал неторопливо одеваться.

Вилкин, не говоря ни слова, ходил из угла в угол, сопровождаемый молчаливым взглядом жены, ходил, пока Грохотов не сказал досадливо:

— Не мотайся ты, ради Бога, перед глазами. Мешаешь только. Сядь вон там в углу на диван и сиди...

После возбужденного состояния духа у менялы наступила полная реакция... Чувствуя в спине и затылке сильную ноющую боль, он вздохнул и, потоптавшись на месте, с наружно независимым видом исполнил желание своего мучителя.

Сел на диван, закурил папиросу и стал уныло следить за туалетом Грохотова.

— Ну вот... Ах ты, Господи! Проклятые воротнички! Прачка их крахмалит, совсем как дерево... Ого! А где же это запонка? Выскочила, анафемская... Вилкин, ты не видал моей запонки?

— Отстаньте вы от меня с вашей запонкой, — угрюмо проворчал Вилкин.

— Чудак-человек! Как же я оденусь без запонки?!

— На полу обронили, наверно! Тоже кавалеры, подумаешь...

Вилкин горько усмехнулся.

— Однако ты, Вилкин, не очень-то... У меня характер, сам знаешь, тяжелый... Ты, может, искал бы ее, мой бледнолицый брат², а?

— Можете сами.

— Н-но?!

Вилкин в отчаянии схватился руками за голову и застонал.

— Навязались вы на мою голову!!

Впрочем, тут же опустился на колени и стал шарить руками по полу.

Жена, свесившись с постели, указала ему рукой:

— Посмотри под комодом... Не там... дальше, левее... Ох, какой ты бестолковый!

— Вот!

Вилкин, торжествующий, поднял запонку и, отирая с лица пот, протянул Грохотову.

— Скажите мне спасибо! Если бы не я — ни за что не нашли бы.

— Молодец, Вилкин. Старайся.

По мере того как Вилкин морально слабел и опускался, Грохотов всё нагнел, командуя Вилкиным, без зазрения совести...

Он оделся, поцеловал галантно у madame Вилкиной руку, а мужу сказал фамильярно:

— Возьми, Ножиков, свечу и выпусти меня в парадную дверь.

Меняла зажег свечу, сумрачно ворча:

— Ножиков! Будто не знает, что моя фамилия — Вилкин.

— Хорошо, хорошо! Назову тебя хоть целым Сервизовым — только проводи меня.

В передней Грохотов потребовал, чтобы меняла подал ему пальто, а когда меняла выпускал Грохотова в дверь, тот дружеским жестом протянул ему руку. Вилкин, растерявшись, хотел пожать ее, но, вместо пожатия, ощутил в своей руке какой-то предмет.

Затворивши дверь, он разжал кулак и увидел на ладони потертый двутривенный...

От обиды даже слюна во рту у него сделалась горькой. Он погрозил в пространство кулаком, опустил монету в карман и, пройдя в спальню, где жена уже спала, посмотрел на нее искоса и стал потихоньку раздеваться.



ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВО

Мы столкнулись с ней на повороте улицы, и первые слова ее были:

— Удивительно! Вы в Петербурге?

— Я в этом уверен, и доказательством служит то, что, будь я в Киеве или Одессе, вам сейчас было бы трудно задать этот вопрос.

— Какой вы смешной! Проводите меня.

Мы пошли рядом, разговаривая. Пройдя сотню шагов, я заметил, что моя спутница всё время тревожно оглядывалась на мостовую.

— Что с вами, Верочка?

— Прежде всего не Верочка, а Вера Валентиновна...

— Да что вы! Я давно это подозревал...

— То есть что — «это»?

— Так, вообще... Жизнь наша — цепь случайностей! А скажите, что вас так притягивает к этой мостовой?

— Он везет ее за мной.

— Кто он?

— Он, извозчик.

— Чего же вы идете, а она едет?

— Вы что-то путаете... Она — это лампа.

— Черт возьми! Я думал — приятельница.

— У вас вечно на уме приятельницы... Просто я устраиваю себе столовую и, вот, купила лампу. Зайду в два-три магазина и домой...

— Но почему же вы не можете оторвать глаз от извозчика? Он кажется мне парнем не в вашем духе...

— Я боюсь, что удерет!

— Так вы бы заметили номер.

— В самом деле! Надо будет это сделать. Зайдем сейчас только в этот магазин.

Мы вошли в оружейный магазин.

Я сел поодаль и стал наблюдать это милое, нелепое существо, такое беспомощное в обыденной жизни...

Диалог между Верочкой и приказчиком был, приблизительно, следующий:

— Здравствуйте. Есть у вас этот, гм... порох?

— Порох? Есть, сударыня. Вам какой прикажете?

— Такой... обыкновенный. Пять фунтов.

Приказчик стал заворачивать пакет и, смотря в окно, сказал:

— Охота в этом году неудачная... Дожди.

— Неужели? Терпеть не могу охоты. Ненавижу дожди.

Приказчик вежливо ухмыльнулся и заметил:

— Но ваш супруг, вероятно, страстный охотник... Потому что такой запас пороха...

Верочка расхохоталась.

— Какой вы смешной! Откуда вы взяли, что у меня есть муж? Просто я покупаю порох для столовой.

Приказчик очень удивился.

— Для... столовой?

— Ну да. Я купила столовую лампу и там наверху есть такой шар, в который насыпается порох для веса. Скажите, пять фунтов достаточно?

— Сударыня!! Вам, вероятно, нужно дробь?!

— Ну дробь.

Приказчик, в изумлении, искал моего взгляда, но я отвернулся.

Мы вышли из магазина, я — навьюченный дробью, она — веселая, жизнерадостная, с какой-то картонкой в руке.

— Вы знаете, что было бы, если бы приказчик дал вам для лампы порох?

Мой зловеющий тон испугал ее.

— А что? Оно бы загорелось?

— «Оно» взорвало бы весь дом на воздух.

— Что вы говорите! Какой ужас! А дробь опасна?

Я пожал плечами.

— В ваших руках — пожалуй.

Когда мы подошли к дому, она пригласила меня зайти отдохнуть. Мы втащили в столовую лампу, дробь, и Верочка сейчас же захлопотала.

Энергия у нее была изумительная.

— Марья! Дай гвоздь, принеси керосину, спичек и скамеечку. А вы сядьте пока там в углу и не мешайте мне. Я это сделаю в две минуты.

Так как стол был уже накрыт, то она отодвинула приборы, поставила скамеечку и с гвоздем потянулась к потолку.

— Чем же я его забью? Молотка у нас, кажется, нет...

Она попробовала спичечной коробкой. Спички рассыпались, и коробка сломалась. Она подумала, бросила коробку и взяла со стола чайный стакан. При столкновении с гвоздем он разлетелся вдребезги, и Верочка, улыбаясь сквозь слезы, стала сосать обрезанную руку. Пущенные последовательно в дело нож, вилка и разливательная ложка встретили со стороны коренастого гвоздя самое тупое, решительное сопротивление.

Наконец в дело вмешалось тяжелое, солидное пресс-папье. Оно исполнило возложенную на него миссию удовлетворительно, хотя с большим ущербом для себя, потолка, гвоздя и пальцев хозяйки. После этого лампа, без суда и следствия, была торжественно повешена.

— Как вы думаете, крепко держится?

Я высказал предположение, что ходьба по полу верхнего этажа может довести лампу до самого легкомысленного падения.

— Неужели? Марья! Пойди скажи, чтобы наверху поменьше ходили.

— Вы лучше попросите их съехать с квартиры, — посоветовал я.

Она подумала.

— Нет, знаете... это неудобно.

— Отчего неудобно? Если вы предложите им выбор между тем, чтобы сгореть заживо или расстаться с квартирой — я уверен, они выберут второе.

— Нет, пустяки. Ничего не случится... висит же она уже пять минут, и ничего. Теперь только налить керосину, зажечь, и мы можем обедать.

Она взяла со стола бутылку, вылила керосин в резервуар и зажгла фитиль.

Фитиль погас.

Она поболтала лампой и опять зажгла.

Фитиль опять погас.

Были мобилизованы все наличные силы: я и Марья.

Лампа заявила, что гореть она не будет ни под каким видом.

Мы дули в нее, выкручивали фитиль, разбирали горелку, снова зажигали, а она, подмигнув насмешливо, сейчас же гасла.

— Очевидно, вас с лампой надули. Пошлите Марью переменить. Так как Верочка изнемогала от усталости, то согласилась немедленно.

— Керосин только вылью. Марья, дай бутылку!

Потом до меня донесся удивленный голос Верочки:

— Чудеса! Недавно из этой бутылки вылила керосин, а она опять полна. Ничего не понимаю.

Заинтересованный, я подошел.

— Позвольте, Верочка! Вы не в ту бутылку льете.

— Много вы понимаете! Та с уксусом. Глупая Марья забыла ее на столе.

— Она не с уксусом, а пустая.

Верочка опустила лампу и растерянно посмотрела на меня.

— Вы знаете, почему лампа не горела?

Я подошел к ней ближе и сказал:

— Теперь я это знаю. Несчастное существо!.. Куда вы годитесь?!

— Пустите меня! Как вы смеете целоваться? Это наглость... Вы не порядочный человек!

— Кто я? Негодяй первой степени. Разве вы не знали?

— Вы пользуетесь тем, что я одна!

— Чего же от меня и ожидать хорошего... Конечно, условия воспитания, полная заброшенность в детстве, фребелевский метод обучения¹.

Она старалась вырваться, но, очевидно, возня с лампой так утомила ее, что голова ее опустилась на мою грудь.

Она посмотрела на меня и сказала:

— Какой вы смешной!

Потом она решила, что лучший выход из положения — ответить мне таким же сочным поцелуем.

Бедное, беспомощное создание!

Это было единственное, что она умела делать как следует.



ДРУГ

I.

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

— Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это?

Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

— Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые романы знаю — вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию. У них иногда действительно бывают такие физиономии... забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты, вместо того чтобы стряхнуть ее на пол, — сделал предложение... было так?

Крошкин пожал плечами.

— Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость совершена — предложение сделано.

— Ах ты, Господи! Можно всё еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

— Черт возьми! Как?

Душилов впал в суровое раздумье.

— Не мог ли бы ты... поколотить ее отца, что ли!.. Тогда, я полагаю, всё бы расстроилось, а?

— То есть как поколотить? За что?

— Ну... причину можно найти. Явиться не в своем виде — прямо к старику. «Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета!» Да по голове его!

— Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

— Иногда, пожалуй, — согласился Душилов серьезно. — Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко...

— Ну вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

— Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

— Может, ты ее собираешься поколотить?

— Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор... в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

— Знаешь, удав, — это мысль! Только ты можешь всё испортить?! А?

— Кто, я? Будет сделано гениально.

— Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II.

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

— Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас! А что подельвает Крошкин?

— Какой Крошкин?

— Ну ваш друг!

— Он мне теперь не друг!

— Что вы говорите! Почему?

— Потому что он не Крошкин!

— А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

— Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Блондинка побледнела и открыла широко испуганные глаза.

— Что вы говорите?! Зачем ему это понадобилось?

— Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете?!

— Душилов... Вы меня... с ума сведете.

— Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

— Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...

Душилов развел руками.

— Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик...
Вчера он у вас не был?

— Не был.

— Вчера ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

— Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...

— Комедия! Если бы отругать тетку и произвести экспертизу внутренних органов...

— Господи! Вы думаете...

— Я уверен.

— Ах!.. Но каково это его сестре!

Душилов грубо расхохотался.

— Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра! Хо-хо!

На глазах девушки стояли слезы.

— Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

— Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

— Да... Мы так мечтали!..

— Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это всё было устроено!

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

— Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

— Видите ли... У него есть любовница — француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре¹ наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

— Этого... я ему никогда не прощу.

— И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости? Не пересчитывали?

— Ка-ак? Неужели он дошел до этого?

— Ничего не скажу... Вы знаете, — я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias* Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепавшейся прической и гневным лицом:

— Скажите ему... что он самый низкий мерзавец!.. Что ему и имени нет!

— Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца — я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III.

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

* иначе (лат.).

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

— Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком... Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки устроена не природой, а человеком, и этот человек были вы, — при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает. Не запирайтесь, вы видите, что *правосудию всё известно!*..



ЛЮДИ ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

I.

Удивительно они забавные! — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

— Совершенно верно. Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

— Иногда они смешат меня.

— Это мило с их стороны, — осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

— Вы знаете, он — настоящий Отелло¹.

Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

— Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула:

— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он...

Она удивленно посмотрела на меня.

— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

— Упал, что ли?

— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет мне чужда.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разругмянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, — настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, — говорит, — закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый... сноп, — падает. Ужас!

— Неужели он его приревновал ни с того, ни с сего?!

Она пожала плечами.

— Я же вам говорю, — они удивительно забавные!

II.

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!

— И не покажусь, — пошутил я. — Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то, — подумайте, — у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него.

— Но... при чем здесь серьги?

— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.

— Вы думаете, что это грабитель?

— Нет, атташе французского посольства! Ха-ха! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

— Так вы его... кирпичом?

— По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III.

— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

— Боже! Что с вами случилось?!

— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

— Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

— Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

— Не знаю. А что?

— Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью... До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

— Вы говорите — шрам?! Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

— Ну да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Ленъ, истома. Хочу закурить папиросу, — черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа, — попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная незащищенная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

— Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

— Я в этом уверен.

IV.

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

Под парами алкоголя. — Вчера утром сторожами, убравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, бу-

дучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расплозаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь...



НОВОСЕЛЬЕ

 Он был такой чистенький, новенький, будто бы его сейчас только отлакировали и выпустили в продажу... Новенькая студенческая фуражка, убийственные синие брюки, сверкающие воротнички. Когда он вошел в нашу комнату, получилось впечатление вынужтой из мешка Жар-Птицы.

Он вежливо щелкнул одним каблуком о другой, переложил фуражку под мышку и, откашливаясь, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откусать нынче вечером у меня на новоселье?

Так он и сказал, негодяй: откусать.

Коллега Финкель лежал в это время на географической карте Европы, разостланной на полу, и ел арбуз, сплевывая косточки непосредственно в Средиземное море.

Коллега Васькин, обладатель пары ног, поразительно разнообразных по внешности в том отношении, что одна была в красном чулке, а другая в старинном ботинке, — занимался тем, что, держа другой ботинок в руке, широкими репинскими мазками¹ замазывал чернилами все рыжие места.

Финкель положил недоеденную корку арбуза на Апеннинский полуостров, встал, закурил папиросу и, стряхнувши пепел на прекрасные брюки гостя, солидно сказал:

— Надеяться вы можете. Самое ужасное, когда человек, лишенный всяких надежд, сидит в тушике безнадежности. Но надейтесь только в том случае, если будет что не только от-кушать, но и от-выпить².

— Я люблю преимущественно коньяк и преимущественно пиво, — разоблачил себя Васькин, смотря на гостя ясными глазами.

— Прейскурант напитков издания 1908 года суть мое любимое произведение беллетристики, — падая со смелостью опытного пловца на Немецкое море³, сообщил Финкель.

— И я назвал бы мелким негодяем всякого цензора, который осмелится сделать там цензурные урезки.

— Будет исполнено, ваше превосходительство, — сказал растерявшийся юноша, неудачно стараясь попасть в тон хладнокровному Финкелю.

— Bravo, старик! Я всегда, несмотря на происки твоих высокопоставленных врагов, был о тебе хорошего мнения... Иди и твори. Только, если у тебя на новоселье будет тамбовский генерал-губернатор, мы демонстративно уйдем⁴.

Финкель прекрасно знал, что никакого губернатора не будет, и предупредил юношу только для придания себе веса.

С юноши взяли торжественное обещание не приглашать особ первых четырех классов⁵ и наконец отпустили, занявши предварительно три рубля.

— Для начала новой жизни, — как объяснил бесцельный вообще в своих поступках Финкель.

Собралось народу немало.

Юноша по имени Жердь, два студента без имен, замечательных только тем, что один был юристом, а другой медиком, два студента с именами, но затруднявшихся указать свои факультеты, один студент, заявивший с самого начала, что его фамилия Сидоров и ни на какие другие сделки он не пойдет, Васькин, упорно старавшийся выдвинуть из тени запятанный чернилами ботинок, и наконец Финкель, явив-

шийся позже всех и выразивший неудовольствие по поводу того, что толпа не встретила его кликами восторга и неподдельным народным ликованием.

— А впрочем, черт с вами! Покажи, старик, свою трущобу.

Вместо трущобы Финкелю и другим были показаны две прехорошенькие, чистенькие комнаты, с чистенькими занавесками и чистенькими олеографическими картинками⁶.

Финкель потрогал руками занавески, покачал головой и тоном опытной хозяйки определил:

— Занавески.

Осмотрел, сопровождаемый толпой, картины и, не колеблясь, заявил:

— Картины.

Толпа, пораженная его знаниями, обратила внимание эксперта на стоявшего в углу этажерки фарфорового Амура. Финкель осмотрел его, поцарапал ногтем и сказал:

— Это вещь не дешевая. Заграничная. С ней нужно осторожно.

Впрочем, тут же он ее и разбил, уронивши на пол.

В комнате, исполнявшей роль гостиной, был сервирован стол, уставленный разнообразными бутылками и кушаньями.

Финкель сел рядом с хозяином и сказал, что только из уважения к памяти его родителей он будет пить, кроме других напитков, виски.

— Виски пьется обычно с водой, — тоном опытного, неисправимого пьяницы заявил конфузившийся до сего хозяин.

— Хорошо, старик, — согласился Финкель. — Я буду пить виски, а ты воду. Потом мы можем слиться в одном дружеском объятии.

А Васькин почтительно спросил хозяина:

— Вы, вероятно, много путешествовали, дяденька, что так хорошо всё знаете?

Когда кушанья были съедены дотла, студент, до сих пор упорствовавший в своем желании сохранить за собою фамилию Сидорова, встал и заявил хозяину:

— Коллега, я хочу танцевать.

Хозяин выразил неопределенное опасение насчет старухи хозяйки, женщины крайне нервной и раздражительной, но Финкель его успокоил:

— Ты думаешь, что она испугается шуму? Видишь ли, если мы постепенно будем начинать шуметь, это ее раздражит, но если мы сразу произведем какой-нибудь адский звук — всё остальное покажется ей тихой музыкой. Мы сейчас тебя застрахуем.

Не будучи человеком, у которого слово расходится с делом, Финкель немедленно ударил палкой в медный таз и обрушил с высоты своего роста пару тяжелых кресел.

За стеной послышались стоны, крик, и в комнате, спустя минуту, появилась делегация в виде толстой кухарки.

Финкель с изысканной любезностью преподнес ей стакан рому, затем сделал на ухо заманчивое предложение, а затем, получив отказ, строго заявил, что в случае протеста хозяйки она будет выслана в 24 часа по петербургскому времени.

Кухарка ушла, и молодежь стала резвиться по-прежнему. Сидоров с огоньком протанцевал на неубранном столе джигу⁷, а потом все хоронили коллегу Васькина.

Покойник лежал поперек кровати, обнявши руками подушку, и в такой необычайной для мертвеца позе находил еще силы неясно и глупо хихикать.

Финкель выступил вперед и, пошатываясь от горя, предложил сказать надгробную речь. Количество времени, которое он употребил на то, чтобы сделать это предложение, заставило хозяина опасаться за хладнокровие слушателей во время восприятия самой речи, но — напрасно, потому что Финкель после слов:

— Милссс...⁸ В наше время, когда воздух во всех направлениях исчерчен аэропланами, прозванными за свою прыткость дирижаблями... — заплакал навзрыд и, махнув рукой, сел на фуражку хозяина.

Студент без факультета попытался пощупать покойнику пульс, но так как он шарил эту часть организма на ноге, то выяснилось полное его незнакомство с медицинским факультетом.

Юноша по имени Жердь, читавший до сего времени по усопшем, вместо Псалтыри, «Генриха IV» Шекспира, святотатственно схватил покойника за нос и воскликнул:

— Смотрите! Он всё более и более приближается к типу настоящего покойника...

Раздался крик ужаса.

Сидоров, мирно пивший до сих пор в уголку из бутылки пиво, вскочил и со стоном заявил:

— Господа! Мне всё кажется вверх ногами.

Им заинтересовались медики, со стороны скорее научной.

— Всё решительно?

— Всё. Ей-Богу! Вот смотрю так — и всё вверх ногами: и стол, и картины, и комод, и умывальник.

Сидоровым заинтересовались все.

Кто-то сообразил, что если поставить Сидорова на голову, то он увидит всё в нормальном виде. Поставили. Ассистенты держали его за ноги, а предложивший опыт суетился подле, спрашивая:

— Ну что? Легче?

Оказалось легче, но Сидоров стал жаловаться на тяжесть в голове.

Тогда выступил опытный во всех передрягах Финкель.

— О чем тут толковать? Если бедному малому картины, стол, комод и умывальник кажутся вверх ногами, то наше дело, как товарищей его, выручить беднягу: нужно просто все эти предметы перевернуть и переставить вверх ногами, — тогда всё станет для него простым и понятным.

За идею ухватились с жаром.

Работа закипела. Некоторые переворачивали вещи, другие срывали картины, вешая их вниз головой, и для крепости вбивали гвозди прямо в центр полотна. Отходили к противоположной стенке и любовались любопытным и странным зрелищем, которое представляла комната.

Финкеля огорчило только то, что умывальник, даже не имея пробоины, дал течь.

Тот, для кого делалась эта титаническая работа, к сожалению, мирно спал...

На другой день к нам в комнату опять вошел хозяин вчерашней пирушки. Платье его потускнело, фуражка была смята, и глаза намечались так слабо, что, не будь на лице бровей, так бы и невозможно было определить их местоположение.

Он, по-давешнему, переложил фуражку под мышку и, стукнув каблук о каблук, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откушать нынче вечером у меня на новоселье.

От изумления Финкель чуть не проглотил папиросу, которую курил.

— Старик! Да ведь мы вчера уже, тово...

Гость подмигнул с выражением закоренелой наглости, которая появилась на его кротком лице со вчерашнего дня.

— Хватились! Старая дура еще сегодня утром мне отказала. Сегодня вечером я буду праздновать новоселье на другой квартире...



ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ

Монументов чувствовал себя таким веселым, жизнерадостным, что еле удерживался от желания пуститься в пляс без всякой музыки, как козленок.

Сейчас только он сказал барышне в голубом платье, что любит ее, и она ему сказала, что любит его, а оба вместе они решили, что им нет никакого основания не быть счастливыми, и поэтому где-то за портьерой, в двух шагах от танцующих, даже поцеловались.

Потом решили дать исход волне нахлынувшего на них счастья и веселья — купили по мешочку конфетти и, задорно хохоча, стали бросать пригоршнями в лицо друг другу разноцветные кружочки.

Монументов, запорошив глаза барышне в голубом платье, сжался над ней и принялся осыпать горстями конфетти танцующих и публику, которая скупающе слонялась из угла в угол.

Около дверей сидел старый геморроидальный чиновник Катушкин и, брезгливо выпятив нижнюю, плохо бритую губу, презрительно наблюдал танцы.

Он чувствовал себя нехорошо.

Ему было жаль рубля, который он истратил, заплативши за вход, было обидно, что он старый и не может танцевать, а главное, раздражала его полуоторванная пуговица фрака, которая висела на ниточке и могла каждую минуту оторваться.

Когда он потихоньку дергал ее, она как будто бы держалась, но старый Катушкин не верил ей и злобно думал, что, стоит ему только забыть о пуговице, — она сейчас же оторвется и потеряется.

— Танцуют... дьяволы! — с нечеловеческой злобой размышлял Катушкин. — Чем делом каким-нибудь полезным заниматься — они скачут, как ученые собачонки. Чтоб вы там себе ноги ваши переломали!

Он стал мечтать о том, что хорошо бы незаметно перерезать проволоку для электрического освещения, или чтобы музыканты вдруг почему-либо отказались играть.

— Не желаем, мол, играть для разных дураков!

Жизнерадостный Монументов проходил мимо упрямого Катушкина под руку с голубенькой барышней и говорил ей:

— Как это красиво всё: и этот благотворительный бал, и прекрасная музыка, и веселые, изящные танцующие.

Потом он увидел желтое сердитое лицо Катушкина, и ему захотелось чем-нибудь развлечь этого мрачного, неподвижного старика. Ласково улыгнувшись ему, он вынул из мешочка остаток конфетти и игривым жестом избалованного шалуна осыпал целым дождем голову Катушкина.

Монументов и голубенькая барышня последовали дальше, но через три шага их догнал страдальчески-злой голос:

— Милостивый государь! Это... это... неслыханно!! Это...

Влюбленные обернулись, и Монументов в упор столкнулся с искорканным злобой и бешенством, потемневшим лицом Катушкина.

— Что вам угодно? — изумленно спросил он.

— Как вы смели оскорбить меня действием? — прошипел Катушкин.

— Я, вас? Боже ты мой! Чем?

— Зачем вы швырнули мне в физиономию какую-то бумажную дрянь? Что я вам сделал?

Голос его стал визгливым и плачущим. Нижняя губа прыгала, угрожая каждую минуту отвалиться совсем.

— Помилуйте! Какая же это дрянь... — сконфузился Монументов. — Это конфетти. На балах существует такой шуточный обычай: осыпают этими кружочками друг друга.

— Не желаю я ваших дурацких обычаев! — шипел Катушкин, трогая потихоньку висящую на нитке пуговицу. — Вот есть бальный обычай: скакать козлом на потеху добрым людям или развратно целоваться за портьерой (голубенькая барышня покраснела) — так вы и мне прикажете скакать подобно млекопитающему козлу или лизаться за портьерой? Не желаю-с! Не желаю-с!

Вокруг них стала собираться любопытствующая публика.

— Чего же вам от меня надо? — спрашивал красный как рак Монументов. — Если желаете, я могу извиниться!

— Ага! Теперь извиниться! Обидят человека, наплюют, оскорбят действием человека, а потом — ах, извините, пожалуйста! Не нужно мне ваших извинений! Я этого дела так не оставляю.

— Чего же вы от меня хотите?

Катушкин обвел покрасневшими от злости глазами собравшуюся публику и поманил пальцем распорядителя вечера, беспокойно прислушивающегося к спору.

— Г. распорядитель! Надо мной учинено насилие... Будьте добры пригласить г. околоточного¹ для составления протокола.

Распорядитель смущенно потер затылок и сказал, беря Катушкина за пуговицу:

— Ради Бога, успокойтесь! Пожалуйте в контору, там полиция делает всё по закону.

— Что вы делаете?! — завизжал Катушкин. — Смотрите! Вы мне чуть не оторвали пуговицу! Смотрите — на ниточке держится! Что же это? Уже и показаться нельзя на люди! Один бросает в физиономию какими-то... предметами, другой отрывает пуговицы! Не желаю в контору! Меня здесь оскорбили — пусть здесь и составляют протокол.

Шум разрастался.

Музыка замолкла на полуноте.

Танцующие приостановились и потом сгрудились в кучу около голубенькой барышни, которая билась в истерике.

Быстрыми шагами в зал вошел околоточный, сопровождаемый двумя городовыми.

— Господа! Прошу разойтись. В чем здесь дело? Вы говорите: он оскорбил вас действием? Ваша фамилия, господин?

— И этого запишите! — визжал Катушкин. — Они здесь все одна шайка. Тот мне чуть не оторвал пуговицу, необходимую для соблюдения приличия внешности костюма, а этот бросал в лицо какими-то твердыми предметами. У меня есть свидетели, г. околоточный! Что же это такое? Сегодня он в меня бросил твердым предметом, а завтра бросит бомбу или какое другое взрывчатое вещество. А эта девица в голубом платье, которая притворяется плачущей, — его сообщница, г. околоточный. Не-ет! Я этого дела так не оставлю!

Катушкин визжал, хватался за лицо, которое, как он уверял, было ушиблено, и тер щеку носовым платком до тех пор, пока она действительно не стала производить впечатления ушибленной...

Домой чиновник Катушкин ехал удовлетворенный, без прежнего желчного чувства к танцующим и жалости за истраченный рубль. И даже оторвавшаяся таки в конце концов пуговица — не оставила в его душе тяжелого, неприятного осадка.



ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССКАЗА

18-го декабря 1903 года Василий Покойников принес в редакцию газеты «Выггодская Простыня» свой первый рассказ «Рождественская ночь».

Рассказ был как рассказ.

В нем сообщалось об одном бежавшем с каторги преступнике, который в рождественскую ночь задумал совершить преступление. Он прокрался к одному домику на окраине города и заглянул в окно с целью узнать, кого ему придется сегодня укокошить. Преступник увидел бедную, худую мать, у которой не было даже дров, чтобы растопить печь, и понятно, что она своим телом согревала бедную худую малютку дочь, которая дрожала у нее на коленях. На столе лежала маленькая корка хлеба — и это было всё, что осталось от прежней богатой мебелировки. В лирическом отступлении автор рассказывал, что у женщины, видите ли, был муж, но его однажды перерезало поездом, так что бедной жене он уже был ни к чему... Преступник не читал этого разъяснения автора, но, поглядевши в окно, так растрогался, что, еле сдерживая слезы, ворвался в домик, сорвал с себя пальто, закрыл им иззябшую малютку, потом вынул из кармана последние 3 рубля (добытые, заметьте, как это ни удивительно, честным путем), сунул их матери в руку, прошептав:

— Сделайте на эти деньги малютке елочку.

И потом, раскаиваясь во всех своих грабежах и преступлениях, выбежал, полуодетый, в поле, где свистела и выла снежная вьюга.

Автор, по неопытности, не знал, что ему делать с раскаявшимся преступником, попавшим без пальто в снежную вьюгу — и поэтому предательски заморозил его, скрывши это преступление тем, что засыпал несчастного снегом.

Конец рассказа был такой:

А вьюга всё свистела и выла, будто торжествуя над несчастным... Засыпая в смертельном сне, он улыбнулся и — так и заснул навеки, с радостной улыбкой...

Митька Вампир искупил свои грехи...

Метель выла...

Этот рассказ появился в рождественском номере «Вьчегодской Простыни» и многим понравился.

Василий Покойников был все праздники в чаду славы и отходить стал только в Великом посту. На Масленице еще кое-кто спрашивал его:

— Это вы написали рассказ «Рождественская ночь»? Очень, очень мило.

А потом прекратились и эти вопросы.

Подходила Пасха.

За неделю до Пасхи Василий Покойников стал ходить унылый и задумчивый, а в Страстной вторник сел писать пасхальный рассказ.

Он долго тер свою талантливую голову, стараясь придумать что-нибудь особенно трогательное, но не мог. Потом ему стало жаль, что он так необдуманно воспользовался раскаявшимся преступником для рождественского рассказа, в то время когда такой преступник великолепно мог раскаяться на Пасху.

А потом писателя осенило.

Он взял газету, в которой был напечатан его рождественский рассказ, и горячим лучом своего таланта растопил снег, согнав также мороз, который сковывал собой весь рассказ...

Сметя мощным движением остатки снега, Покойников развесил по разным местам колокола, и там, где раньше выла и бушевала вьюга, — теперь раздавался ликующий, мощный, пасхальный благовест.

Голодная, бедная мать по-прежнему сидела с худой малюткой дочерью на коленях, но теперь им уже не хватало для благополучия — кулича и яичек, чтобы разговеться.

Митька Вампир, который даже в великую пасхальную заутреню не мог бросить своих позорных привычек, опять подкрался к домику, что-

бы укокошить несчастных, но, увидя, что у них нет пасхального стола, снова раскаялся и, войдя в дом уже как старый знакомый, разрыдался и дал на этот раз пять рублей (остальные два рубля были прибавлены Покойниковым как компенсация за пальто, в котором несчастные теперь не нуждались).

Жестокий закон стройности и законченности произведения неумолимо требовал смерти Митьки Вампира, такой смерти, которой он мог бы искупить свою позорную и предосудительную жизнь... Но являлось одно затруднение: теперь не было мороза! Покойников хотел сначала сжечь его жгучими лучами солнца, но выходило неправдоподобно. Перебросить же всю компанию куда-нибудь на экватор — казалось Покойникову задачей слишком сложной и громоздкой.

Покойников схитрил.

Поломал на реке лед, устроил ледоход и, посадив на льдину котенка, стал подстрекать Вампира полезть в воду и спасти его.

Безалаберный Вампир доверчиво полез за котенком, а Покойников потихоньку придавил ему спину льдиной и потопил Вампира.

Рассказ «Ночь под Пасху», напечатанный в газете «Вьгчегодская Заря», тоже очень понравился. Автор начал входить в известность. Он стал ухаживать за богатой барышней, и она, прельстившись славой жены литератора, сделалась Покойниковой.

Переехали в Петербург, и Покойников завел связи со столичными газетами и журналами.

Едва наступал какой-нибудь большой праздник, как в доме Покойниковых начиналась двойная чистка и уборка. Одна — в сфере домашней обстановки и утвари, другая — за письменным столом литератора Покойникова. Он вынимал своего Вампира, чинил его, засыпал всё снегом, или развешивал колокола, или заливал своих героев водой, а потом, проморив некоторое время мать и дочь голодом, нес свою «Ночь подо что-нибудь» в редакцию.

Печатали.

Жена очень гордилась Василием, и талант его вызывал в ней сладкий, благоговейный ужас. Любила она мужа главным образом за ум и талант, читая его произведения всегда со слезами на глазах.

Русская революция не застала Василия Покойникова врасплох. Он, не растерявшись, превратил домик вдовы в покинутую конспиративную квартиру, облачил постаревшего и обиженного жизнью Митьку Вампира в гороховое пальто¹, и бывший преступник с той же присущей ему экзальтацией выручал вдову из разных бед, как и раньше...

Жена молилась на своего мужа.

Однажды, в осенний вечер, Покойников стоял около отрывного календаря и, отворачивая листки, искал праздника, хотя бы и не такого большого, как Рождество или Троица...

Жена тут же перелистывала старьей-престарей иллюстрированный журнал, который она, роясь от скуки в книгах мужа, обнаружила на чердаке.

Переворачивая рассеянно пожелтевшие страницы, она остановила взгляд на каком-то рассказе и стала пробегать его. Рассказ назывался «Рождественское преступление каторжника»...

И, вчитываясь в него, жена литератора неожиданно побледнела... и к концу – бледнела всё более и более...

Она постепенно узнавала и домик на краю города, и мерзнувшую голодную вдову с малюткой дочерью, и каторжника, которого хотя и звали Петькой Коршуном, но он, по своим поступкам, с поразительной последовательностью напоминал Митьку Вампира...

Дочитав до последней фразы:

«Метель свистела...»

жена опустила на руки голову и тихо, беззвучно заплакала.

Она плакала о своей загубленной жизни, тосковала по рухнувшем мираже, по разбитом идеале, который теперь, не видя происходящего, стоял с нахмуренными бровями около календаря и подбирался незаметно к Рождеству.



ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

(Рождественская история)

Настроение на этом собрании было какое-то особенное, приподнятое.

Старый, пыльный чердак, заваленный массой разного хлама и украшенный красивыми гирляндами тяжелой от пыли паутины, давно не видел такого оживления и подъема духа.

Первым говорил самый почтенный из всех призраков, — призрак старого повесившегося нотариуса.

— Милостивые господа! — начал он. — Сегодня мы имеем юридическое и моральное право исполнить наше главное назначение — явиться людям, живущим в этом доме, и хорошенько напугать их. В качестве юриста я, не останавливаясь на моральной стороне дела, укажу на наше юридическое право: сегодня наступит знаменитая, популярная среди призраков ночь под Рождество, и мы будем большими дураками, если не воспользуемся хорошенько этим прекрасным случаем. Моральное освещение нашего предполагаемого предприятия я предоставляю моему уважаемому соседу, отцу дьякону.

Призрак дьякона крикнул и сказал:

— Одобряю! Прихожане погрязли в грехах и забыли о будущей жизни... Да... это самое... надо им сделать тонкий намек на это толстое обстоятельство!

Дьякон прислушался к вою ветра в трубе, потрогал свою печень и со щемящей тоской в голосе добавил:

— Сколько они этой водки вылакают за праздник — уму непостижимо!

Призраки притихли, грустно поникнув головой.

Желая нарушить печальное молчание, призрак коммивояжера поднял голову и сказал:

— А за границей мы уже являлись...

— Что?

— За границей, говорю, наш брат уже отпраздновал эту ночь.

— Почему?

— Как же! У них на тринадцать дней раньше. По новому стилю. Я был в Берлине, там являлся, теперь здесь буду.

Все с завистью посмотрели на расторопного коммивояжера, а нотариус сказал:

— В сущности, вы, как русский подданный, не имеете права являться в Берлине. Вас могли за это притянуть... Брр... как воет ветер!

Приютский мальчишка, хлебнувший в свое время под горячую руку уксусной эссенции, посмотрел в темный, не освещенный луной угол и прошептал:

— А мне, дяденьки, страшно чивой-то!

Нотариус обернулся к нему и сухо спросил:

— Ты — первый год?

— Первый.

— Сам?

— Сам. Хозяин шпандырем² уж очень дубасил.

— Причина, положим, глупая. Но являться тебе все-таки нужно... Господа, разрешите поставить на очередь вопрос: кто к кому в этом доме желал бы явиться?

— Я желаю явиться к жилище третьего этажа, моей бывшей соседке, — сказал сухощавый призрак старой девы. — Однажды я просила у нее на один час красный зонтик, а она, дрянь этакая, не дала... Напугаю я ее за это до смерти!

— Вздорная бабенка, — шепнул старый нотариус своему соседу, бакалейному лавочнику. — Я, господа, беру на себя смелость явиться в пансион для благородных девиц во втором этаже. Я имею на это юридическое право.

Хотя нотариус соврал (никакого юридического права он не имел), но ему уступили, причем бакалейщик взял на себя квартиру мануфактурщика, с которым он был знаком домами, а дьякон пожелал до смерти перепугать содержателя ресторана со спиртными напитками.

Более опытные призраки расхватили себе всех хороших жильцов, а бедный приютский мальчишка молчал, и поэтому, когда вспомнили о нем, то ему достался старый меняла четвертого этажа, сухой, черствый старик.

Втайне призрак приютского мальчишки мечтал о графе первого этажа, в квартире которого он как-то разглядел через окна красивый потолок и шкуру медведя на диване, но теперь графа забрал себе коммивояжер, и мальчишка робко согласился на скучного, неприятного менялу...

— Ну, мы будем собираться, — распорядился нотариус, — а вы, отец дьякон, пошаркайте пока по полу ногами и порычите немножко.

— За... зачем это? — умирая от страха, спросил приютский мальчишка.

Нотариус подмигнул.

— Это им там внизу до ужаса взвинтит нервы... И когда мы явимся, они уже будут хорошенько *приготовлены*.

Приютский мальчишка, оставшись на чердаке последним, задрапировался в дырявую простыню, которую ни один из призраков не хотел брать, и, вздохнув, поплелся к своему меняле.

По пути он дрожал от страха, а в голову ему приходила мысль: бросить свою простыню и удрать во все лопатки.

Но, боясь насмешек своих товарищей и чувствуя жадное любопытство к тому, как испугается его старый меняла, призрачный мальчишка отогнал трусливые мысли и бодро вошел в спальню менялы.

Хозяин раздевался, чтобы лечь спать. Он повязал уже голову платком и, почесав худую волосатую ногу, хотел улечься, как сонный взгляд его упал на стоящего в углу приютского мальчишку.

— Это что такое? — скрипучим голосом спросил он и стал вглядываться старыми тусклыми глазами... — Это что такое? Неужто привидение? Гм... странно!

Видя, что меняла не испугался, призрак мальчишки помялся немного, потом нерешительно поднял руки и зарычал:

— Гууууу!!!

Меняла неторопливо встал, взял свечу и, подойдя к призраку, окинул его строгим взглядом.

— Привиденье? — отрывисто спросил он.

– Буууу!

– Не строй дурака! Привиденье?

– Да, дяденька.

– Зачем?

Мальчишка подумал и решил сказать самое страшное, что он знал:

– Пришел взять твою душу, а потом наставить синяков на руках, на голове и исполосовать всю спину.

– Гм, – угрюмо усмехнулся меняла, – широко задумано! Для чего же это тебе нужно?..

Этот вопрос застал приютского мальчишку врасплох. Он и сам не знал, для чего ему всё это нужно.

Растерявшись, мальчишка выпучил свои призрачные глаза и снова загудел:

– Ууууу!..

– Удивительно остроумно! – сердито проворчал меняла. – Чем глупости выкидывать, лучше бы делом каким занялся... Да, право! Ходят, ходят тут всякие, а зачем – и сами не знают. «Я призрак! Я привидение! Я пришелец из загробного мира!!» Да мне-то какое до этого дело? Подумаешь! Я понимаю, если бы это кому-нибудь приносило пользу, а то ведь так – дурака валяете!

Приютский мальчишка стоял сконфуженный и еле удерживался, чтобы не расплакаться.

– А тебе, паренек, стыдно! Ты призрак молодой совсем, перед тобой вся... (старик замялся) вся... смерть впереди, а ты, вместо того чтобы делами хорошими заниматься, по ночам шатаешься, людей пугаешь. Ведь вот испугайся я, ты бы обнаглел и готов был бы мне на голову сесть, а теперь, увидев, что твое дело не выгорело, стоишь как пень и не знаешь, что делать дальше... Уу... Безнравственный мальчишка!

Меняла с презрением отвернулся от уничтоженного призрака и, кряхтя, лег под одеяло.

Приютский мальчишка, притаив дыхание, выждал несколько минут и потом, подкравшись к задремавшему меняле, потихоньку ущипнул его за ногу.

— Вот я тебе ущипну, негодяй! Ты мне будешь щипаться... Проваливай!

Призрак потоптался еще несколько минут около кровати менялы. Он попытался сдернуть с него одеяло, но неудачно, потом дернул старика за ухо.

Меняла делал вид, что спит и не замечает стараний приютского мальчишки.

Прибегнув в последний раз к своему излюбленному приему — густому гуденью — и видя его безрезультатность, призрак мальчишки горько вздохнул и, обескураженный, нехотя зашагал на чердак.

Вокруг нотариуса сидела почти вся компания вернувшихся призраков, и все обменивались впечатлениями минувшей ночи.

Общий результат был таков, что все обитатели дома перепугались до смерти.

Когда же очередь дошла до приютского мальчишки, он нагло улыбнулся и, приняв суровый вид, стал рассказывать:

— Когда он меня увидел, то чуть не умер от страха. А я на него как напал! А-а, говорю ему, такой-сякой! Делом не занимаешься, глупости всё на уме! Вот я тебя сейчас! А он плакал, просил прощенья и, залезши под кровать, трясся как осиновый лист. Я его поколотил хорошенько и ушел!



ПОЕЗДКА В ТЕАТР

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайному удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.

– Пардон-с, пардон-с, – вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике, – позвольте даме пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова...

– Господа, пардон! Позвольте даме пройти вперед и, ради Бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:

– О, чтобы тебя черти взяли! Медведь!!

Сердце Коли Кинжалова кольхнулось и провалилось куда-то далеко, далеко...

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже непоправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова – его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее пожаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

– То есть... Это кто же медведь?!

– Вы – медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

«Сейчас надо ударить, – лихорадочно-быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова. – Кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной... Благороднее и оскорбительнее...»

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

— Если вы смеете оскорбляться, то я... смею драться!! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях обыкновенно не разговаривают.

— Вы у меня узнаете, как оскорбляться!!

— Чего-с?!

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову...

— За такие оскорбления бьют... — болезненным шепотом вырвалось у Коли.

— Неужели? — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку. — Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

— Бейтесь, братцы!

Истинный художник — он интересовался не результатом дела, а его процессом...

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова забываемые на всю жизнь слова:

— Красные ушонки... паршивый зайчонок...

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

— Нет... этого я так не оставляю...

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

— Конюшенная¹ скоро?

— Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Коля шел за уходящим, цеплялся за его меховую куртку и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

– Нет, вы так не уйдете... Вы меня оскорбили...

– Ну!! – угрожающе обернулся тот. – Что нужно?!

– Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же...

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой – неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник.

– Ага... Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

– Это что еще за комедия?

– Это не комедия... это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

– На дуэ-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточку по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

– Дурак!

И вышел на площадку, ловко соскочив потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

– А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, всё, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека...

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

– Садитесь уж!.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

– Его счастье, что удрал!.. А то бы...

Потом небрежно улыбнулся:

— Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только... Ха-ха! с более печальным для того человека исходом... Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте...

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

— Сажусь я в трамвай и, представьте...

Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

— Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

— То есть, не трамвай... а этот самый... как его...

— Дирижабль? — подсказал кто-то из угла.

Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:

— Ну, вот... вы еще скажите: воздушный шар! Да... сажусь в дилижанс, а он меня как-ак толкнет! «Извинитесь!» — «Не желаю». — «Извинитесь!» — «Не желаю». — «Ага... не желаете?» — Схватил я его, да в запертое окно — трах! — и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! хе-хе-хе...

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но, вместо того чтобы потребовать от купца извинения, он тихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

— А то еще был со мной такой забавный слу...

— Ладно, пойдем, — нервно вскочила Лизочка. — Нам здесь сидеть.

Коля Кинжалов и Лизочка, съездившись под мелким дождем, молча шли к театру.

Коля ненавидел и театр, и ботинки, и Лизочку, и себя — главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы, остановился около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодуяще и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

— Эх, ты! Курица... Туда же... Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь присутствия Лизочки, беззвучно плакал.



ПЬЯНЫЙ

По тротуару Невского проспекта шел тихими шагами господин.

Проходя мимо освещенной витрины парикмахерской, он задорно подмигнул парикмахерской кукле¹, споткнулся о темную тень от фонаря и потом с неопределенной улыбкой на лице остановился посреди тротуара с целью завести часы.

Вывув из кармана дверной ключ, он с трудом продел его в часовое кольцо и, повернув несколько раз, успокоенный, побрел дальше.

В голове у него бродила смутная мысль, что хорошо бы сказать сейчас гревшимся у костра извозчикам какую-нибудь утешительную речь, или поцеловать морду унылой лошади на углу... или спеть что-нибудь такое, от чего все бы плакали.

Господин остановился около чугунного льва перед дверьми какого-то магазина и ласково погладил холодную спину зверя.

— Зазяб, пуцик? Ну, пойдём со мной, дурачок... Ну?

Видя, что лев не обратил внимания на ласковое приглашение, господин вздохнул, схватился за голову и, пошатываясь, побрел дальше.

Господин медленно приближался к ярко освещенному подъезду кафе, и по мере приближения благодушная улыбка на лице его всё тускнела и тускнела, давая место недоумению и испугу.

Остановившись недалеко от подъезда, он открыл рот и, смотря в завесу ночи остекленевшими от ужаса глазами, стал прислушиваться к гудению большого дугового фонаря...²

— Господи! — прошептал он. — Что же это такое? Гудит!..

К его удивлению, гуляющая публика совсем не обращала внимания на это гудение, проходя мимо с самыми равнодушными лицами.

На душе у господина сделалось тяжело.

Он неожиданно схватил какого-то маленького худого прохожего за руку и таинственно отвел его в сторону.

— Что вам угодно? — спросил тот изумленно.

— Вы... ничего не слышите?

— Ничего. А что?

— Гудит!

— Что гудит?

— Вы слышите?! Гу-у... Это ужасно!

— Что ж такое? Это обыкновенный дуговой фонарь.

— Но ведь он гудит!!

— Это ничего не значит. Послушайте... шли бы вы спать!

Господин заплакал и, цепляясь за руку прохожего, вскричал:

— Неужели вы это дело так оставите?

— Да какое же дело?

— Гудит! Ах ты, Господи! Гудит, а они идут мимо... Звери... дикари...

Господин подошел к пожилой даме и, взявши ее за голову, наклонил к своему уху.

— Гудит? Слышите? — таинственно шепнул он.

Дама закричала.

— Чего ты кричишь? Легком... мысленная женщина.

— Я позову городского!

– Верно! Может, начальство обратит внимание... Я сам пойду позову городского.

Оставив легкомысленную даму, господин подошел к городовому и стал делать ему рукой таинственные знаки... Он кивал пальцем, моргал глазами, причмокивал и, выпучив щеки, шептал:

– Г. городской! Г. городской!

– Что прикажете?

– Обратите ваше внимание...

– На что, господин?

– Гудит!

– Где? Что?

– Пойдем, покажу.

Подтащив городского к фонарю, господин со страхом поднял палец вверх и шепнул:

– Гудит!

– Да-с. Фонарь.

– Городовой?! Зачем он гудит!

– Да вам-то что, господин? Пусть себе гудит.

– Городовой?! Зачем он так?

– Идите спать!

– Не могу я этого так, милый, оставить!

– Что же вы сделаете?

– Поеду... к... градоначальнику! к преосвященному... Пусть они обратят внимание. Гудит... Несчастный я человек.

Городовой ушел, а господин стоял, подняв измученное, утомленное лицо к фонарю, и грозил ему пальцем:

– Гудишь! Я тебе погу...жу!

Он задумался и потом поправился:

– Погудю!

Проходила какая-то девица:

– Пойдем со мной, дуся.

– Миллая! Не могу я пойти.

– Почему?

– Как же я его так оставлю!

Он долго и подробно стал объяснять девице о причинах, удерживающих его здесь.

— Ну, какое тебе дело, что гудит? Что тебе такое? Фонарей не видал?

— Господи! Никто меня не понимает... Ведь гудит он! Понимаешь, так: гууу...

— Да тебе обидно, что ли?

— Не могу я так этого оставить... Пойми меня: иду я по улице тихо, благородно, никого не трогаю, а он вдруг гуу... гудит! Как я могу это оставить? Ведь это — столица.

— Ну и стой здесь как дурак.

С хитрой улыбочкой господин погрозил ей пальцем, сел на ступеньки подъезда и, расстегнув бобровую шубу, сказал:

— Не могу я этого так оставить! Гудишь? Гуди, чтоб ты лопнул! Я около тебя посижу.

Господин задремал. Тротуары пустели, огни постепенно гасли, и, когда запоздалые посетители кафе наконец вышли, выругав рассеявшегося на ступеньках человека, фонарь неожиданно перестал гудеть. Он странно замигал, блеснул ярко еще раз и — погас...

— Ага! — сказал господин, удовлетворенно вздыхая. — А то — гудеть. То-то.

Улыбнулся, прищелкнул пальцами и, запахнув шубу, пошел неверными шагами по тротуару, постепенно удаляясь, пока не слился с серой тьмой дремавшей улицы.



СЛУЖИТЕЛЬ МУЗ

-К вам можно?

Не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет боком протиснулся высокий парень с тупым взглядом исподлобья и порывистыми, без всякой логики, движениями.

– Это вы самый и есть редактор?

– Не скрою... Я действительно немного замешан в этом деле.

– Так. Странно только, что лицо у вас не редакторское. Такое какое-то... недалекое.

– Послушайте...

– Да вы не обижайтесь... Ведь я не ставлю вам этого в вину.

– Что вам нужно?

– Принес стихи!

– Хорошо... Оставьте! Ответ через две недели...¹

– Э, нет! Мы эти шутки знаем... Я хочу, чтобы вы их сейчас прочли?²

Будучи втайне зол на посетителя за его отзыв о моем лице, я решил затянуть ответ еще больше, чем на две недели.

– Зайдите как-нибудь зимою. Тогда я... Впрочем, можно прочесть их и сейчас!

Последняя фраза была произнесена мною невольно, после того как я поднял глаза на посетителя и увидел направленное на меня дуло револьвера.

Съездившись, я небрежно спросил:

– Вы хотите показать мне систему вашего револьвера?

– Нет, я хочу показать свою систему беседы с людьми вашего пошиба. Скажите, хотели бы вы получить кусок свинца в лоб?

Я категорически отказался от этого:

– Во-первых, мне сейчас некогда! Затем, ваше предложение так неожиданно... Я подумаю. Зайдите на днях.

– Да ты стихи прочтешь или нет?! – заревел посетитель, потрясая револьвером.

– Конечно, конечно... Я уверен, что стихи ваши превосходного сорта.

– Еще бы! Эй! Убери от звонка лапу, а то я ее перешибу!!

– Вы думаете, я хотел позвонить? Глубоко ошибаетесь... Какой у вас красивый почерк!

– Нужно быть упадочником и дегенератом, чтобы, держа такое произведение в руках, восхищаться только почерком. Читай – но с чувством! Это с чувством?

Я исполнил его приказание лишь наполовину, потому что стал читать рукопись с чувством глубокого отвращения. Она начиналась так:

Что вы, жирные? Что, серые?
Дьявол вас на свет призвал...
Думы — мышши... вас без меры я
Ненавидел. Целовал
Ваш овал.
Как шаман, я дик, я страшен —
Не хочу в подвал,
Одинок, я в зубьях башен
Череп овал
Целовал!..

Закрывши глаза и приложив в рассеянности револьвер к животу, поэт наслаждался музыкой своих стихов. Я хотел потихоньку дернуть его за руку, палец которой был на курке, но поэт открыл один глаз и вопросительно посмотрел на меня.

— Читали вы что-нибудь подобное?

Совершенно искренно я ответил:

— Ничего подобного не читал.

— То-то же... Вы третью строку поняли?

— Ах, это где мышши?.. Очень, очень мило.

— Вы поняли, что такое мышши?

— Как же! Это такие серые животные из породы грызунов, которые...

— Боже! И такой человек — редактор! Ну где у вас мозги? Я спрашиваю, где ваши мозги?

Опасаясь, чтобы он в поисках моих мозгов не вспомнил о револьвере, я поспешил замять этот щекотливый вопрос.

— А эта строка у вас — чудо что такое!

Как шаман, я дик, я страшен...
Не хочу в подвал!

— Ты догадался, почему он не хочет в подвал?

– Гм... Конечно! Надеюсь, у него были основательные причины для этого.

– У тебя в разговоре ужасно пошлая проза... Я уверен, что тебе не понятна даже такая элементарная строка:

Одинок я в зубьях башен...

Испытал ли ты такое одиночество?

– Откровенно говоря, такое одиночество мне не выпадало. Так, вообще, кое-что... было.

– Тебе, вероятно, незнакомо и это переживание:

Череп авал
Целовал...

Переживал ты это?

– Погодите... Дайте вспомнить! Вы говорите: овал черепа? Нет!..
Насколько память мне не изменяет — не приходилось.

Я скорбно вздохнул:

– Да и где мне! Так, живешь себе без всякого удовольствия...

– Потому что ты не поэт, а червь.

– Совершенно верно. Это вы тонко подметили.

– Ну так вот... Оставляю тебе это стихотворение... Не благодари!
Терпеть не могу, когда мне руки лизут. Заплатить можешь сейчас. Постой — сколько тут строк? Десять? Ну, будем считать для ровного счета — пятнадцать... я беру по три рубля строка (это ты заруби себе на носу), значит, сорок пять... ну, для ровного счета — пятьдесят рублей!

Искоса взглянув на револьвер, я вынул из бумажника деньги и робко положил на стол.

Взявши их, он сказал:

– Только слово «серые» напечатайте серой краской...

– Виноват, но типографские условия...

Стуча револьвером по столу, он отчетливо отчеканил:

– Знайте, что для меня типографских условий не существует! Я хочу, чтобы мои стихотворения производили на публику впечатление...

— ...бреда сумасшедшего, — хотел докончить я вслух, но промолчал.

Когда он встал и спрятал опасное оружие, собираясь прощаться, я предложил ему, втайне дрожа от радости, что он уходит:

— Можно там, где вы говорите о жирных мышах...

— Ну...

— Напечатать слово «жирные» жирным шрифтом. Это произведет впечатление...

— Идиот!

Он презрительно пожал плечами и вышел, пропуская ко мне в кабинет нашего сотрудника.

— Скажите, — угрюмо спросил я, — что это за сумасшедший?

Сотрудник удивленно посмотрел на меня.

— Сумасшедший?.. Это известный поэт-модернист. Его везде охотно печатают.

Я уткнулся в бумаги и проворчал:

— Охотно вам верю.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

(Из выставочных встреч)

До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит займы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, — и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины¹.

Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через всё полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом — голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, — что передо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе. — Ловкач художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной, и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был всё время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я наконец, потеряв терпение. — Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой.

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.

– Я? Автор этой картины! Какова штука?!

– Да-а... Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?

– Это? Господи Боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус 18». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

– Соната?

– Соната.

– Вы говорите, 18-й опус? – мрачно переспросил я.

– Да-с, 18-й.

– Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус 24-й?

Он побледнел.

– Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво всмотрелся в его зеленое лицо.

– Объясните мне... какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

– Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к 14-й сонате.

Я грустно улыбнулся.

– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! 14-й сонаты я не увижу.

– Почему?!!

– Потому что их всего 10. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего 10. Старикашка был преленивым субъектом.

– Что вы ко мне пристаёте?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и всё! На высоких нотах... Я и переживал.

– Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего 6 – им и состряпано².

Мой собеседник, удрученный, стоял опустив голову и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи, — попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжался над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую, честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «7-я fuga Чайковского³, Оп. 9, изд. Ю.Г. Циммерман».

Он не сдержал обещания. Я — тоже.



НАСТОЯЩИЕ ПАРНИ

Глава I. ЗНАКОМСТВО

Чуть-чуть не упал!

— Чуть-чуть не считается.

Этими знакомыми каждому бильярдному игроку тривиальными возгласами обменялись двое играющих: маркёр и приятный господин, с быстрыми черными глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, поклонившись приятному господину, сказал:

- Не желаете ли со мной одну?
- Пожалуйста. В «пирамидку», по 5 рублей.
- Сделайте одолжение.

Чувствуя к нему непобедимую симпатию, я ласково улыбнулся и стал выбирать кий.

Первую партию я проиграл. С добродушной приветливостью он согласился на вторую, которую проиграл я же. Потом ему, очевидно, неловко было отказывать мне в продолжении игры, и я проиграл девять партий, заплатив всё, что было у меня в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочувственно, и, когда я снял с пальца бриллиантовое кольцо, он долго уговаривал меня не делать этого.

Но во мне заговорил игрок. Это воображаемое беспокойное существо заговорило во мне так сильно, что после кольца пришлось заткнуть ему глотку золотыми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не говорил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них ничего, кроме мелочи, решительно подошел к вешалке.

— Пальто! — предложил я.

Он ответил лаконически:

— Нет. Холодно. Замерзнете.

Дрожа от нетерпения, я сжал лихорадочными руками голову.

— Вот что... У вас есть слуга?

— Нет! — сказал он, смотря на меня.

— Ставлю месяц своих услуг у вас, в качестве камердинера или чего другого, — против двадцати пяти рублей.

Наморщив брови, господин решительно подошел ко мне.

— Покажите руки! Ого... Мускулы есть. Работать всё умеете? Неприхотливы? Сигар воровать не будете? Ладно. Месяц службы у меня идет в двадцати пяти рублях. Пицца моя.

Я старался играть как можно осторожнее и лучше, но он играл с диким вдохновением и выиграл у меня эту партию так же, как предыдущие, — очень быстро.

Я хотел предложить еще месяц службы, но он бросил кий и строго сказал:

— Баста! В качестве хозяина запрещаю вам предлагать мне продолжение игры. Как вас зовут?

— Григорием, — почтительно ответил я.

— Ладно. Я тебя буду называть Гарри. Гарри! Возьми платяную щетку и счисти с меня мел.

Я почистил его платье, подал пальто, и мы вышли, незнакомые еще друг с другом, чужие...

Я был молчалив и шагал сзади, усталый, перемазанный мелом, а он, легкой молодцеватой походкой, шел впереди, насвистывая прекрасный мелодичный мотив.

Мы пришли в лучшую гостиницу города. Непосредственно за этим очутились в прекрасном номере из двух комнат, служившем, очевидно, моему хозяину временной квартирой.

Я снял с него пальто и остановился у дверей.

Он развалился на диване, забросил ноги на его спинку и сказал:

— Гарри!

— Что угодно?

— Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я хочу поужинать с тобой, причем разрешаю держать себя со мной как с равным. Слуга на сегодня — к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на него, задравши ноги, и весело сказал:

— А каким ужином ты бы меня, милый человек, накормил? Э?

— Позвони, пожалуйста, мы сейчас обсудим это с метрдотелем. Кнопка у дверей.

— Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я дьявольски устал. Кнопка у дверей...

Через десять минут мы сидели за прекрасным, обильным ужином. Мой хозяин, которого на сегодня мне было разрешено называть Мишей, был мил, добродушен и джентльменски вежлив.

— Гарри! — повторял он, наливая мне вина. — Ты настоящий парень. В знак благодарности я небрежно кивал головой.

— Может, ты, Гарри, интересуешься знать, кто я такой? Я, брат, уфимский помещик Михаил Петрович Дыбин. Да... Помещик я. Две тысячи десятин земли, имение, мельница, образцовый питомник.

Я равнодушно зевнул.

— Две тысячи? Удобной много?

— Много.

Он помолчал, подлил мне вина и, потом, положив свою руку на мою, весело воскликнул:

— Нравись ты мне, Гарри! Ты — настоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я тебе. Никакой я не помещик, и земли у меня удобной нет. В этом смысле вся земля нашей планеты для меня неудобная, потому что не моя. Меня смешит: откуда это я про питомник взял? Скажешь и сам не знаешь, как это оно вышло.

— Ничего, Миша, — улыбнулся я. — Ты меня не обидел этим.

Мы чокнулись.

— Да, брат. Где там быть мне помещиком... Живу я с того, что имею в Тифлисе дом. Купец я. Домина доходный, на Арнаутской улице... Только управляющий жулик.

— А ты его прогони, — посоветовал я, разрезая рябчика.

— Прогоню, — пообещал Миша.

Потом, выпив залпом стакан хереса, он хлопнул меня по плечу и залился хохотом.

— Гарри! А ведь это я тебе соврал. Врешь вот и сам не знаешь — зачем? Никакой я не купец и не помещик, и дома у меня нет, и насчет управляющего я не имею права сказать дурного слова, потому что управляющего-то нет... Гарри! Ты, я вижу, стоящий парень и без пред-рассудков... Знаешь, кто я?

— Генерал от инфантерии? — добродушно спросил я.

— Вор, Гарри, самый настоящий профессиональный вор! Но я этим, Гарри, не горжусь. Гордость — скверное мелкое чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.

— Тогда, — сказал я, вставая, — я должен перед тобой извиниться... Я принимал тебя, признаться, за человека другого склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые часы с его монограммой и жемчужную булавку, которая во время игры украшала его галстук.

Он удивленно посмотрел на меня, схватился за карман, за галстук и потом крепко пожал мою руку.

— Спасибо. В таком случае я, по справедливости, должен вернуть тебе твоё кольцо и часы. Потому что, хотя они тобой и проиграны, но, главным образом, потому, что я тихонько переложил пару твоих шаров к себе.

— Каких? — спросил я деловым тоном.

— 14 и 10.

— Гм... Тогда я отбираю, конечно, часы. Потому что, хотя я тоже переложил к себе, когда ты зазевался, два твоих шара, но это были 9 и 7. Разница в мою пользу.

Мы помолчали.

— Ты, однако, хорошо устроился!

— Опыт, Гарри, опыт! Когда я приезжаю в какой-нибудь город — мне нужен только тяжёлый чемодан и три рубля. Я еду в лучшую гостиницу и, первым делом, ни с того ни с сего бросаю швейцару на чай последние три рубля. Затем требую самый дорогой номер. По гостинице разносится дураком-швейцаром слух, что приехал дьявольский богач. Непосредственно затем я спускаюсь в ресторан при гостинице, требую ужин, вина, фруктов, сигар — так, рублей на двадцать. Это для того, чтобы сразу задолжать хозяину, и ему будет жаль потом со мной расстаться. Эти дураки всегда льстят себя надеждой получить долг. Ну а потом... когда мне больше не вмоготу — я бросаю свой чемодан на произвол судьбы и еду в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.

— Из всех кирпичей, которые после моего отъезда обнаруживались в чемоданах, можно было бы к моему юбилею построить небольшой, но доходный домик, хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.

Ложась спать, хозяин сказал мне:

— Гарри! Ты любишь женщин?

— Женщины — зло! Но я никогда не желал себе добра.

— Гарри! Недавно я вступил с одной рябой кухаркой в преступную связь. Меня, нужно тебе сказать, привлекает не приятная шероховатость ее лица при поцелуях, а ее господа, и, главным образом, те маленькие штучки, которые лежат в столике спальни госпожи.

— Я тебе нужен? — серьезно спросил я.

— Да. Завтра господа уезжают в театр или еще куда-то. Пока я буду предаваться с кухаркой изнеженности нравов, ты можешь совершить поступок, недостойный джентльмена, — войти в спальню честной женщины.

— Сделано, — пообещал я, засыпая.

Я спал спокойно. Мне и не грезились те странные, непостижимые, неожиданные вещи, которые случились со мной сутки спустя...

Глава II. ДЕЛО

Притворяясь лихим, веселым парнем без предрассудков, я должен сознаться, что втайне страшно побаиваюсь: а что, если читатель отнесется ко мне не с благосклонной улыбкой, а с отвращением и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.

Поймете ли вы меня, когда я скажу, что у меня не поднялась бы рука убить муху... Но если бы у той же мухи звенел в кармане кошелек и по желтому брюшку змеилась часовая цепь — я, не задумываясь, лишил бы собственницу этих сокровищ времени и денег.

Будь это американская муха, она была бы ужасно огорчена пропажей, потому что уж это известно: для американцев дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серьезно, то ничего особенно предосудительного в нем и не было... Дебютировал я бумажником одного солидного на вид господина. Но наружность обманчива! Целый вечер я потерял на чтение глупейших любовных писем, среди которых довольно сомнительную ценность представляла просроченная ломбард-

ная квитанция... И золотые часы, выгащенные вскоре после этого у другого господина, оказались самой наглой возмутительной подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я немедленно вручил эту машину незнакомому мальчишке, уронившему на улице бутылъ с молоком и оравшему так, будто он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись перед читателями, перехожу к вечеру следующего за нашим знакомством с Дыбином дня.

— Гарри! — сказал мне Дыбин, когда мы шагали к предмету его пылкой привязанности — кухарке, носившей на лице пустяковые остатки черной оспы. — Ты не осуждаешь меня за связь с женщиной не нашего круга?

Я протянул ему руку:

— Нет, Миша! Ты должен только возвысить ее до себя.

— Ладно. Только, если я не ухитрюсь проделать это сегодня, — я вообще не сделаю этого, потому что сегодня мне хочется провести то, что банковские деятели называют: ликвидация предприятия.

Когда мы вошли в кухню, то были встречены с тем энтузиазмом и пылкостью, которые приобретаются лишь долголетним дежурством у плиты.

У кухарки была гостья — прачка из ресторана, но это наших планов не портило.

Дыбин взял меня под руку и, расшаркавшись перед дамами, сказал:

— Хотя в свете не принято приводить к очаровательным хозяйкам друзей, которые могут отбить этих хозяек (мелодичный визг кухарки и хихиканье прачки), но я взял на себя такую смелость, потому что это — мой лучший друг. Он пять раз спасал меня от смерти, не говоря о том, что вынырнул меня! Что? Вы говорите, он моложе меня? Сударьни! Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон!¹ Занимая скромную должность полотера в монакском посольстве, друг мой сохранил до сих пор ясность мысли и

здравость суждений, в чем легко можно убедиться, даже не дотрагиваясь до него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий весенний ручей, и дамы не сводили с оратора затуманенных восторгом и преклонением глаз.

Я поклонился с той скромностью, которая выгодно отличала меня в отношениях с людьми, и, подойдя к прачке, благожелательно ущипнул ее за локоть.

Такой галантный прием вызвал из уст прачки легкое восклицание восторга. Она кокетливо хлопнула меня по плечу подносом, который до этого застенчиво вертела в руках, и мы сразу почувствовали себя легко и свободно.

Сели, и разговор с житейских и общественных — перешел на литературные темы.

— Вы читали «Ника Картера»?² — спросила меня прачка, поправляя в волосах элегантный цветок из красной папиросной бумаги.

— Не удосужился еще. Теперь я занят штудированием многотомного труда «Путешествие Пипина Короткого к истокам африканской реки Какао-Шуа»³. Штучка, достойная удивления.

— Не скажу, — поморщился Дыбин. — Лучшие труды по этому вопросу принадлежат не Бетховену, а Святополку Окаянному⁴.

Потом мы пили чай. А когда кухаркины господа уехали и наверху воцарилась тишина — мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно, под заунывный, исполненный прачкой, мотив:

— Тралла-ла-ла-ла...

А потом с огоньком и завидным оживлением протанцевали кадрили⁵.

Дыбин на мотив «По дорожке зимней, скучной»⁶ пел «Прибежали в избу дети»⁷.

Особенное веселье и бешеная пляска шла под слова:

Безобразный, труп ужасный
Посинел и весь распух...

А после слов:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились, —

я так развеселился, что сделал, к восторгу дам, замысловатое сальто-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за ужином пили наливку. А потом я встал и печально, но твердо сказал:

— Мне пора!

— Нет уж, посидите еще, — умоляюще попросила кухарка.

Прачка придавила под столом мою ногу и со вздохом сказала:

— Конечно. Мы понимаем. Их ждут дамы в шляпках. Где нам!

— Сударыня! — вскричал я. — Поверьте: ваш образ навсегда зафиксирован в моем сердце. Кроме вас, у меня нет ни одной дамы. Были, но... «Одних уж нет, а те далече», как некогда остроумно выразился Сади Карно...⁸ Сударыня... Пожалуйста мне эту розу с ваших волос... Я засушу ее в книжечке для записи расходов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, чем привел ее в восторженное замешательство, а с прачкой дружески и тепло расцеловался... Две чистых, прозрачных слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить меня в парадную дверь, но Дыбин ласково обнял ее и решительно сказал:

— Нет, моя жизнь... Ты устала, и тебе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. Кроме того, мне нужно сказать ему на прощанье несколько слов, о которых вам, женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, тронутую его заботливостью, по спине и вышел со мной в переднюю.

— Ну, Гарри, действуй! Шагами можешь не стесняться, так как я сейчас начну орать песни; только обламывай дельце скорее, потому что те могут вернуться каждую минуту. Дай я тебя поцелую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и пошел по лестнице наверх, в комнаты хозяев, а Дыбин открыл парадную дверь, сказал громко «до свидания!» и, захлопнув ее, вернулся в кухню.

Я бесшумно крался по комнатам и, пройдя столовую и кабинет, без труда нашел спальню хозяев. Другая дверь из нее вела в уборную, в которой горел слабый ночник. Я оставил ботинки и пиджак в уборной, вернулся в спальню и решительно приступил к запертой шифоньерке, где, по словам Дыбина, лежало многое из того, что могло потом скрасить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.

Когда карманы мои оттопырились, я аккуратно задвинул ящик и уже сделал шаг к уборной за ботинками, как внизу послышался звонок, потом шаги кухарки и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне было как-то неловко... Сейчас хозяйка дома застанет в спальне меня, смущенного, сконфуженного и незнакомого ей человека... Чем я могу оправдаться? Э, черт возьми! Да там и мужской голос?! Неужели это муж?!

Не рассуждая, я прислушался к приближавшимся шагам и юркнул под монументальную кровать, стоявшую в углу.

До меня донесся шорох шелковых юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский. Знаешь, Сережа, мой уважаемый супруг, вероятно, удивлен, что я за последнее время не устраиваю ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской. Ха-ха! Как ты ухитрилась сплавить его из театра?

Женский. Сказала, что мне нужно отдать кухарке распоряжение и, кроме того, написать письма двум институтским подругам. Он и уехал с этим идиотом Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и взглянул на разговаривающих. Он был без сюртука, а она с голыми руками и грудью, что заставляло жестоко страдать мое врожденное целомудрие...

Глава III. РАЗВЯЗКА

В делах любовного характера я никогда до сих пор не играл позорной, пассивной роли, которая выпала теперь на мою долю... У дамы были круглые, гибкие руки, смутной белизной мелькнувшие передо мной, когда она стягивала со стройной ноги черный чулок... Но эти руки должны были обвиться не вокруг моей, а вокруг посторонней мне шеи... Когда дама отошла к туалетному столику, на котором горела свеча, — свет свечи упал сзади на прозрачную сорочку, и контуры голого тела красавицы рельефной тенью обрисовались передо мной... Но эта тонкая талия должна была сжаться не моими руками... Стройные, прекрасные бедра, молодая расцветшая грудь, черные, глубокие глаза — всё это было не мое, и у меня поэтому в душе стало подыматься глухое чувство недовольства против ее наглого обожателя.

Я считал его виновным во всём.

Своим несвоевременным появлением он подвел меня самым бессовестным образом...

Он явился с чужой женой, и я, несмотря на всю свою неиспорченность, догадывался, что он поставил себе твердой целью сделать энергичное покушение на права несчастного мужа...

Наконец, он своим идиотским смехом и тихими поцелуями будил во мне нехорошие чувства, которые, может быть, без этого дремали бы себе да дремали...

Когда он подошел к кровати и его нога очутилась около моего носа, я даже хотел ущипнуть его за эту противную, тощую конечность, но благоразумие отдернуло мою руку, тем более что снизу донесся какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась... Потом, в ужасе, неожиданно воскликнула:

— Боже ты мой! Муж... Мы погибли.

В таких случаях все жены и их обожатели почему-то уверены, что «они погибли», хотя всё дело обыкновенно кончается несколькими подзатыльниками по адресу любовника и парой-другой упреков, несмело брошенных жене. Жена доказывает, что виноват, в сущности, муж, и

это так удручает законного владыку, что он забывает пустить обожателю вслед каминные часы или прибор для снятия ботинок. Так что украшение щекотливого положения любовников эффектной фразой «мы погибли» лишней раз доказывает пустоту и вздорность всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги обожателя, юркнувшего в уборную, где лежал мой пиджак, шаги мужа, приближавшегося к спальне, и легкий прыжок в кровать — жены, у которой зубы стучали от совершенно бессмысленного страха.

— Ты не спишь, Маруся? — спросил муж, входя и приближаясь к кровати.

— Не сплю, мое сокровище.

— Отчего ты так бледна, моя жизнь?

— Ничего. Здесь холодно.

— Что ты! Здесь африканская температура!

— Неужели? Значит, мне жарко.

— Но ты дрожишь... Эге-ге!! Что это за мужская шляпа здесь на стуле?!!

— Жан! Это недоразумение! Клянусь тебе...

Я решил, что мне время начать действовать.

Стараясь сохранить независимый вид, я выполз из-под кровати, сложил на груди руки и печально, но твердо сказал:

— Нет, Жан. Это не недоразумение!..

Муж отшатнулся от меня. Жена вскрикнула и спрятала в ужасе голову под одеялом.

— Да... Я ее любил и люблю. Но, умоляю вас, не обрушивайте свой гнев на эту кроткую страдалицу! Я виноват один. Если хотите, я дам вам всяческое удовлетворение.

— Негодяй! Вы осмеливаетесь...

— Сударь! — твердо сказал я. — Вы можете убить меня, но не оскорблять. (Втайне я предпочел бы обратное.) Я ее любил... Но разве это вина? Где корень любви?.. Спросите цветок, оживающий под лучами росистого утра, спросите птичку...

— К черту птичку! — заревел обиженный супруг.

— Правда, если вы желаете, — это пернатое может быть удалено из ряда метафор без ущерба для доказываемой мной аксиомы...

Моя солидная, внушительная речь стала, очевидно, действовать на мужа. Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла голову и вскричала, закрывая лицо руками:

— Жан! Поверишь ли ты мне, когда я тебе поклянусь, что не знаю этого господина?!

— Маруся! — сурово сказал я. — Надо быть мужественной. Мы обманывали твоего уважаемого мужа, но мы же должны найти в себе смелость и сознаться в этом.

— Но я вас не знаю! Это что-то удивительное... Как вы сюда попали?

— Я? Маруся! Неужели ты и сейчас будешь обманывать этого достойного человека?.. У меня и раньше было тяжело на душе, когда ты уверила его, что едешь отдать распоряжение кухарке и написать ненаписанные письма мифическим подругам... кроме того, ты непочтительно отозвалась о симпатичном приятеле твоего мужа Крышкине, назвавши его идиотом.

— Сударыня! — угрюмо сказал муж. — И вы еще осмелились называть Крышкина идиотом?!

— Да... Вы осмелились?! — с ноткой возмущения в голосе поддержал я.

— Жан! Я схожу с ума! Он мне совершенно незнаком...

— Мужчина без сюртука в вашей спальне? — вскричал муж.

— Да... И вы в стороне?! Имейте мужество...

Лучшим выходом из положения сбитой с толку дамы было — залиться слезами, каковой жидкостью она и не замедлила залиться.

Я сказал:

— Итак, я к вашим услугам. Вот моя карточка. Разрешите мне надеть в уборной мой сюртук...

Он сел на кровать и сделал усталый жест.

Я сунул ему в руку карточку моего портного, посмотрел укоризненно на плачущую жену и вошел в уборную.

В полутьме мне бросилась в глаза жалкая, скрюченная фигура, прятая за рукомойником.

Снятый ранее в спальне скюртук валялся тут же на столике.

Испуганный обожатель приподнялся и сделал мне умоляющий жест.

— Что вы наделали! Я погиб! — прошептал он.

Я ответил наставительно, тоже шепотом:

— Надо быть нравственнее. Разврат к добру не ведет, молодой человек.

— Вы... уходите?

— А что же мне здесь... В кошки-мышки играть, что ли?

— А... я?

— А вы как знаете... Прощайте.

— Послушайте... Вы надели мой скюртук... отдайте!

— Убирайтесь к черту, — энергичным шепотом посоветовал я.

— Там деньги... Бумажник!! Я закричу...

— Закричи, идиот, — согласился я. — А я скажу, что ты — вор и спрятался, чтобы обокрасть этих добрых людей. Муж теперь за меня горой будет стоять. А ей никто всё равно не поверит.

— Тогда спасите меня.

Он цеплялся за меня дрожащими от ужаса руками. Я оттолкнул его ногой и вышел в спальню.

— Сударыня! — сказал я, подойдя к кровати. — Надеюсь, после вашего бессмысленного запирательства и двойного обмана этого доброго человека — между нами всё кончено.

Она продолжала плакать.

— Не спрашивайте ее пока, — попросил я утрюмо смотревшего на нее мужа. — Бедняжка сильно любила меня и никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый зонтик, который он держал в руках, и тихонько выскользнул из комнаты.

Стараясь не шуметь, я спустился с лестницы (сам!.. честное слово — сам), еле дыша, открыл английский замок парадной двери и через секунду очутился на свежем, холодном воздухе.

Из-под темных ворот отделилась тень и прыгнула мне навстречу.

— Гарри! Цел?

— Всё благополучно, хозяин. Ну, как твой роман с кухаркой? — насмешливо спросил я.

— Гарри! Душа моя разбита. Всё с ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.

— Что делать! Я также окончательно разорвал с ее госпожой.

И, когда я рассказывал ему историю своего краткого романа, бешеное ликование прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у меня было на три тысячи бриллиантов, новый сюртук и шестьсот рублей в кожаном бумажнике... А потому, что не ошибся во мне...

По его словам, я был действительно *настоящим парнем*.



КАТЬКА

У Катьки черные, немного сонные глаза, губы маленькие, ярко-красные, вечно искривленные гримасой недовольства, и щеки, покрытые пушком, как у персика... Росту она высокого, фигура стройная, и восемнадцатилетняя грудь всеми силами старается выбиться из тесной бумазейной¹ кофточкой на свет Божий, имея нескромное желание смутить и раздражить своей белизной и упругостью всех окружающих противоположного Катькиному пола.

Ранним утром крохотный Алексей, которого все в доме называют Лобзиком, просыпается и с кровати кричит:

— Катька! Поцеюй меня.

Катька подходит, наклоняется к Лобзику и равнодушно, без тени нежности, исполняет эту обязанность, лежащую в числе других, более сложных, на Катьке.

Поцеловав Лобзика, Катька спешит приготовить ему какую-то дрянь из манной крупы, но в столовой натывается на гимназиста Вольдемара, брата Лобзика.

— Чудная Катька! Единственная Катька!.. — шепчет он, глядя на Катьку помутневшими глазами.

Потом дотрагивается до ее груди.

— Катька... Почему материю покупала?

Гимназист вовсе не обуреваем стремлением получить точный ответ... Этот меркантильный вопрос задается им с тою единственной целью, что после него Вольдемар может потрогать материю, обнять Катьку и проделать вообще целый ряд других привлекательных вещей.

Несколько раз подряд он крепко, затяжными лихорадочными поцелуями старается разбудить Катьку. Но Катька лениво отстраняется и без тени какого-либо чувства шепчет:

— Оставьте, барчук. Идите учиться... Целоваться грех.

Вольдемар вздыхает, передвигает плечом на спине ранец и выходит, давая дорогу своему отцу, хозяину квартиры и принципалу² горничной Катьки.

Отец оглядывается, подкрадывается к Катьке и тихо говорит:

— А дай-ка я тебя, Катька, поцелую.

Катька слабо вырывается, смотря в стену мертвыми глазами, и думает о чем-то другом. С таким же успехом хозяин может целовать и предмет теперешнего внимания Катьки — голую стену.

— Дерево... — печально и сердито шепчет он и перестает целовать Катьку. — Катька! Сбегай за папиросами.

Под воротами Катьку встречает молодой младший дворник. Он обрушивается на Катьку со всем пылом туземца Гвадалквивира³, хотя сам уроженец Тульской губернии. Катька неторопливо вырывается и холодно шепчет:

— Пусти. Нехорошо... грех.

Хозяин мелочной лавочки долго не дает ей папирос, обнимая дрожащими руками талию Катьки и шепча ей, тускло равнодушной, несложный арсенал комплиментов своей специальности:

— Рафинад! Душистый горошек-с!⁴ Дюбек лимонный-с!⁵

Катька зевает. Ей даже лень вырваться.

После обеда к Катьке приходит в гости ее старуха мать.

Она долго сидит в Катькиной каморке, глядит ей в лицо, целует ее волосы, глаза, — в то время, когда Катька блуждает по потолку безучастным, холодным взглядом.

— Мертвенная ты какая-то. Пойду я.

— Идите, мама, — вздыхая, говорит Катька.

Поздним вечером в комнате Катьки сидит приказчик галантерейного магазина Сомова — Вася Снурцын.

Это — единственный человек, который не целует ее. Изредка приглаживая завитые волосы и поправляя галстук, он читает газету, чистит ногти, а потом ужинает, с апшетитом уничтожая холодные котлеты и пирог.

Катька ходит около него, дрожа, наклоняется к завитым волосам и впивается в них долгим, тихим поцелуем. Приближается к приказчицкой щеке, трется подбородком об его галстук и потом долго, быстрыми прикосновениями, целует ладонь его большой белой, пахнущей туалетным мылом руки.

Приказчик Вася читает газету и после ужина.



СОЛИДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Записки делового человека

Я — человек аккуратный.

Ложась спать, я каждый вечер аккуратно отрывал листок календаря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился в кровать, аккуратно каждую ночь засыпая.

Но однажды я нарушил этот прекрасный порядок, и всё пошло к черту.

В тот несчастный вечер, с которого всё началось, я, по обыкновению, прочел календарный листок, но почему-то не лег спать, а заглянул в следующий, честное слово, с той только целью, чтобы угадать, что мне придется читать завтра.

Назавтра я должен был пополнить свои знания способом американцев делать из бумаги дома — и это мне не понравилось.

Я заглянул в «послезавтра». Послезавтра календарь осведомлял публику о последних предсмертных словах разных великих людей, и эти афоризмы я читал уже в газетной «смеси» раз восемьдесят.

Огорченный, потерявший терпение, я углубился дальше.

Дни летели передо мной, как секунды, и, несмотря на то, что на дворе был снежный январь, я уже перелистал март, апрель и уже купался в горячих волнах жгучего летнего солнца.

В меню всё время мелькала земляника со сливками, компот из свежих персиков и салат из помидор. Я чувствовал, что эта роскошь, при осуществлении ее, нанесет моему скромному бюджету тяжелый удар, и поэтому, миновавши «виноград и американскую дыню», я расстался с золотистой меланхолической осенью.

Теперь передо мной проносилась холодная снежная зима с заносами и вьюгами. Я благополучно подходил уже к веселому, жизнерадостному Рождеству, как вдруг на 18-м декабря споткнулся.

Я никогда не забуду этого дня.

Это было идиотское 18-е декабря...

Наверху было скромное благонамеренное изречение: «Старайся прожить свою жизнь хорошо, и тебе будет прекрасно житься», внизу было вкусное сытное меню, зато посредине...

Я прочел вот что:

АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ. Все миллиардеры начинали ни с чего! Ярким примером этого может служить популярный в Америке Джонатан Джонс, который в начале своей карьеры миллиардера слонялся оборванный, буквально без гроша¹. Найдя однажды на улице апельсиновые

корки, он отправился на главную улицу и аккуратно разложил их на мостовой, спрятавшись потом за углом. Многие прохожие, наступив на корку, скользили, он, выскакивая, поддерживал их, и ничего на это, кроме слов благодарности, не выручал. Но один солидный господин, поддержанный им, вынул из кармана четверть доллара и дал их галантному оборванцу. Джонс на эти деньги накопил немного дешевого товара и, разжившись, сделался миллиардером...

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, улегшись на нее, провел ночь, не смыкая глаз.

Несколько апельсиновых корок и... миллиардер! Вот они — сказки жизни...

Всю ночь мне грезилась яхта в Средиземном море, дворец в Пятом Авеню² и конюшня, битком набитая арабскими лошадьми.

И над всем этим ярким солнечным пятном сияла одна жалкая апельсиновая корка — тот ключ, который должен открыть волшебную дверь к яхте, дворцам и лошадям.

Всю ночь я не спал, а к утру у меня созрело непоколебимое решение.

Я решил сделаться миллиардером.

Утром я отправился в банк и взял для начала дела те три тысячи рублей, которые составляли весь мой капитал.

Этот день так же, как и следующие, я провел в самых отчаянных хлопотах.

Мне нужно было найти приличное помещение для конторы в тихом деловом квартале; заказать торговые книги и нанять несколько человек расторопных, смысленных служащих, которые бы знали бухгалтерское и вообще торговое дело и были бы мне преданными, усердными помощниками.

Контору я нашел с большим трудом, потому что мне необходим был под помещением конторы обширный, сухой подвальный склад.

Это стоило дорого, но мне знаком принцип, что солидность — половина успеха предприятия.

Легче всего было заказать бухгалтерские книги, которые мне изготовили под солидным и громким заглавием на корешках:

ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЕЛЬСИННЫХ КОРОК

Я едва выбрал время, чтобы заехать в оптовый фруктовый склад и потолковать с хозяином его о доставке мне апельсинов по оптовым ценам. Мы условились, что я буду получать, по минимальной цене, от двадцати до двадцати пяти ящиков в месяц, причем первая партия должна быть доставлена в мой погреб сегодня же.

Работа закипела.

Через неделю аппарат дела был уже настолько хорошо налажен, что мы могли приступить к практической работе.

Так как четверо моих служащих (бухгалтер, его помощник, кассир, которого я, для экономии, нанял также в качестве делопроизводителя, и телефонист) были до начала операции свободны, — я всех их занял чисткой апельсинов, на что ушел целый день.

В этот же день мне впервые пришла в голову мысль: как поступить с очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль, и мы решили съедать их, — чтобы эти вкусные плоды не пропадали даром.

К вечеру мы имели изрядный запас корок, но на другой же день я не мог выйти на работу, потому что с нашими желудками случилось что-то странное.

Это странное прекратилось только через три дня, и никаких дурных последствий оно не имело. Кассир (он же делопроизводитель) уверял, что к апельсинам легко привыкнуть, для чего их нужно чаще и больше есть.

Наконец, я отправился на работу. (Не желая первое время ставить дело слишком en grand*, я обхожусь пока без помощников. В будущем

* широко (вариант пер.: масштабно) (фр.).

же я решил завести целый штат разбрасывателей корок, организовав их на манер артели.)

В одной руке я нес корзинку с корками, в другой ящик, в котором лежали корпия, бинты и пластырь.

Выбрав людную улицу, я разбросал на большом пространстве корки и стал выжидать счастливых случаев.

Тут же я убедился, что без помощников предприятие это очень трудное, потому что на окраинах отмежеванного мною участка прохожие падали без моей поддержки и, вставая, ругались на чем свет стоит.

Центром я заведовал довольно успешно, поддерживая поскользнувшихся и поднимая упавших, за что к вечеру в моем кармане уже звенело несколько монет.

Результатом я был доволен, но меня огорчало одно: сегодня около сорока человек выразили свое мнение, что бросивший корки — дурак и идиот.

Скользя и падая, каждый считал своим долгом сказать вслух:

— Какой это идиот набросал здесь апельсиновых корок!

А так как корки-то набросал именно я — самолюбие мое было очень уязвлено.

Кроме вышеприведенного, сердце мое сжималось оттого, что к концу трудового дня моя профессия приобрела мрачную трагическую окраску...

Один старик, поскользнувшись, сломал ногу, а маленькая гимназистка вдребезги разбила свою русую головку о тротуарную тумбу!

Тут же я решил, когда дело разовьется, завести собственные каретки скорой помощи и набрать штат расторопных докторов.

На другой день, утром, я внес кассиру всю вырученную мной наличность, а бухгалтер расписал ее по книгам в графу «Валовой доход от предприятия».

Предприятие разворачивалось медленным, но верным и нормальным ходом.

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически... Спеша к упавшему прохожему, я поскользнулся сам о собственную корку и разбил коленную чашечку. Теперь хромаю.

Нужно будет завести сапоги с шипами.

Какой ужас: сломал руку старый генерал, и вышиб глаз, наткнувшись при падении на палку, молодой господин.

Сегодня скандал.

Полиция, заметив, что я разбрасываю корки, поймала меня и представила в участок. Господи — за что?! Я дал свой адрес. Что-то будет!

Крах! Самый ужасный, неожиданный крах всего предприятия.

Все увечные, узнав из газет о «разбрасывателе корок», предъявляют ко мне гражданские иски, и, кроме того, прокурор возбуждает против меня уголовное преследование! Что-то будет?

Сегодня, отправляясь на суд, я увидел три подводы, привезшие ящики с апельсинами.

Увы! Их некому даже принять, потому что кассир (он же делопроизводитель) убежал с оставшейся в кассе тысячей рублей, а бухгалтер умер в больнице от острого желудочного расстройства.

Помощник его и телеграфист сидят теперь одни в пустой конторе и грустно ждут, пока я выдам им жалованье.

В тюрьме мне пришлось прочесть очень забавную книжку — сочинение Грибоедова. Оно называется «Горе от ума», и мне особенно понравилась в нем одна фраза:

«Всё врут календари...»³



ЖЕРТВА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Неизвестный господин вошел в наш небольшой магазинчик, заняв собою всё свободное пространство и, отфыркиваясь, обратился ко мне:

— Хочу у вас кое-что приобрести.

— Мы счастливы, что ваш выбор упал именно на наш торговый дом. Но и вам повезло, что вы попали сюда: лучше и дешевле товара — нет ни в каком другом магазине.

— Ладно там.

Он не был толст. Он не был даже дороден, но вся его фигура, как причудливая елка, была обвешана разными свертками, коробками и узелками. Ни одна пуговица или крючок не оставались пустыми. Карманы же каждую секунду угрожали лопнуть. Общий вид господина был уездный. Черноземом несло от него.

— Что прикажете показать?

— Дайте мне сначала, гм... перчатки!

— Для вас, monsieur?

— Для моего покойного дедушки! Я думаю, для меня.

— Какой номер?

— Провались они, эти проклятые номера! Дайте мне номер... ну... двадцать первый, что ли!

Я отшатнулся от стойки.

— Это... неслыханный размер!! Будьте добры показать ваши руки...

Он покорно выпутал руки из целой массы веревок и ленточек и протянул мне.

Руки были самые обыкновенные.

Измеривши их, я пожал плечами.

— Ваш размер, самое большее — семь с четвертью.

— Ну?

— Уверю вас.

— Я их всегда путаю, эти номера. Тот, что я вам сказал, это для корсета моей жены.

— Двадцать первый?

— Да. Чего вы так глаза таращите?

— Ха-ха!.. Вам не улыбается быть на каторге?

— Что-о тга-акое?!!

— Я только хочу вам посоветовать: если у вашей жены такая талия — никогда не рискуйте заключать ее в пылакие объятия... Она переломится, как соломинка! И вас будут судить за убийство жены, с участием сословных представителей¹.

Он захохотал.

— Шутник вы, и больше ничего! Дайте-ка мне еще воротничков стоячих.

— Номер?

— Дьявольщина! И здесь номер? Ну, дайте семнадцатый.

Я перестал с ним церемониться.

— Когда вас, monsieur, будут, не дай Бог этому случиться, вешать... то и тогда номер петли будет в два раза больше.

— Что это значит?

— Что вам нужен 42—43-й.

— Неужели?

— Клянусь вам.

Он разразился проклятиями.

— Совершенно я сбиг с толку! Покупал калоши — один номер, ботинки — другой... Очки — третий! Шляпу — четвертый... и все разные! Профессор какой-нибудь, и тот не запомнит!

Я осмотрел издали его покупки и остановился на одном подозрительном свертке.

— У вас в семье несчастье?

Покупатель испугался.

— А что такое?

— Я вижу завернутое в бумагу нечто, похожее на детский гробик!

— Что вы! Это калоши.

— Номер?

Он заскрежетал зубами.

— Отстаньте от меня! Кажется — 42-й!

— Вы их, вероятно, покупали в морском министерстве?²

— Нет, в магазине. Да! Дайте мне еще мыла. Вот только номер я забыл.

— Номера не надо. Ведь не на нос же вы его наденете.

Радости его не было предела.

— Что вы говорите! Восхитительно! Дайте мне тогда... десять кусков.

Когда я заворачивал, он взял один из кусков, осмотрел и, швырнув его, ударил кулаком по стойке.

— Извольте видеть! Мыло перенумеровали!.. 4711-й!³ Не хочу я 4711-й! Дайте мне 953-й... или 2149! Почему именно 4711?

Насилу я успокоил его.

Расплатившись, он нагрузился теми же свертками.

— А эти, новые, положите на моего извозчика.

Мальчик вынес покупки и сейчас же вернулся назад.

— Там нет извозчика!

— Как нет?! Ты врешь, негодный мальчишка!

Я выглянул за двери и сказал:

— Действительно, вблизи нет ни одного экипажа.

Покупатель схватился за голову и застонал.

— Что я наделал! Ведь на нем был детский велосипед, два пуда муки и деревенские подарки!!

— А вы номера извозчика не запомнили?

— Подите вы... подальше! Боже! Эти номера доведут меня до сумасшедшего дома!

— Заметьте, что и там вы будете под номером, — сочувственно предупредил я.

Размахивая покупками, он выбежал из магазина, но скоро вернулся, еще более растерянный и убитый.

— Что прикажете?

— Скажите... Я не говорил вам случайно, где я в Петербурге остановился?

- Нет. В гостинице?
- У знакомых. Улицу помню — Садовая... А номер забыл. Ей-Богу.
- Вы прописаны в участке?
- Кажется.
- Тогда можете узнать, где вы живете, — в адресном столе!
- А где стоит этот стол?
- Не стоит, а находится... Вы не забудете? Беспанельная улица, дом № 49, квартира № 37.

Он смотрел на меня. Лицо его всё краснело и краснело. Потом на губах выступила розовая пена, потом он закачался и наконец, увлекая свои нумерованные покупки, во весь рост грохнулся на пол.

Хоронили его без особенной пышности. В мертвецкой, до похорон, он лежал под номером четырнадцатым.



БОЙКИЙ РАЗГОВОР

Посвящаю С. М-р¹.

Я кончил чтение рукописи своего рассказа. Яркие блестящие глаза хозяйки, ее искренний интерес и напряженное внимание показывали, что рассказ имеет успех. Но — раздался звонок. Звонок...

Влетели две дамы, составленные из двух громадных шляп, двух нелепых саков² и двух длиннейших боа, обвивавших две шеи.

Втайне я искренно пожалел, что эти боа³ не были живыми, но явно выразил бурную радость по поводу того, что заключаю такое приятное, интересное знакомство.

— Что это вы читаете? Рассказ? Вы писатель? О, писатели — опасные люди... Смотрите, вы меня не опишите.

Дамы это часто говорят, и я всегда в ответ глупо ухмыляюсь. Ухмыляться на такие слова умно — не имеет никакого расчета.

Сели. И серая тоска немедленно вползла в комнату...

— Сейчас спросят о театре, — шепнул я хозяйке.

— Ну, как вы живете? Бываете в опере?

Хозяйка вздохнула.

— Давно уже не бываю. Не приходится.

— Да? Скажите! А вы, молодой человек, бываете в театре?

— Бываю, — угрюмо отвечал я.

— В каком же?

— В анатомическом⁴.

Дамы пугливо переглянулись.

Скука вписала в нашу жизнь длиннейшую паузу.

— Чаю не желаете ли?

— Ах, нет, что вы! Ни за какие миллионы. Впрочем, от чашечки не откажусь.

Чай выручил минут на пять.

Но когда на лице хозяйки появилось выражение холодного смертельного ужаса от сознания, что нить разговора бесследно утеряна, я пришел на выручку:

— А вы, сударыня, бываете в театре?

— Да. Недавно была в «Фарсе»⁵.

Какая пытка... О чем с ней говорить?

— Что же там, этого... как его!..

— Что такое?

— Я хотел спросить — весело ли?

— В «Фарсе»? Да, весело.

Я скрыл мучительную гримасу бешенства и обратился к другой:

— Ну, а вы бываете в театре?

— Да, но я люблю оперу.

— Неужели? Как это странно?! Какую же вы любите оперу больше всего?

— Мне нравится «Пиковая дама»⁶.

— Гм... да. Бойко написанная штучка.

Я иссяк.

Очевидно, очередь была за другой, односложной, дамой. Она покрутила головой и спросила хозяйку:

— В парке гуляете?

— Нет. Не могу выбраться.

— А вы, молодой человек?

— Я? Очень часто. Больше всего — в воздухоплавательном или в артиллерийском⁷.

Хотя я не был понят, но разговор, кажется, начинал налаживаться.

Разошлась односложная дама:

— Вообще, природа мне ужасно нравится. Деревья всякие... птицы. Хорошо бы жить где-нибудь на лугу и ночевать в палатке. А вы любите это, молодой человек?

— Как же! Удобнее всего в таких случаях спать в пробирной палатке...⁸ Полная гарантия от ревматизма.

Вторая обрадовалась:

— Кстати о ревматизме! Вы можете представить, милочка, что у Василь Сергеича доктора нашли чахотку.

По лицу хозяйки было видно, что она, к своему огорчению, не подозревала не только присутствия чахотки, внедрившейся в Василь Сергеича, но даже не слыхивала о существовании его самого.

Однако умелым расположением лицевых мускулов — хозяйка выразила необходимый интерес к событию.

— Да что вы! Ах, какой ужас. Это такой маленький, с желтой бородкой!

— Нет, высокий, бритый.

Молчание, следовавшее за этим, могло быть объяснено как дань скорби по поводу злосчастной судьбы высокого бритого малого.

Я кощунственно нарушил паузу:

— А знаете, моему знакомому вчера отрезало поездом голову.

Эта нелепая выдумка оживила разговор.

— Что вы говорите! Я не читала об этом в газетах.

— Это понятно, почему. Когда его нашли, он заклинал не придавать гласности случившегося, так как огласка могла повредить ему по службе.

– Ах, так! Вообще, эти поезда! Мой муж, например, опоздал вчера на три часа.

Очередь вытягивать разговор была за любительницей оперы, но она, очевидно, сбилась, потому что выжидательно посматривала на меня.

Я махнул рукой на всякий здравый смысл:

– Итак, вы решительно утверждаете, что, кроме «Фарса», ни в каких театрах не были?

– Представьте, не была.

– И вы могли бы это показание подтвердить даже присягой?

– Боже мой! Почему?

– Это очень важно. А вы, сударыня... Вот вы говорите, что любите оперу. Хорошо-с. А любит ли ее также ваша тетка?

– У меня нет тетки!

– Печальное упущение. Но муж ваш не враг театра?

– Нет, он ходит в оперетку, иногда на концерты.

Решительно, я овладел нитью разговора. Некоторое однообразие его искупалось той бесконечностью плоскости, на которой мы стояли. Я выпытал у дам театральные вкусы всех их родственников, друзей и знакомых. Закончил Василь Сергеевичем. Оказалось, что этот юноша был большим поклонником кинематографов и паноптикумов.

Судьба его была почтена опять долгим, длительным молчанием, будто бы присутствующие умственно обнажили перед чахоточным молодым человеком голову.

Я проклинал себя за неосторожность. Очень нужно было мне сводить разговор на эту трагическую личность! Нить разговора от соприкосновения с ним моментально лопнула.

Все с нескрываемым интересом стали следить за минутной стрелкой на каминных часах. Она проползла вершка⁹ полтора.

На втором вершке хозяйку повело судорогой, и она страдальчески выдавила из себя фразу:

– А у нас... Горничная уходит.

Я вскочил. Кресло со стуком грохнулось на пол. Все вскрикнули от ужаса.

Подскачивши к дамам, с пеной у рта, я кричал:

— Зачем вы явились сюда?! Что вам нужно?! У вас было важное, неотложное дело? Ваша жизнь была бы разбита и дела пришли бы в упадок, не явись вы сюда?! Да?

Общее оживление сменило нудную тишину.

— Господи Иисусе! Он с ума сошел!

Хозяйка смотрела на меня с тайным сочувствием.

— Да? Вы так думаете? А на борьбе вы были? «Веселую вдову»¹⁰ видели? А черта в ступе вам не удалось видеть? Как здоровье Дьявола Семеньча? Он кашляет, да? Ах, как жаль! А если вы увидите Василь Сергеича, — скажите, что я его при встрече поколочу! Мне этот болезненный молодец надоел! Кстати, «Голгофу» вы не видели?¹¹ Ха-ха-ха!!!

И, не прощаясь, я выбежал на улицу.



В РЕСТОРАНЕ

Фокусы! Это колдовство! — услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд — непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ — был дурак.

Был дурак, в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

— Не более как ловкость и проворство рук.

— Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсаживая собственный ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

— Хорошо! Что здесь нет колдовства, я, хотите, докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

— Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-датор?¹

— Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их!

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

— За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

— Вполне постижимо! Ну, идет — сто рублей?

— Нет, это много! У меня есть пять рублей.

— Да ведь мне всё равно... Можно меньше. Хотите — три бутылки пива.

Черный ядовито подмигнул.

— Да ведь проиграете!

— Кто, я? Увидим!

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел их руки.

— Вы смотрите на часы и следите, чтобы не больше пяти минут.

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

— Раз, два, три! Начинаю.

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож и, поставив тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

— На пиджаке тоже есть?

— Как же... Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком съпались на тарелку.

— У меня и на брюках есть, — корчась от смеха, говорил черный. — И на ботинках.

— Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь — всё будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

— На ботинках... по восьми пуговиц. Посмотрим, как-то вы успеете за пять минут пришить их обратно?!

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, — проворчал:

— Готово. Всё!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

— 82 штуки! Ловко.

— Теперь пойдя, принеси мне иголку и ниток, — скомандовал фокусник. — Живо, ну!!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

— Поздно... Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

— Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам 3 бутылки пива и, кстати, скажи: сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

— Ку... куда же вы?

«Фокусник» зевнул.

— На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день.

— А... пуговицы... пришить?

— Что? Чего же я их буду пришивать, раз проиграл... Не успел — моя вина. Проигрыш поставлен. Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа у вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

— Гос-споди! Что же это будет?

.....
Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который вероломно покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго, без слов, хохотали.



КАМЕНЬ НА ШЕЕ

I.

днажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба...

Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, — очевидно, с чужого плеча, — полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. — Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

— Не мешайте мне! Уж я так решил...

— Что вы решили? Что вы делаете?!

— Слепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться...

— Это безумие! Я не допущу вас до этого!..

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

— Всё равно — нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Выгнать самоубийцу не представляло труда, так как на том месте, где он стоял, было неглубоко — немного выше колен.

— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот. — Что вы задумали?! Это и грешно, и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на

песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

– Пампасов, – сказал он вежливо.

– Каких пампасов? – изумленно спросил Рюмин.

– Это я – Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

– Очень приятно, – всё еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин. – Моя фамилия – Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

– Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые волны... Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

– Ну, успокойтесь... Чего, в самом деле... Я уверен, всё обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются...

– Да у меня никакого потрясения и не было, – проворчал, уронив голову на руки, Пампасов.

– Тогда чего же вы...

– С голоду... С нужды... Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах...

– Только-то? – оживился Рюмин. – Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и всё такое.

– Я милостыни не принимаю, – угрюмо проворчал Пампасов.

– Какая же это милостыня? Заработаете – отдадите. Пойдемте ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой, грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II.

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным,

затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал «мы, братья-писатели», то Рюмин искал, главным образом, литературной работы...

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. — Ликуйте! Нашел вам работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами.

— Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь. Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же ее закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться...

— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы это такое говорите... Да живите себе, пожалуйста. Я думал, вам скучно — и хотел что-нибудь...

— Спасибо, — сказал Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх!

Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул:

— Эх! Таковую силу в себе чувствую, что, кажется, весь мир бы перевернул... Труд! Какая в этом односложном слове мощь...

Он опустил голову и задумался.

— Так бы хотел пойти по своему любимому пути... Работать по призванию...

— А какой ваш любимый путь? — несмело спросил Рюмин.

— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке — какое это прекрасное, высокое призвание...

III.

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване и читал книгу.

— Дьявольски приходится работать, — сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску. — Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

— Да, вообще, живопись... В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу.

— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные... Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся.

— Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в голову, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру.

— Да вы ведь сами говорили...

— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти, и моя жизнь всецело в ваших руках... Ну, скажите... Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую... Что же мне делать? В сущности, я ювелир, и безумно люблю это благородное занятие... Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, — есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать — двадцать...

Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение...

IV.

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неутомная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — попеременно...

Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке... Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита услатить куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.

— Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!..

— Вы говорите глупости! Я вас не знаю... И потом, если об этом узнает Николай Петрович...

— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь¹, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно². А?

— Сумасшедший! Что вы... делаете?..

Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя.

«Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин. — Ему мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов... Он еще пользуется и моими женщинами!»

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря куда-то в сторону:

— Эй!.. Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов. — Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове...

V.

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел.

— Вы... серьезно? Значит... вы опять толкаете меня в воду?

— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы выгнать вас. Да вы и не будете топиться!

— Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу голову.

— С удовольствием! Пойду еще посмотреть, как это вы топиться будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

— Так, по-вашему, в воду?

— В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль, на камень, делая вид, что не смотрит... А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближающихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих... — Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспорили... Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, дружески в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

— Я милостыни не принимаю!..



ЛЕГЕНДА СТАРОГО ОЗЕРА

I.

Это случилось очень давно... в 1645 году.

В эти старинные годы на берегу Старого озера стояла финская деревушка, а в ней — избушка, а в избушке жили супруги Куртуляйнен — старый Матвей и Марта.

Общее мнение было таково, что Матвей вел себя препустейшим бездельником, а Марта была самой вздорной, злобной финкой во всей деревушке.

Однажды вечером, когда Матвею Куртуляйнену надоел оживленный диспут с супругой, он мимоходом запустил в нее табуреткой, захватил бутылку водки, удочку и пошел на свое всегдашнее место — Чертову скалу Старого озера. Как всегда — опустил удочку в воду, отхлебнул из бутылки и предался своему главному занятию — глазеть на женщин, купавшихся в нескольких десятках саженей от него...

Злой дух толкнул на этот раз Марту последить за мужем. Когда она, подкравшись, увидела ухмылявшееся лицо Матвея, следившего с

любопытством за коренастыми, краснотельными, коротконогими купальщицами, то взмахнула скалкой и завизжала:

— Ах ты, негодяй! Так-то ты рыбу удишь?! Вот же тебе! Хозяйство пропиваешь, бездельничаешь?! Вот тебе за всё!

Флегматичный Матвей поднялся, сказал:

— Ничего. Мы это кончим.

Схватил жену поперек тела и бросил в воду. Потом сел на Чертову скалу, закурил трубку и стал с интересом смотреть на борьбу жены со смертью.

Но радость его была непродолжительна.

Марта вынырнула, сделала несколько энергичных взмахов и, уцепившись за прибрежный камень, стала выползать на сушу — мокрая, страшная, молчаливая.

Сердце Матвея упало. Он вскочил с искаженным от ужаса перед грядущей расправой лицом, вылил в себя остаток водки и, предпочтя лучше смерть, взмахнув руками, решительно бросился в пучину.

Тело его — рыбаки нашли через три дня...

II.

Однажды летом в 1910 году на берегу Старого озера сидели два купальщика: художник Воздухов и поэт Ключин.

— Скажи, пожалуйста, — спросил Воздухов, — у этого озера есть какая-нибудь легенда?

— Почему ты это спросил? — удивился поэт.

— По-моему, каждая такая штука должна иметь свою легенду. Я не встречал ни одного замка, ни одного порядочного озера, которое не имело бы своей собственной легенды...

— Да... — тихо вздохнув, сказал Ключин. — У этого озера есть своя старая поэтичная легенда. Мне ее рассказали суровые прибрежные рыбаки в один тихий весенний вечер, когда природа как будто притаилась в истоме, и облачко...

— Ладно, рассказывай!

Ключин устремил взор на далекий загадочный лес и начал:

— Давно-давно, в незапамятные времена на берегу этого озера стояла деревушка... В этой деревушке жила красавица, по которой вздыхал не один окрестный парень, — такая красавица, что, где бы она ни появлялась, всё озарялось прекрасным умиротворяющим светом ее лица. Но на самых богатых, самых интересных парней Марта смотрела равнодушно: она любила только своего мужа, своего Матвея Куртуляйна, имя которого она носила и милее которого не было у нее никого... Первые годы счастье их было безоблачно, но... с некоторого времени красавица Марта начала замечать, что Матвей стал задумчивым, рассеянным и к ней как будто охладел. Он забросил работу, дела и все дни и вечера проводил один, удаляясь на Чертову скалу — безлюдное, страшное место, куда редко кто рисковал показываться... Любящее сердце Марты наконец не выдержало. Однажды вечером она тихонько последовала за мужем. И увидела она, что он сел на выступ скалы, подпер голову руками и стал пристально смотреть в воду... И, по направлению его взгляда, вода как будто закипела, запенилась, и показались головы женщин с рыбьими хвостами и лицами, прекрасными как луна... И они запели что-то тихое, нежное, отчего у Марты сжалось сердце, а муж ее смотрел, не отводя глаз, с лицом, пылающим любовью и счастьем... И любящее сердце Марты не выдержало. С коротким криком: «Если они тебе дороже, чем я, так я хочу сделаться такой же, как они, чтобы опять завоевать твое сердце!» — она разбежалась и бросилась с обрыва в воду. Вскочив, Матвей сразу опомнился и, издав дикий вопль, бросился за красавицей, но вода опять вскипела, расступилась, и прекрасные водяные обитательницы с криком: «Он наш!» — увлекли его в пучину... На другой день утром на берегу нашли бесчувственную Марту, вынесенную на берег неведомыми руками, а Матвей — так и исчез в пучине. Но память о нем живет до сих пор!..

Клюнин замолчал.

Молчал и Воздухов, подавленный суровым величием легенды.

Молчало и озеро, поглотившее в себе мятежное сердце мужа красавицы и крепко таившее в своих пучинах эту тайну.

Молчали и деревья. Молчали и птицы.

Ужасная участь Матвея вырвала наконец вздох из груди Воздухова, и он сказал:

— Да...

Где-то тихо всходила луна. Вскочила...



ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В КОРКИНЕ

I.

Граждане города Коркина основали воздухоплавательный клуб. Недавно председатель клуба, акцизный чиновник Собаков, устроил чрезвычайное собрание, на котором сказал звучную, красивую речь:

— Наша цель, господа, завоевание воздуха! А что мы вместо этого делаем? Пьянствуем, ссоримся, сплетничаем... Разве это достойно порядочных авиаторов? Мы должны летать, и всякий, в ком бьется сердце настоящего пилота, должен приветствовать этот шаг!

— На чем же ты полетишь, Собаков? — спросил, недоверчиво качая головой, учитель Кикин. — У нас нет ничего, кроме аппарата, сделанного коллегой Абрамсоном, — такого тяжелого, что его шесть человек едва поднимают.

— Не шесть, а четыре, — сказал угрюмо изобретатель Абрамсон. — Он бы и полетел, да мотор слишком слаб.

— А вы сделайте мотор побольше, — возразил Кикин, пожимая плечами.

— Тогда крылья окажутся слабыми.

— А вы сделайте крылья больше!

— Нельзя. Тогда мотор будет слаб!

— Господа! — возвысил голос Собаков. — Из опыта нашего товарища Абрамсона мы видим, что аппараты тяжелее воздуха нам пока

нужно оставить. Займемся сферическими шарами... я предлагаю приобрести складчину один шар и попробовать на нем осуществление гигантской идеи завоевания воздуха.

— Я могу даже купить на свой счет оболочку, — заявил домовладелец Бурачков.

— А я, в интересах науки, готов наполнить шар на свой счет газом, — поддержал аптекарь Луцкий.

— А я закажу корзину, — решил купец Поддувалов.

— Прелестно! — всплеснул руками Собаков. — И мы, как в Реймсе, устроим воздухоплавательную неделю¹.

II.

На окраине города Коркина собралась праздная публика и, заняв собой всё обширное поле, любовалась дико и изумленно на небольшой серый шар, гордо колыхавшийся в тихом воздухе.

— Господа! Не напирайте, — умолял Собаков, суется около шара. — Полет будет виден всем — зачем же вы напираете?

— Страшно лететь небось? — спросила какая-то женщина в платке и шумно вздохнула.

— Господа! — скомандовал Собаков, обращаясь к небольшой кучке членов клуба. — Занимайте ваши места.

Лететь собралось шестеро: домовладелец Бурачков со свояченицей, купец Поддувалов, аптекарь Луцкий с зубным врачом Шайкиной и Собаков...

— Прошу занять места в корзине, — повторил Собаков. — Не волнуйтесь, господа! Будьте покойны, мадмазель Шайкина, и не визжите — здесь нет ничего страшного. Первый момент покажется неожиданным, а потом — полное удовольствие! Садитесь, мадмазель Бурчумова! Луцкий, вы взяли приборы для измерения высоты? Прекрасно.

— А я закусить взял кой-чего, — сказал Поддувалов, подмигивая. — Любопытно, знаете, в надзвездных сферах рюмку выпить.

Когда все сели, Собаков в последний раз опытным глазом оглядел шар и вскочил в корзину.

— А балласт взяли? — крикнул из кучки остальных воздухоплавателей учитель Кикин.

— Взял. 4 мешка.

Собаков сделал публике приветственный жест и крикнул рабочим:

— Отпускай веревки!

.....
— Ну? — спросил Абрамсон, подходя к корзине шара. — Отчего же вы не летите?

— Не могу понять, — растерянно сказал Собаков. — Канаты отпустили?

— Отпустили. Попробуйте балласт выбросить!

Собаков выбросил мешки с песком и сел на свое место.

— Не летит?

— Ни с места.

Собаков почесал затылок и обвел глазами сидевших в корзине.

— Извините, господа... но кто-нибудь должен слезть... Много народу насело. Луцкин... вам придется слезть.

— С какой стати я, — сказал Луцкин. — Вот еще! Я дал газ, да я же и лететь не могу? Вот еще!

— Тогда вам придется слезть, — развел руками Собаков, обращаясь к Поддувалову.

— Со своей-то корзины? — обиделся Поддувалов. — Ни в жисть не слезу!

Пилот Собаков вздохнул.

— Тогда, может быть, барышни уступят? — нерешительно сказал он.

Свояченица Бурачкова и зубной врач Шайкина, сконфуженные, слезли и отошли в сторону.

— Отпустите веревки! — скомандовал Собаков.

— Да они уже отпущены.

— Черт знает что! Господин Бурачков... может быть, вы слезете?

— Я? Вы с ума сошли! Вы, кажется, забыли, что оболочка моя. Сами слезайте!

— Мне нельзя, — сказал Собаков. — Я пилот.

— В сущности, — пожал плечами аптекарь Луцкин, — что такое пилот? Будто это какая-нибудь должность или занятие? Вот вы говорите — пилот. А что вы умеете сделать на этом шаре такого, чего бы мы не могли? При чем здесь — пилот? И если нужно выбирать между людьми, которые принесли материальные жертвы нуждам воздухоплавания, и теми, которые не принесли материальных жертв нуждам воздухоплавания...

— Пожалуйста! — сказал Собаков, криво усмехаясь. — Я слезу! Не видал я вашего шара... Подумаешь тоже — воздухоплаватели! Пропеллера от планера отличить не могут, а туда же — лететь! Шлепнетесь без меня об землю — так вам и надо!

Зловещее предсказание Собакова не могло сбыться, потому что, хотя он и слез, но шар остался на месте.

— Чего же вы не летите? — ядовито сказал Собаков. — Летите!

— Кому-нибудь еще слезть нужно, — растерялся Луцкин. — Слезайте, Поддувалов! Мы полетим с господином Бурачковым.

— Попробуйте! — сказал утрюмо Поддувалов. — А я сниму свою корзину.

— Но ведь нас троих шар не подымет!

— А мне наплевать.

— Что же вы — так и будете сидеть?

— Так и буду.

Все трое посмотрели друг на друга злыми глазами, отвернулись и застыли в напряженном ожидании.

III.

Публика, зевая, расходилась с поля. Некоторые ругались, а некоторые рассудительно возражали им:

— Так нешто можно — шток полететь? Выдумки одни. Никак человеку полететь в небо невозможно.

Сквозь публику, толкаясь, прошла жена Поддувалова и негодуяще сказала:

— Вот он где! Ищу я его дома, старого дурака, а он — вот он где! Извольте видеть — в корзину забрался и сидит. Старый человек, второй гильдии купец!

В публике захохотали.

— Вылезай из корзины, старый бесстыдник! Хучь бы людей постеснялся.

Поддувалов сконфузился и обернулся к Луцкину.

— Черт с вами! Летите — пусть пропадет моя корзина. Не хочу лететь!

Когда он слез — шар шевельнулся и — остался по-прежнему на месте.

Луцкин выругался и сказал, смотря на Бурачкова:

— Очевидно, этот шар для одного человека!

— Ну так и слезайте.

— Ни за что в жизни, — сказал твердо Луцкин. — Я хочу лететь в интересах науки, а вы для удовольствия.

— Не слезешь? — грозно спросил Бурачков.

— Очень просто — не слезу.

— Хорошо, — сказал Бурачков, вставая. — Тогда отдавай мою оболочку!

— Как... оболочку? — растерялся Луцкин. — А куда же я свой газ дену?

— Забирай его куда хочешь! А я возьму свою оболочку...

— Он же мне деньги стоит! — закричал бледный, встревоженный Луцкин. — Я с утра его напускал, старался...

— Мне нет дела! Отдай мою оболочку!

— Вы не имеете права!.. Я буду жаловаться...

— А-а!.. Так? Ладно! Оболочка моя — что хочу, то и делаю...

Бурачков вынул нож и, приподнявшись, злобно пырнул им в надутую оболочку шара.

Шар стал худеть, ежиться и свисать на бок...

— Полетели, — засмеялись в публике.

IV.

С тех пор граждане города Коркина окончательно махнули рукой на воздух и решили держаться земли. Некоторые, наиболее к ней привязанные, возвращаясь ночью из аэроклуба, держались за нее руками и ногами...



ВИНЬЕТКИ

I.

ТЩЕСЛАВИЕ

Электричество заливает праздничным, веселым светом нарядную толпу, обезумевшую от теплого летнего вечера, от запаха застывшего моря и красивой головокружительной музыки...

То и дело мне в лицо летит целая туча разноцветных конфетти, а ноги всё время путаются в длинных, назойливых лентах серпантина...

Я не менее щедр: мешочек с конфетти быстро пустеет в моих руках, и красивые женщины в больших шляпах шаловливо визжат, уклоняясь от целого водопада, который низвергается на их бледные от электрического света лица с потемневшими глубокими глазами.

Впереди меня медленно шла женская фигура, как будто чего-то выжидая и нерешительно оглядывая встречную бурную волну человеческих тел. Сзади я не мог разглядеть — красива она или нет, но, в припадке шумной веселости, попытался опередить ее, держа наготове горсть конфетти...

Свет дугового фонаря¹ упал на нее, когда мы поравнялись: сухое, желтое лицо старой девы, тонкие белые губы, собранные мелкими складками, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием, — всё это сразу бросилось мне в глаза.

Я не разжал занесенную над ней руку, наполненную конфетти, а, брезгливо поморщившись, догнал идущую впереди женщину с круглыми плечами, стройным бюстом, тонким красивым лицом, и — неожиданный вихрь конфетти заставил ее сладко и пугливо засмеяться.

Когда сутолка и шум утомили меня, я свернул на тихую боковую аллею и тихонько пошел по ней, разнеженный ночью, красивой музыкой и женскими улыбками.

И тут под тенью акаций я увидел стоящую женщину: сухое, желтое лицо, тонкие бледные губы, собранные в складки, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием...

Женщина стояла ко мне боком, озиралась, чтобы ее не увидели, и, держа в одной руке мешочек, другой — осыпала разноцветными кружочками свою голову, плечи и грудь².

II. БЫЛА ПОРА, КОГДА...

— Хочу писать роман, — сказал мне приятель.

— Дело хорошее. Пиши.

— Большой роман! Есть много вопросов, накопилось много проблем, которые хотелось бы разрешить хоть отчасти.

— Тем более — нужно писать.

— Да... Большой роман! Этим вечером и думаю засесть за работу.

— План у тебя уже готов?

— Зачем план? Предрассудок из теории словесности! Прямо — начну.

— Да благословит тебя Бог!

Мы зашли в писчебумажный магазин, и приятель мой, тщательно выбрав перья, бумагу и чернила, приказал немедленно отослать это к себе.

Прошла неделя.

Прогуливаясь утром в саду, я вспомнил о приятеле, о его романе и вздумал проведать романиста.

Истомленный, похудевший, спал он у письменного стола, окруженный целой горой изорванной, помятой бумаги. Перед спящим лежал большой лист, на котором было написано:

СРЕДИ ОБЛОМКОВ ДВУХ ЭПОХ

Роман-хроника.

В шести частях, с прологом и эпилогом.

ЧАСТЬ I.

Глава I. За завесой прошлого

Была пора, когда...

Я разбудил спящего и, смотря на него в упор, спросил:

— Когда — что?

— Что, когда что?

— Вот ты написал «была пора, когда...» Так когда — что?

Он опустил голову и признался:

— Я не знаю.

С тех пор прошло два года. Приятель мой до сих пор не уяснил себе: когда — что?

III. ИЗМЕНА

Поднимаясь по лестнице меблированных комнат, служивших моим местопребыванием, я наткнулся на площадке на странную группу лиц: полицейского пристава, дворника, швейцара и неизвестного мне господина, кричавшего взволнованным голосом. Крики его сопровождались энергичной жестикуляцией, ударами кулака по перилам и размахиванием какой-то запиской перед самым носом полицейского.

— Уверены ли вы, что аноним сообщает правду? — вежливо спрашивал полицейский.

— Уверен ли? Убежден!! Я давно замечал, что с ней дело неладно, а эта записка окончательно открыла мне глаза! Здесь — извольте видеть — точно указан час и место их свидания... Мы накроем голубчиков на месте преступления! Но нам нужен еще один свидетель! Не хватает одного свидетеля!

Обернувшись на мои шаги, полицейский приложил два пальца к фуражке и сказал:

— Не согласитесь ли... В качестве свидетеля... Прелюбодеяние!

Предложение было так неожиданно, что я не успел отказаться.

— Гм... пожалуй.

Разгоряченный господин пожал мою руку, после чего мы всей бесполой компанией ввалились в переднюю.

— № 13?.. — спросил господин, заглянув в записку.

— Здесь. Направо.

— Отворите! — закричал господин диким голосом, обрушиваясь на запертую дверь. — Отворите, несчастные! Всякое запирательство бесполезно.

За дверью послышался испуганный женский крик и потом тихий шепот.

— Открывайте!! — бесновался разъяренный господин. — Открывай, жалкая обманщица, и вы, наглый милостивый государь!

Из-за двери донесся подавленный крик ужаса и шарканье босых ног по полу.

— Именем закона! — сказал полицейский, отстраняя бешеного господина.

Дверь распахнулась, и мы увидели то, что, в сущности, ожидали и раньше: перед нами стоял смущенный, растерянный господин в брюках, но без жилета и воротничка... У изголовья смятой кровати безуспешно куталась в одеяло женщина, хорошенькая, молодая, но с печатью страшного испуга на бледном лице.

Сердитый господин, окинув господина без жилета взглядом, полным уничтожающего презрения, прошипел: «Негодяй!» — и, пройдя мимо него, схватил женщину за белую круглую руку, выше локтя.

– Будете ли вы и теперь отпираться, мерзкая женщина, что между вами нет близости?!

Она заплакала.

– Виноват, – твердо сказал полицейский, – теперь прошу вас не вмешиваться и сдержаться на время свое негодование. Разрешите мне сделать некоторые формальности...

Он вынул из портфеля бумагу и сел за стол.

– Ваше имя и фамилия, – сударыня?

Дама прикрыла розовые обнаженные колени сорочкой и сказала сквозь слезы:

– Надежда Скаржинская.

– Хорошо-с. Ваше имя и фамилия, молодой человек?

Господин без жилета взял в руки свой воротничок и, потупясь, ответил:

– Павел Скаржинский...

– Вы что же... Родственники?

– Да.

– А как – родственники?

– Она – моя жена...

Измученный полицейский обернул лицо к сердитому господину, пришедшему с нами, и воскликнул:

– Тогда – кто же вы такой?

– Я – Смирнов! Я, господин пристав, давно уже замечал, что между нею и мужем что-то неладно, но, не имея поводов к ревности, не придавал этому значения. Теперь же, когда даже посторонние стали замечать их отношения и писать мне анонимные письма, – я решил изловить их на месте преступления! И вот – как видите!!

– Черт знает что такое?! – пожал плечами пристав.

– Не правда ли? – подхватил господин Смирнов. – Возмутительно! Я ей этого не забуду...

IV. ЭКОНОМИЯ

Отец.

Сын.

Отец. О мое дорогое дитя! Сердце разрывается на куски, когда я вспомню, что ты едешь на край света.

Сын. Не плачь, отец! Будем мужественны. Владивосток — это все-таки не край света.

Отец. Подумай! Ты будешь ехать через чуждую страну, наполненную беглыми каторжниками, хунгузами, по ужасной, опасной для всякого, дороге. Доберешься ли ты в целости?!

Сын. Постараюсь добраться.

Отец. Ты ведь, сокровище мое, известишь меня о благополучном прибытии на место?

Сын. О да! Телеграммой.

Отец. Телеграммой? Гм... гм... Ты не знаешь, кажется, оттуда в Европейскую Россию телеграф берет за каждое слово 15 копеек?

Сын. Конечно. И подпешные³ дороже.

Отец. Подумать только, что это будет стоить уйму денег... В сущности говоря, что изменится от того, что я узнаю о твоём здоровье на неделю позже?

Сын. Хорошо. Я пришлю заказное письмо.

Отец. Заказное? Это четырнадцать копеек. Недорого, но теперь почта так аккуратна, что и простое письмо дойдет с тем же успехом. Все-таки, вполтину дешевле!

Сын. Отец! Ведь у нас с тобой секретов никаких нет и писать придется всего несколько слов. Пришлю я тебе тогда лучше открытку...

Отец *(со слезами)*. И такого умного ребенка я должен скоро лишиться... Ведь это будет стоить всего три копейки! И я узнаю тогда о судьбе кости от костей моих⁴. *(Пауза.)* А, знаешь, что?.. Я тебе предло-

жу комбинацию еще более дешевую... Приехавши во Владивосток, ты зайди в мелочную лавочку и купи на копейку два конверта. Один можешь спрятать до какого-нибудь другого экстренного случая, а на другом напиши мой адрес. Письма никакого не надо — почтовая бумага теперь кусается, а ты возьми тот обрывок бумаги, в который тебе завернут в лавочке покупку, и, положивши его в конверт, заклей. Потом опусти в почтовый ящик без марки, и я получу здесь доплатное письмо⁵. А когда почтальон доставит его мне по адресу, я не буду совсем доплачивать и вообще откажусь принять его, так как уже буду знать, что мой сын, мое дорогое, обожаемое сокровище, живым и невредимым доехал, куда ему надо!



ДУЭЛЬ

Мы лежали на кроватях и, повернув изумленные лица, смотрели на Костю, а он шагал по комнате и, криво улыбаясь, говорил:
— Да-с. Дуэль. Раз он считает себя оскорбленным, вы понимаете, я, как честный человек, не мог отказать. Хорошо, говорю я ему, хорошо... Только если ты, говорю, убьешь меня, то позаботься о моих стариках, живущих в Лебедине¹.

— Ну а он?

— Говорит: хорошо. Позабочусь, говорит.

— И всё это из-за того, что ты разругал его картину?

— Да как я ее там ругал? Просто сказал: глупая мазня. Бессмысленное нагромождение грязных красок! Только и всего.

— Может, помирились бы?

— Да... так он и согласится! Эх! Убьет, братцы, этот зверь вашего Костю. А?

— Коломянкин? Конечно, убьет, — подтвердил Громов, безмятежно лежа на постели и значительно поглядывая на меня. — Или попадет

пуля в живот тебе. Дня три будешь мучиться... кишки вынут, перемоют их, а там, смотришь, заражение крови и — капут. Да ты не бойся: мы изредка будем на твою могилку заглядывать.

— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть?

— Можно и секундантами, — серьезно согласился Громов. — Тебе теперь отказывать ни в чем нельзя: ты уже человек, можно сказать, конченый.

— Да ты, может быть, смеешься?

— Ну вот... Там, где пахнет кровью, улыбка делается бессмысленной гримасой, как сказал один известный мыслитель.

— Какой? — спросил я.

— Я.

Дверь приотворилась, и в комнату просунулась смущенная голова художника Коломянкина.

— А-а! Виновник торжества! — приветствовал его Громов. — Входи, сделай милость, скорее, а то здесь сквозит.

Коломянкин бросил угрюмый взгляд на Костю, пожал нам с Громовым руки и строго сказал:

— Я знаю, что не принято являться к противнику перед дуэлью, но не виноват же я, черт возьми, что он живет вместе с вами... Вы же мне, братцы, понадобятся... В качестве свидетелей, а? Согласны? А то у меня здесь ни одного человека нет подходящего.

— Стреляться хотите? — вежливо спросил Громов.

— Стреляться.

— Так-с. Дело хорошее! Только мы уже дали Косте слово, что идем в секунданты к нему. Правда, Костя?

— Правда... — уныло подтвердил Костя.

— Может, ты бы, Костя, — спросил я, — уступил одного из нас Коломянкину? На кой черт тебе такая роскошь — два секунданта?

— Да, пожалуй, пусть берет, — согласился Костя.

— Господа! — серьезно сказал Коломянкин. — Я вас очень прошу не делать из этого фарса. Может быть, это вам кажется смешным, но я иначе поступить не могу. Во мне оскорблено самое дорогое, что не может быть урегулировано иным способом... На мне лежит ответствен-

ность перед моими предками, которые, будучи дворянами, решали споры только таким образом.

— Царство им небесное! — вздохнул я.

— Пожалуйста, не смотрите на это как на шутку.

— Какая уж там шутка! — вскричал Громов. — Дельце завязалось серьезное. Правда, Саша?

— Конечно, — подтвердил я. — Вещь кровавого характера. Стреляться решили до результата?

— Да. Я не признаю этих комедий с пустыми выстрелами.

— И ты совершенно прав, — подтвердил Громов. — В кои-то веки соберешься ухлопать человека — и терять такой случай... Правда, Саша?

— Изумительная правда.

Дверь скрипнула. Все обернулись и увидели квартирную хозяйку, с двусмысленной улыбкой кивавшую нам головой.

— Ах, черт возьми! — прошептал Костя, бледнея.

Хозяйка подошла к нему и сделала веселое лицо.

— Ну-с? Обещали сегодня, Константин Петрович.

— В чем дело? — спросил, хмурясь, Громов.

— Да видишь ли... В этом месяце за квартиру плачу я. Моя очередь.

— Ну?

— Ну, вот и больше ничего.

— То есть как же ничего? Вы на сегодня обещали.

— Неужели сегодня? Непростительный легкомысленный поступок...

Гм... Что это у вас, новая кофточка? Прехорошенькая.

— Новая. Позвольте получить, Константин Петрович.

— Что получить?

— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мне на кухню нужно.

— Хозяйничаете всё? Хлопочете? — ласково спросил Костя. — Хе-хе.

— Может, вам разменять нужно? Я пошлю.

— Сколько там с меня?

— 20 рублей.

— Деньги, деньги... — задумчиво прошептал Громов. — Шесть букв... а какая громадная сила в этом коротеньком словце! Вы читали, Анна Марковна, роман Золя «Деньги»?²

— А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? — полюбопытствовала хозяйка.

— К сожалению, я до сих пор не мог расширить своего кругозора чтением этих любопытных произведений. Но на досуге, даю вам слово, прочту.

— Хорошо-с! Если вы еще позволяете себе смеяться, я сяду здесь и не сдвинусь с места, пока не получу денег.

— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы соскучились по изысканному обществу. Костя! Стул Анне Марковне.

С мрачным лицом хозяйка уселась у дверей... Тягостная пауза нависла над обществом.

Коломянкин побарабанил пальцами по столу и смущенно обвел взглядом нашу комнату. Потом, в качестве воспитанного человека, начал разговор:

— Сами белили?

— Что такое?

Коломянкин смутился.

— Комнату, говорю, сами белили?

— Да-с! Я всё сама... День-деньской на ногах, а за это, вместо благодарности, извольте видеть!

Помолчали опять.

— Погодка сегодня разгулялась, — сказал Коломянкин, смотря в окно.

— Это ее дело. А когда человек разгуливается и тратит деньги на пьянство, это, извините-с! Извините-с!

Костя нервно вскочил и подошел ко мне.

— У тебя нет денег?

— У меня? Нет. Громов!

— Ну?

— У тебя нет денег? — спросил я.

— У меня? Нет. Коломянкин!

— Что?

— У тебя нет денег?

— Есть. Сколько нужно? 20? Вот, пожалуйста.

— Господа! — возмутился Костя. — Это черт знает что! Я с Коломянкиным в... таких... отношениях, а он — мне деньги занимает!! Вы не имели права делать этого!

Молча Громов взял у Коломянкина деньги и передал их мне. Я молча взял их и сунул в руку Кости.

Костя застонал, положил деньги на ладонь хозяйки и сказал, указывая ей на дверь:

— Прямо, потом налево.

Громов растянулся на кровати и принялся что-то насвистывать.

Противники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотрели в окна, а потом Коломянкин неуверенно сказал:

— Александр! Ты позаботишься о том, что нужно? Вот тебе записка к моему знакомому офицеру, у которого есть отличные пистолеты.

— Bravo! — сказал я, одеваясь. — Дело начинает налаживаться! По дороге я забегу также в погребальную контору... Костя, ты какие больше предпочитаешь — газетовые?³

— Всё равно.

— С кистями?

— Всё равно.

Я вышел.

«Знакомый офицер» оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что мне нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его мне, сказал:

— Для Коломянкина я это сделаю с удовольствием! Вот пистолеты. Прекрасные — за пару плачено полтора рубля!

— А ведь их после дуэли могут конфисковать, — возразил я с искусственным сожалением.

Он омрачился:

— Неужели?

— А что вы думаете! «А, скажут, стреляетесь! Убиваете друг друга!»

И отнимут.

Офицер, вздохнув, посмотрел на ящик.

— Знаете что? — сказал я. — Положитесь на меня. Пистолеты не пропадут. Я эти самые дуэли умею преотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?

— Как... десять рублей?

— Очень просто, займы. Первого числа возвращу.

Он, вынув кошелек, засуетился снова.

— Вот... У меня все трехрублевки. Ничего, что здесь 12 рублей?

— Что уж с вами делать, — снисходительно сказал я. — Давайте!

Водку пьете?

— Пью. Иногда.

— Вот видите! Командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедem к нам.

— А... пистолеты?

— Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем!

Он рассмеялся.

— А вы, видно, рубаха-парень?!

— Совершенно верно. Многие до вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета.

Мы заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закуски.

У Кости был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен, и каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых, критических обстоятельств.

Но занимал он деньги без нашей помощи, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию: моему и Громова.

Отношений наших это не портило, тем более что Громов признавал Костю:

«Лучшим специалистом по съестному».

Это значило вот что:

Когда мы сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Костя долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное:

— Обождите!

Натягивал пальто и выходил из комнаты.

Последующие Костины операции усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет.

Костя по дороге заходил к соседу по номерам, какому-нибудь обдерганному студенту, и говорил ему крайне обязательно:

— Петров! Я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четверку табаку?

— Да у меня есть еще немного.

— Тем лучше! Новый табак немного подсохнет. А? Право, куплю.

Студент долго, задумчиво глядел в окно, ворочая отяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал:

— Пожалуй! Буду вам очень благодарен.

Костя получал 45 копеек и, выйдя на улицу, непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на углу.

— Здравствуйте, хозяйка! Позвольте-ка мне фунт колбасы и нарежьте ветчины!

Потом беззаботно опускался на какой-нибудь ящик и, оглядев лавку, сочувственно говорил:

— Магазины-то сырой, кажется!

— Какое там сырой! — подхватывала хозяйка. — Прямо со стен вода течет!

Костя омрачался.

— Экие мерзавцы! Им бы только деньги за помещение драть! Небось три шкуры с вас дерет?

— И не говорите! 600 рублей в год.

— 600 рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй... 600 рублей... Каково?! Коробочку сардин, сударья, и десяток яиц.

Рассеянный взгляд Кости падал на ребенка, хныкавшего на руках хозяйки, и с Костей внезапно приключился истеричный припадок любви к измызганному, пицавшему мальшу.

— Прехорошенький мальчишка! Ваш?

Хозяйка расплывалась в улыбку.

— Девочка. Моя.

— Учится?

— Помилуйте. Ей три года.

— Что вы говорите! Три года — а как... двенадцать. Она, кажется, на вас похожа?

— Носик мой. А глазки папины.

— Совершенно верно. Ах ты, маленький поросеночек! Ну, иди ко мне на руки, а мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит?

— Да, уже почти всё.

— Неслыханно! Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь?

Тронутая хозяйка брала счета и высчитывала, что с Кости придется 2 рубля 30 копеек.

— Только-то? Детская сумма! Вот что, уважаемая... Вы отметьте сумму в книжечке — я знаю, у вас есть такая, — а первого числа я уж, как следует, чистоганом? Мы тут же живем у Щемиллина.

Взор хозяйки омрачился, так как Костя был ей лицом совершенно чуждым, но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, «непременно передать поклон мужу», что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке.

Купив затем на студентовы деньги водки, Костя, торжествующий, возвращался в наши номера, вручал студенту табак и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным наши вечно пустые желудки.

Когда мы с офицером вошли в нашу квартиру, то нашли четырех человек: Громова, Костю, Коломянкина и Костиного портного, всех — в очень удрученных, скорбных позах.

— Меня интересует, — говорил опечаленный Костя, — почему я обещал вам именно сегодня и почему именно 8 рублей?

Громов заявил, что его это тоже интересует, портной сказал, что это его не интересует, а Коломянкин молча глядел на Костю с тайным сочувствием.

Мы стояли в дверях, когда Костя машинально спросил:

— Громов! У тебя нет 8 рублей?

— Нет, — ответил Громов, — Коломянкин! У тебя нет 8 рублей?

— Да я всё отдал, что были... А! Полководец! У тебя нет 8 рублей?

Офицер по-давешнему засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение:

— Да у меня все трехрублевки. Ничего?

— Очень печально! — строго сказал Коломянкин. — Нужно быть осмотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давай три штуки!

— Коломянкин! Не смей этого... то есть... не делайте этого, господин Коломянкин! — закричал смущенный Костя.

— Идите, портной, — величественно сказал Коломянкин. — На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову.

— А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов. — Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить.

— Да и у меня всё сделано, — хвастливо сказал я, похлопывая рукой по сверткам.

— Пистолеты?

— Они самые.

— Странно, что они имеют бутылочную форму.

— Новая система. Казенного образца!

В дверь постучали, и перед нами предстал доктор — сияющий дебютант на трудном медицинском поприще — приятель Громова.

— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашал, Громов?

— Совершенно серьезно.

— А где же больная?

Мы были в изумлении.

— Какая больная?

— Да ведь я специалист по женским болезням.

Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу.

— Здесь есть двое больных. И оба они больны хронической женскою болезнью — глупостью, — сказал Громов. — Бросьте, ребята, дурака валять. Надоело!

— Смотреть тошно! — поддержал я.

— Нелепо! — подхватил офицер.

Мы схватили Коломянкина и Костю, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взвыли от ужаса.

— Миритесь?

— Черт с ним! Только пусть он возьмет назад свои слова о моей живописи.

— Беру! При условии, если ты напишешь мой портрет и он будет гениален.

— Иным он и не может быть!

Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки.

Коломянкин сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил:

— Жаль все-таки... Ушла, Петя, поэзия из жизни... Нет больше красивых жестов, беззаветно-смелых поступков, героизма... Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова, рыцарское обожание женщины, щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей дороге льстивому трактирщику... Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса...

— Это верно. Обидно, дурачок ты этакий, — поддакивал улыбающийся доктор, глядя художника по лысеющей голове.
.....



ПИНХУС РОЗЕНБЕРГ

Перед хозяином маленькой мануфактурной лавчонки Пинхусом Розенбергом стоял чиновник Самсонов и говорил:

— Покажите мне темно-синий бархат¹. Есть у вас?

Пинхус обидчиво усмехнулся.

— Как же у нас не может быть темно-синего бархата? Чтобы торговое предприятие под фирмой Пинхуса Розенберга не имело какого-то бархата — это было бы не так смешно, как грустно!

— Так вот вы мне и покажите.

— Что показать?

— Да бархат же! Бархат.

— Ах, бархат... Я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия. Вот-с. Позвольте вам посмотреть!

Хозяин ловким движением развернул на прилавке синюю материю и одобрительно потрепал по ней ладонью.

— Извольте видеть! Помещица Гундикова тридцать аршин² взяла...

— Виноват... Вы меня не расслышали! Вы показываете темно-синий шелк, а я просил бархат.

— Прекрасный шелк.

— Да ведь мне нужен бархат.

— Ах, бархат! Чего же вы раньше не сказали... Темно-синий?

— Темно-синий.

— Вы можете спросить всякого уличного мальчика: уличный мальчик! Чем известна фирма Пинхуса Розенберга? И уличный мальчик ответит вам: синим бархатом!

Хозяин полез на какую-то полку и вернулся с тяжелым свертком.

— Как вы найдете этот гениальный бархат?

— Пойдите, да он черный!

Хозяин удивленно посмотрел на чиновника.

— А вы... какой же хотели?!

— Черт возьми! Я же у вас прошу темно-синий.

— Возьмите этот. Он почти темно-синий. Уже такой почти, что дальше просто некуда.

— Нет, мне черный не подойдет.

Хозяин почесал железным аршином³ бровь и многозначительно сказал:

— Теперь самый модный бархатный цвет — так это черный. Всякий человек носит этот цвет...

— Может быть. Но я прошу дать мне темно-синий.

— Бархат?

— Ну конечно.

— Возьмите — хороший манчестер⁴ есть. Такой синий, что даже тяжело видеть.

— Послушайте, — сказал чиновник Самсонов, нетерпеливо махая рукой, — если у вас есть *темно-синий бархат* — дайте его мне, нет — я пойду в другой магазин.

— Они пойдут в другой магазин! Видели вы, люди добрые? Они, вероятно, пойдут до Исаака Менделевича, который на прошлой неделе отравил свою маменьку, или до Якуба Зусмана, где вам подсунут такое, что вы потом снизоидете горькими слезами. Хорошо! Я вам покажу сейчас материю, что вы скажете: Розенберг! Отрежьте мне сто аршин!

Лицо хозяина было уныло-оскорбленное. Он укоризненно покачал головой, нагнулся к нижней полке и вынул оттуда что-то светло-голубое.

— Что бы вы сказали относительно этого кретончика?⁵

— Провались он, ваш кретончик! Я спешу, а вы отнимаете время тем, что мне не нужно...

— Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторит ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику...

Хозяин подпер голову рукой и печально задумался... Тяжело вздохнул и меланхолично сказал:

— А из минуточек делают часы, из часочек...

— Вы мне покажете темно-синий бархат, или у вас его нет? — вскричал чиновник. — Я прошу у вас: дайте мне бархат, понимаете — бархат! И чтобы он был темно-синий... Понимаете? Темно-и-синий! Не черный, не зеленый, не желтый... И не кретон, не батист⁶, а бархат! Понимаете — бархат!!

Пинхус Розенберг сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть тяжелые мысли, и ласково сказал:

— Хорошо. Вы сейчас получите ваш бархат. Сколько вам нужно аршин?

— Четыре с половиной.

— А почему не семь?

— Потому что мне нужно четыре с половиной.

— Так, так. В этом городе изволите служить?

— В этом. Пожалуйста, поскорее!

— Я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда!⁷

Розенберг достал еще какой-то сверток и устало развернул его.

— Вот бархат. Впрочем, он темно-красный. Вы видите — я вам его не предлагаю, но он тоже бархат. Я знаю, что если вам нужен другой, так...

— Черт возьми! — сердито сказал чиновник Самсонов. — Можете вы дать мне темно-синий бархат? Отвечайте — да или нет?!

— Вам нужен темно-синий?

– Темно-синий.

– Именно бархат?

– Именно бархат.

– Очень жаль, но именно темно-синего бархата сейчас нет. У нас есть бархат, но не темно-синий, и есть темно-синий, но не бархат! Может, вам из легонького что нужно? Сатин⁸, ситцы⁹ есть, сарпинка¹⁰ – большой выбор, а?

– Прощайте! Сказали бы раньше сразу, что у вас нет бархата.

– Что значит – нет? Синий бархат мы ждем – через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике¹¹, галстуки...

Чиновник Самсонов круто повернулся, злобно хлопнул дверью и выскочил из магазина.

Розенберг пожал плечами, вышел неторопливо и, смотря вслед удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачал головой:

– Шарлатан! Весь магазин даром перерыл... Хотя бы для смеху на пятнадцать копеек купил!



НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Будучи умным и хитрым человеком, я всегда относился недоверчиво к людям, ухаживавшим за моей женой.

Мне всегда казалось, что у них на уме было что-то странное и что они приходят к нам в гости с задней мыслью.

Я ввел систему – не отпускать жену без себя ни на шаг и поэтому долгое время был спокоен.

Но мой приятель Корнюхин – прехитрое существо – часто старался нарушить мою систему и этим только действовал мне на нервы.

В позапрошлом году он приехал на каком-то длинном велосипеде и сказал нам:

— Завел себе тандем. Мы можем, Вера Павловна, совершить на нем небольшую прогулку.

— Ну что ж — можно, — согласился я. — Поедем. Я тоже не прочь проветриться.

— Втроем нельзя, — сказал он встревоженно, — это тандем для двух.

— Ну, поедем вдвоем... — начал я и запнулся.

«Этот человек, — подумал я, — может быть, лукавит... Мы с ним поедем, он отвлечет меня от жены, а в это время в дом к нам придет какой-нибудь проходимец...»

— Нет, — сказал я, вздохнув. — Поезжайте одни, без нас.

— Почему же мне не прокатиться? — несмело заикнулась жена.

— Тандем, — сурово проворчал я. — Я вообще против этой системы. Не могу!

Одураченный Корнюхин уехал на своей длинной, несуразной машине ни с чем.

Однажды, сидя за обедом, мы услышали на улице какое-то странное гуденье и шипенье...

Выглянув в окно, я увидел Корнюхина на маленькой машине, которая хрипела и кашляла, будто с детства страдала катаром горла.

— А я, — сказал он, с деланной беззаботностью входя в комнату, — за вами, Вера Павловна. Не совершим ли мы маленькой увеселительной прогулочки? Место на автомобиле как раз для двух!

— Ваша машина, — возразил я, — хрипит как удавленник и имеет вид разъяренной керосиновой кухни. Я не могу позволить жене ехать на такой ненадежной штуке.

Корнюхин заморгал глазами и, вздохнув, ушел.

Некоторое время он не показывался.

Но однажды мы, сидя на веранде, услышали стук какой-то машины и легкий свист.

Я удивленно посмотрел на землю — она была пуста. В это время большая тень упала около веранды, и я увидел на небе Корнюхина, который, сидя на странном аппарате, похожем на стрекозу, радостно горланил во всю мочь легких:

— Здравствуйте!! Я сейчас спущусь! Не желаете ли, Вера Павловна, сделать небольшую увеселительную прогулочку?

Его машина заинтриговала меня.

Когда он слез с нее, я, поколебавшись немного, сказал:

— Пожалуй, в самом деле, было бы превесело сделать вдвоем маленькую прогулку!

— Трем нельзя, — возразил Корнюхин утрюмо. — Аппарат поднимает только двух.

Жена посмотрела мне прямо в глаза и твердо сказала:

— Если ты и на этой шутке побоишься меня отпустить, то завтра же я сбегу от тебя совсем...

Так как жена не всегда лгала мне, — я испугался и стал раздумывать:

«Отпустить ее или нет?»

С одной стороны, машина казалась мне очень подозрительной, потому что представляла странное сочетание предыдущих неудачных попыток Корнюхина: внизу был приделан какой-то велосипед, а мотор пыхтел точно так же, как ранее виденный мной у Корнюхина автомобиль. С другой стороны — особенной опасности не было, потому что они могли полетать недалеко, не спускаясь на землю, а сам по себе аппарат был очень шаток и неустойчив...

— Лети! — согласился я. — Хватит ли только у вас порошу на двух? — спросил я потом, указывая на машину.

— То есть бензину? — спросил повеселевший Корнюхин. — Здесь еще есть ровно на сорок минут. За глаза хватит!

Они уселись на какие-то скамеечки и, послав мне воздушный поцелуй, плавно с разбега поднялись в воздух.

— Только недолго, — крикнул я. — Я подожду.

Они скоро скрылись с глаз, а я сел на стул и стал ждать. Ждал долго.

Нужно ли говорить, что эти негодяи вернулись через два часа!

Когда они подлетели, раскрасневшиеся, веселые, я сердито крикнул:

— Что за свинство! Где вы были так долго?

— В воздухе, — отвечала жена, сходя на землю. — Ах! Если б ты знал, как это очаровательно!

Я угрюмо посмотрел на ее красное лицо и сказал:

— А... отчего у тебя волосы растрепаны?

— Господи Боже ты мой! Очень просто — ветер!

Я перевел глаза на Корнюхина и подозрительно спросил:

— Кажется, перед полетом у вас галстук был завязан совсем иначе?!

— Совершенно верно, — хладнокровно улыбнулся Корнюхин. — Я его развязывал, чтобы, держа в руке, узнать направление ветра. Это обычный прием аэронавта.

— Вы... на землю не спускались?

— Конечно, нет!

Я задумался.

— Как же, если вы ни разу не спускались на землю — как у вас могло хватить бензину, когда у вас его было только на сорок минут, а вы были, по вашим же словам, в воздухе все сто двадцать минут?!

— Вы не знаете авиатики, — отвечал Корнюхин. — Это делается очень просто: когда мы взлетели, я переставил часы на восемьдесят минут назад. Таким образом, по моим часам бензин расходовался сорок минут.

— Ну, то-то, — сказал я, успокоенный. — Пойдемте чай пить.

Несколько месяцев спустя у меня родился ребенок.

Недавно мы мирно сидели с женой и любовались на мальчика, который уже начал ходить.

Забавно переступая ножонками, он подошел к углу, где стоял мокрый после дождя, раскрытый для просушки зонтик, взял его за ручку, вскарабкался на стул, оттуда на стол и, подняв над головой, плавно спустился на нем, как на парашоте, на пол.

Я медленно встал и, нахмутив брови, посмотрел на растерявшуюся жену.

— Это... что... что... значит?
Жена упала передо мной на колени...
Склонила голову и, молча, заплакала.



ДИТЯ

I.

Есть люди, к которым с первого взгляда начинаешь питать непобедимую симпатию и самое широкое доверие. В них всё — голос, манеры, ясный взгляд — располагает к откровенности, дружеской общительности, и, познакомившись с таким человеком, через час уже начинаешь испытывать чувство, будто знаком с ним десять лет.

Однажды я столкнулся с таким именно человеком, и у меня надолго останется о нем воспоминание...

Дело происходило в купе второго класса вечернего поезда. Я ехал в город Пичугин, где мне предстояло на другой день прочесть лекцию о воздухоплавании, по вызову какого-то «Пичугинского авиационного общества завоевания воздуха».

В купе, кроме меня, находился еще один юный господин, и не успел я сесть, как мы оба почувствовали друг к другу самое искреннее расположение.

Он приветливо улыбнулся мне, кивнул головой и добродушно сказал:

— Кажется, нас здесь только двое! Это самое удобное, не правда ли?

— Да, — весело сказал я. — Терпеть не могу тесноты. А где же ваши вещи?

Он засмеялся и юмористически развел руками.

— Всё мое при мне. Далеко едете?

— В Пичугин. Вызвали меня какие-то чудаки прочесть лекцию о воздухоплавании. Моя фамилия Воробьев.

— Я очень рад, — приветливо сказал мой спутник. — Я тоже еду в Пичугин по делу и с удовольствием побываю на вашей лекции. Где она будет?

— Понятия не имею. Я еду туда в первый раз, по приглашению какого-то «Пичугинского авиационного общества».

Он улыбнулся.

— Воображаю пичугинскую авиацию!..

— Да уж, действительно. Хотя обещают за лекцию двести рублей.

— Ого! Эта сумма, — сострил мой спутник, — может всё их общество поднять на воздух.

Мы расхохотались.

Я взглянул на часы, зевнул и сказал:

— Пора бы и на боковую. Чего это кондуктор не идет?

— А зачем он?

— Да билеты-то — должен же он отобрать. Смерть не люблю, когда меня, сонного, будят!

— Да вы и ложитесь, — сказал мой сосед, вынимая из кармана газеты. — А я читаю. Хотите, я кондуктору за вас билет покажу, чтобы не беспокоить вас...

— Мне, право, совестно, — тронутый его заботливостью, возразил я.

— Пустяки! Всё равно я не буду спать.

Я расположился на верхней койке, вручил своему соседу билет, снял чемодан и, раскрыв его, вынул подушку.

Молодой человек с простодушным любопытством взглянул на чемодан и, восхищенный, воскликнул:

— Какая любопытная вещь!

— Да... чемоданчик хороший... Я его в Дрездене покупал. Вот это отделение для белья, это несессер, здесь верхнее платье, здесь дорожный погребец, а это отделение для денег и паспорта.

Он улыбнулся.

— Что же это: самое главное отделение — и пусто?

— Я без паспорта. Ведь в вашем Пичугине на этот счет не строго?

— Ну, знаете... при нашем режиме... всего можно ожидать. Я не расстаюсь с паспортом. Вот оно, мое имущество!

Он вынул из кармана паспорт и, со смехом, подбросил его кверху.

В нем было что-то наивно-детское, привлекательное своей жизнерадостностью и непосредственностью.

— Смотрите — потеряете, — пошутил я. — Вы сущий ребенок. Нужно бы отобрать его да спрятать.

Лицо его сразу стало озабоченным.

— Потерять-то я его не потеряю, а украсть ночью могут. Что я тогда буду делать?..

— Давайте я спрячу в свой чемодан. В отделение для денег, а? Хотите? Деньги-то у вас есть?

— Денег-то у меня и нет, — рассмеялся он. — А паспорт спрячьте.

Он снова с детским любопытством осмотрел внутренность чемодана и заявил, что, когда будет богатым, — поедет в Дрезден и купит такой чемодан.

— Славный вы парень! Веселый, — сказал я, укладываясь.

Он застенчиво улыбнулся.

— Это потому, что вы мне понравились. С другими я диковат. А вам вон даже паспорт доверил.

— Да и я вам билет доверил, — расхохотался я. — Отцу бы родному не доверил! Охо-хо!

Я зевнул, повернулся на другой бок, пожелал моему спутнику спокойной ночи и моментально заснул.

II.

Очень скоро я почувствовал, что меня кто-то тихо, но упорно будит, дергая за ногу и приговаривая:

— Послушайте, послушайте!..

Я еле раскрыл сонные глаза, поднял голову и увидел кондуктора.

— Что вам? — сердито сказал я.

— Билет пожалуйста!

— Да ведь...

Я встал, спустил ноги и увидел своего спутника, мирно сидевшего напротив и углубленного в чтение газеты.

— Послушайте! — сказал я. — Вы ему показывали мой билет?

Он поднял свое милое, детски удивленное лицо и взглянул на меня с недоумением.

— Какой билет?

— Да который я вам дал!

— Вы мне дали? Когда?

— Ну, как! Давеча вы сами вызвались показать кондуктору мой билет, чтобы меня не беспокоить.

Удивлению его не было границ.

— Я? Взял? Ничего не понимаю! У меня был свой билет — я его и предъявил кондуктору. Единственный у меня билет и есть... Может, вы кому-нибудь другому его передали?

Лицо моего спутника перестало мне нравиться.

— Послушайте! — сказал я. — Но ведь это же гадость!

— Да вы поищите в карманах, — участливо посоветовал он, принимаясь снова за газету. — Может быть, в кармане где-нибудь.

По лицу кондуктора я видел, что он не верит мне ни на грош, считая мои слова неудачной уловкой безбилетного пассажира. Не желая затевать неприятной истории, я вынул деньги и сказал:

— Вероятно, я потерял билет. Возьмите с меня доплату и оставьте меня в покое.

Кондуктор укоризненно покачал головой, взял деньги и ушел, оставив нас вдвоем.

— Что это всё значит? — сурово сказал я, пронизывая своего соседа взглядом.

Он снял с вешалки пальто, разостлал его на нижней койке и стал, молча, укладываться.

— Что всё это значит?!

Он мелодично засвистал, снял пиджак, положил под голову и, сладко потянувшись, лег.

— Вы наглец! — закричал я.

Он дружески улыбнулся, сделал прощальный жест и закрыл глаза.

— Я думал, что вы порядочный человек, а вы оказались жуликом. Как не стыдно! Чего ж вы молчите? Негодяй вы, и больше ничего! Обыкновенный поездной вор. В тюрьме вас сгноить бы надо! Чтоб вас черти побрали!

До меня донеслось его ровное дыхание.

— Спишь, румяный идиот? Чтоб тебе завтра в кандалах проснуться! Так бы и плюнул в твою лживую рожу. «Да-айте билетик, я за вас покажу»... У, чтоб ты пропал!

Во мне клокотала злоба, и я еще с полчаса ругался и ворчал, пока не почувствовал смертельной усталости.

Откинувшись на подушку и засыпая, я подумал:

«Ну обожди же, негодяй, — не получишь ты своего паспорта! Попляшешь ты завтра!..»

III.

Проснулся я поздно. Мой спутник сидел уже одетый, умытый и с аппетитом ел вареную колбасу, запивая ее водой из чайника.

— Хотите колбасы? — спросил он, глядя на меня ясными лучистыми глазами ребенка.

— Убирайся к черту.

— Скоро большая станция. Я думаю, там вы сможете напиться чаю и позавтракать.

— Желаю, чтоб тебя переехало поездом на этой станции!

Он посмотрел в окно и приветливо улыбнулся.

— Погодка-то исправляется. Пожалуй, в Пичугине санный путь застанем.

Его честное, простое лицо было мне ненавистно. Я сидел в углу и с наслаждением мечтал о том, как он попросит возвратить паспорт, а я сделаю вид, что не слышу, и как он будет бежать за мной и кланяться.

Но он не вспоминал о паспорте. Доел колбасу, вытер руки и снова взялся за свои газеты.

Я нарочно не вышел на той станции, на которой он советовал мне позавтракать, и до обеда ничего не ел. Обедал на другой станции. Потом занялся разборкой материалов для лекции, которую мне предстояло прочесть в тот же день вечером.

— Любопытная это вещь воздухоплавание? — спросил меня покончивший с газетами сосед. — В газетах много теперь об этом пишут.

— Прощу со мной не разговаривать! — закрычал я.

— Все-таки еще как следует не летают. Все эти авиаторы, аэропланы — детская игра. Так себе, наука простая.

— Эта наука не для мелких поездных жуликов, — с горечью сказал я, чувствуя себя совершенно бессильным перед его спокойным благодушным нахальством.

— Вот сейчас и Пичугин! — сообщил он, смотря в окно. — Нам здесь сходить.

«Сейчас попросит паспорт, — подумал я. — Попроси, голубчик, попроси».

Но он надел пальто, собрал свои газеты и, дружески кивнув мне головой, вышел в коридор.

Поезд остановился.

Посмеиваясь в душе над своим спутником, я оделся, взял чемодан и вышел. Носильщиков не было, вещи пришлось тащить самому.

Неожиданно сзади послышался быстрый топот нескольких ног, кто-то подбежал ко мне и схватил за руки.

— Этот?

— Он самый, — сказал хорошо знакомый мне, добрый голос. — Схватил мой чемодан да — бежать... Как вам это понравится?!

Я в бешенстве вырвался из рук старого усатого жандарма и вскричал:

— Что вам нужно?! Этот чемодан мой!

— Старая история! Мне вас очень жаль, — соболезнующе сказал мой вагонный сосед, — но я принужден просить о вашем аресте.

— Как вы смеете?! Это мой чемодан! Я расскажу даже, что в нем!

— Слушайте... не будьте смешным... Я, г. жандарм, раскрывал несколько раз этот купленный мною в Дрездене чемодан — а он, конечно, рассмотрел вещи. Нельзя же так... Ну, хорошо... Если это ваш чемодан, то скажите, что это за паспорт лежит в отделении для денег? Чей? На чье имя? Ведь вы же должны знать всё, что есть в чемодане. Вы молчите? Нехорошо-с, плохо, молодой человек.

Его симпатичное лицо было печально. Он вздохнул, взял мой чемодан и сказал жандарму:

— Вы его пока возьмите в часть, что ли. Только, пожалуйста, не бейте при допросе. Он, вероятно, и сам жалеет о том, что сделал. Бог вас простит, молодой человек!

И ушел, добрый, благодушный, вместе с моим чемоданом.

IV.

На другой день утром меня допрашивали в участке. Когда я, томясь в ожидании допроса, взял лежащую на столе газету «Пичугинские Ведомости» — мне бросилась в глаза заметка:

НЕУДАВШАЯСЯ ЛЕКЦИЯ. — Прочитанная вчера вечером приехавшим из Петербурга г. Воробьевым лекция о воздухоплавании окончилась скандалом, так как выяснилось, что лектор не имеет никакого представления о воздухоплавании. Многочисленная публика, не стесняясь, хохотала, когда молодая столичная известность (вот они, столичные знаменитости!) путала аэростат с самолетом и сообщала ценные сведения, вроде того, что воздушный шар надувают кислородом. Да... Надувают. Только публику, а не шар! Очень жаль, что деньги за лекцию были заплачены петербургскому шарлатану вперед, и всё дело окончилось только бранью публики да извинениями устроителей лекции.



ТИХОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

I.

Мы сидели на скамье тихого бульвара.
— Жестокость — природное свойство восточных народов, — сказал я.
— Вы правы, — кивнул головой Банкин. — Взять хотя бы бывшего персидского шаха¹. Это был ужасный человек!

И мы оба лениво замолчали.

Банкин сорвал травинку, закусив ее зубами, поморщился (травинка, очевидно, оказалась горькой), но сейчас же лицо его засветилось тихой радостью.

— Он сейчас уже, наверно, спит! — прошептал Банкин.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Конечно! Он всегда спит в это время.

Последнее время Банкин казался человеком очень странным. Я внимательно посмотрел на него и осторожно спросил:

— Откуда же вам это известно?

— Мне? Господи!

И опять мы замолчали.

— Ему, очевидно, несладко живется... — зевая, промямлил я.

— Почему? С ним нянчатся все окружающие. Его так все любят!

— Не думаю, — возразил я. — После того, что он натворил...

Банкин неожиданно выпрямился и в паническом ужасе схватил меня за плечи:

— Натво...рил?! Владычица небесная!.. Что же он... натворил? Когда?

— Будто вы не знаете?.. Сажал, кого попало, на кол, мучил, обманывал народ...

— Кто?!!

– Да шах же, Господи!

– Какой шах?

– Бывший. Персидский. О котором мы говорили!

– Разве мы говорили о шахе?

– Нет, мы говорили о ребятишках, – иронически усмехнулся я.

– Ну конечно, о ребятишках! Я о своем Петьке и говорил.

Банкин вынул часы, и опять лицо его засияло счастьем.

– Молочко пьет, – радостно засмеялся он. – Проснулся, вероятно, и говорит: «Мамоцка, дай маяцка!»

– Ну, это, кажется, вы хватили... Сыну-то вашему всего-навсего два месяца... Неужели он уже говорит?

Я сам был виноват, что коснулся этого предмета. Разговор о Петьке начался у нас в восемь часов и кончился в половине двенадцатого.

– Видите ли, – начал просветленный Банкин, – он, правда, буквально этого не говорит, но он кричит: мм-ма! И мы уже знаем, что это значит: «Дорогая мамочка, я хочу еще молочка!» А вчера... Нет, вы не поверите!..

– Чему?

– Тому, что я вам расскажу. Да нет – вы не поверите...

Я дал слово, что поверю.

– Представьте себе: прихожу я... Позвольте... Когда это было? Ага! Вчера. Прихожу вчера я домой, а он у Зины на руках. Услышал шум шагов и – ха-ха! оборачивается и – ха-ха!.. ха-ха-ха!.. оборачивается и говорит: «Лю!»

– Ну?

– Говорит: «Лю!» Каков каналья?

– Ну?

– Ха-ха! «Лю!» – говорит.

– Что же это значит – «лю»? – спросил я, недоумеваю.

– Неужели вы не поняли? Это значит: «Папочка, возьми меня на руки».

Я возразил:

– Мне кажется, что толкование это немного произвольно... Не значило ли «лю» просто: «Старый осел! Притворяй покрепче двери...»

– Ни-ни. Он бы это сказал совсем по-другому. А вы знаете, как он пьет молоко?

Я пожегся и попробовал сказать, что знаю.

Банкин обиделся.

– Откуда же вы можете знать, если вы еще не видели Петьки?

– Я вообще знаю, как дети пьют молоко. Это очень любопытно. Я видел это от семнадцати до двадцати раз.

– Петька не так пьет молоко, – уверенно сказал Банкин.

На половине описания Петькиного способа пить молоко сторож попросил нас удалиться, так как бульвар закрывался. Желая сделать сторожу приятное, Банкин пообещал, что, когда его Петька научится ходить, он будет играть песочком только на этом бульваре.

По свойственной всем сторожам замкнутости, этот сторож не показал наружно, что он польщен, а, загнав восторг внутрь, с деланным равнодушием сказал:

– Пора, пора! Нечего там.

В маленьком ресторане, куда мы зашли выпить по стакану вина, мне удалось дослушать конец Петькиного способа пить молоко. Кроме того, мне посчастливилось узнать много ценных и любопытных сторон увлекательной Петькиной жизни, вплоть до самых интимных...

Из последних я вынес странное убеждение, что Банкин был удовлетворен и чувствовал себя счастливым только тогда, когда пиджак его или брюки были окончательно испорчены легкомысленным поведением его удивительного отпрыска.

Истоцившись, Банкин долго сидел, полный тихой грусти.

– За что вы меня не любите?

– Я вас не люблю? – удивленно вскинул я плечом. – С чего это вы взяли?

– Вы меня не любите... – уверенно сказал Банкин. – Вы не могли за это время собраться – зайти ко мне и взглянуть на Петьку.

– Господи помилуй! Да просто не приходилось. На днях зайду. Непременно зайду.

– Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже не видя его. Что же вы запоете, когда увидите!

Спину мне разломило, и глаза слипались.

Я попросил счет и, зная, что с Банкиным мне по дороге, попробовал завязать разговор о самой безобидной вещи:

— Ночи теперь стали короче.

Банкин расхохотался:

— Да, да! Светает в четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю — светло. А он ручонку из кровати высунул и пальцем... этак вот...

— Пойдемте! — сказал я. — А то мы не достанем извозчика.

— Успеем. У него теперь самый сладкий сон. Поверите ли вы, что, если его поцеловать — он не просыпается.

— Это неслыханно, — пробормотал я. — Человек! Пальто.

II.

Однажды Банкин зашел ко мне. Я познакомил его с сидевшим у меня редактором еженедельного журнала и приветливо спросил:

— Как поживаете?

— Он уже ходит, — подмигнул Банкин. — А вчера какой случай был...

— Так вы говорите, что теперь еженедельники не в фаворе у публики? — обратился я к редактору. — Скажите...

— А вы бросьте издавать еженедельник, — перебил Банкин. — Начните что-нибудь для детей. Это будет иметь успех. Да вот я вам расскажу такой пример: есть у меня сын — Петька. Удивительно умный ребенок. И он...

— Вы, господа, поговорите здесь, — сказал я, вставая, — а мне нужно будет на часок съездить. Вы уж извините.

Дня через три я встретил Банкина около итальянца — продавца разной дряни из кораллов и лавы.

— Это для взрослых... Понимэ! Эй, как вас... синьор! Понимаете — для взрослых. Иль grano! А мне нужно что-нибудь для мальчишка... Компренэ? Анфана!² Понимаете, этакий анфан террибль!³ Славный мальчишка... Да не брелок! На черта ему брелок, уважаемый синьор? Фу, какой вы бестолковый.

Я тихонько прошел мимо, но, возвращаясь обратно на трамвае, опять встретил Банкина. Он промелькнул мимо меня на противоположном трамвае, увидел мое лицо, и до меня донесся его радостный, но совершенно непонятный мне крик:

— А Петь... В кашу рук...

III.

Вчера я вышел на улицу, и первое лицо, которое мне попало, — был Банкин.

— А я за вами.

— Что случилось?

— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку — ахнете! Вы помните, я вам рассказал в трамвае о его — ха-ха! поступке с кашей — ха-ха!

— Помню, — сказал я. — Очень было смешно.

— Это что! Вы посмотрите, какие штуки он теперь выделывает.

Впереди нас шла нянька с мальчиком лет трех.

— Пойдите!! — вскричал Банкин, хватая меня за рукав. — Пойдите!!

Я посмотрел на его побледневшее лицо, дрожащие губы, слезы на глазах и — испугался.

— Что с вами?!

— Ха-ха! Такой Петька будет. Через два года. Ха-ха! Так же будет ножками: туп-туп! Пойдите!

Он подошел к няньке и дал ей двугривенный. Потом расспросил: сколько мальчику лет, чей сын, что ест и не капризничает ли по ночам?

Потом присел перед мальчиком на корточки и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ва-я.

— Ваня, — пояснила нянька.

— Ваня? Милый мальчик! Нянька... Может, он чего-нибудь хочет?

Оказалось, что Ваня «чего-нибудь хотел» только полчаса тому назад.

Это настолько успокоило Банкина, что он нашел в себе мужество расстаться с Ваней, и мы пошли дальше.

— Проклятый город, — сказал я. — Сколько пыли.

— Что?

— Город, я говорю, пыльный.

— Да, да... — рассеянно подтвердил Банкин.

И задумчиво добавил:

— Воды он боится.

— Чего же ему бояться, — возразил я. — Только бы поливали!

— Да и поливают. Если тепленькая вода — так он не кричит... и, если поливают спинку, только морщит нос и ежится.

IV.

Когда мы подошли к квартире Банкина, он открыл ключом дверь, схватил меня за шиворот, втолкнул в переднюю и, проворно вскочив вслед за мною, захлопнул дверь.

Я упал на ступеньки лестницы. Ушиб ногу. Сел на нижней ступеньке и, потирая колено, со страхом спросил:

— Что я сделал вам дурного?

— Петька простудиться может, — объяснил Банкин.— Дует.

Я встал, и мы вошли в первую комнату — столовую.

— Вот здесь, на этом месте, — указал Банкин,— Петьке нянька дает молочко. Вот видите — стул.

Я осмотрел стул.

— Хороший стул. Венский.

— Приготовьтесь, — хохоча счастливым, лучезарным смехом, воскликнул Банкин. — Сейчас увидите его.

Я пригладил волосы, одернул сюртук, и мы, на цыпочках, вошли в детскую.

— Вот он, — шепотом сказал Банкин, указывая на кроватку.

— Какой хорошенький.

— Да это не то. Это угол подушки! А вон он лежит за подушкой.

— Прелестный ребенок.

— Правда? Я знал, что вы сейчас же влюбитесь в него... Помните, я вам рассказывал, что, если я его целую во время сна — он никогда не просыпается... Вот вы увидите.

Банкин подошел к кровати, нагнулся, и — вслед за этим раздался бешеный рев ребенка.

Вбежала госпожа Банкина.

— Опять ты его разбудил?! Вечно лезет с поцелуями! Молчи, молчи, мое сокровище... Здравствуйте! Как поживаете?

— Благодарю вас. Я совершен...

— Вы его хорошо рассмотрели? Не правда ли, очаровательный ребенок? Садитесь. Ну, как поживаете?

— Очень вам благодарен. Живу ниче...

— Видели ли вы когда-нибудь такого большого мальчишку?

За мою бурную, богатую приключениями жизнь я видел десятки ребят гораздо больше Банкиного ребенка, но мне неловко было заявить об этом.

— Нет! в жизни своей я не видел такого колоссального ребенка!

— Правда? Ну, как вы поживаете?

— Я сов...

— Не плачь, милый мальчик! Вот дядя... Он тебя возьмет блям-блям. Правда, Аркадий Тимофеевич? Вы его возьмете блям-блям?

— Без сомнения, — робко подтвердил я. — Если вы будете добры посвятить меня в цель и значение этого... этой забавы, то я с удовольствием...

— Блям-блям? Неужели вы не знаете? Это значит — покачать его в колясочке.

V.

Петька захныкал и, вытянувшись на руках няньки, капризно поднял ручонки кверху.

— Смотри, смотри! — воскликнул пораженный и умиленный Банкин. — На потолок показывает!!

Госпожа Банкина наклонилась к Петьке и спросила:

— Ну что, Петенька... Потолочек? Что Петенька хочет на потолочке? Спросите его, Аркадий Тимофеевич: что он хочет на потолочке?

Я несмело приблизился к Петьке и, дернув его за ногу, спросил:

— Чего тебе там надо, на потолке?

Ребенок залился закатыстым плачем.

— Он боится вас, — объяснил Банкин. — Еще не привык. Петенька!.. Ну, покажи дяде, как птички летают?! Ну, покажи! Представьте, он ручонками так делает... Ну, покажи же, Петенька, покажи!

Петьку окружили: мать, отец, нянька, кухарка, пришедшая из кухни, и сзади всех — я.

Они дергали его, поднимали ему руки, хлопали ладонями, подмигивали и настойчиво повторяли:

— Ну, покажи же, Петенька... Дядя хочет посмотреть, как птички летают!

Полет птиц, и даже в гораздо лучшем исполнении, был мне известен и раньше, но я считал долгом тоже монотонно тянуть вслед за кухаркой:

— Покажи, Петенька!.. Покажи...

Наконец ребенку так надоели, что он поднял ручонки и оттолкнул от себя голову няньки.

Снисходительные родители признали этот жест за весьма удачную имитацию птичьего полета, и так как я не оспаривал их мнения, то мы приступили к новым экспериментам над задерганным горемычным Банкиным отпрыском.

— Хотите, — спросил Банкин, — он скажет вам по-немецки?

— Я по-немецки плохо понимаю, — попробовал сказать я, но госпожа Банкина возразила:

— Это ничего. Он все-таки скажет. Дайте ему только в руки какую-нибудь вещь... Ну, пенсне, что ли... Он вас поблагодарит по-немецки.

Со вздохом я вручил Петьке свое пенсне, а он сейчас же засунул его в рот и стал сосать, словно надеясь высосать тот ответ, который от него требовали...

— Ну, Петенька... Ну, что нужно дяде по-немецки сказать?

— Ну, Петенька... — сказал Банкин.

— Что нужно... — продолжала нянька.

— По-немецки сказать? — подхватила кухарка.

— Ну же, Петенька, — поощрил его Банкин, дергая изо рта пенсне.

— Ззз... — капризно пропищал Петька.

— Видите? Видите? Данке!* Он вам сказал: «Данке»! А как нужно головкой сделать?

Так как госпожа Банкина (о, материнское сердце), зайдя сзади, потихоньку ткнула в Петькин затылок, вследствие чего его голова беспомощно мотнулась, — то все признали, что Петька этим странным способом совершенно удовлетворительно поблагодарил меня за пенсне.

— Вежливый будет, каналья, — одобчительно сказал Банкин.

— Кррра... — сказал Петька, поднимая левую руку под углом сорока пяти градусов.

Все всколыхнулись.

— Что это он? Что ты, Петенька?

Проследили по направлению его руки и увидели, что эта воображаемая линия проходила через три предмета: спинку кресла, фарфоровую вазочку на этажерке и лампу.

— Лампу, — засуетился Банкин. — Дать ему лампу!

— Нет, он хочет вазочку, — возразила кухарка.

— Зу-зу-у... — пропищал Петька.

— Вазочка, — безапелляционно сказала нянька. — «Зу-зу» — значит, вазочка!

Петьке дали вазочку. Он засунул в нее палец и, скосив на меня глаза, бросил вазочку на пол.

* Спасибо! (от нем. Danke!)

— На вас смотрит! — восторженно взвизгнул Банкин. — Начинает к вам привыкать!..

VI.

Перед обедом Банкин приказал вынести Петьку в столовую и, посадив к себе на колени, дал ему играть с рюмками.

Водку мы пили из стаканов, а когда Петьку заинтересовали стаканы — вино пришлось пить из молочников и сахарницы.

Подметая осколки, нянька просила Петьку:

— Ну, скажи — «лю»! Скажи дяде — «лю»!

— Как вы думаете... На кого он похож? — неожиданно спросил Банкин.

Нос и губы Петьки напоминали таковые же принадлежности лица у кухарки, а волосы и форма головы смахивали на нянькины.

Но сообщить об этом Банкину я не находил в себе мужества.

— Глаза — ваши, — уверенно сказал я. — А губы — мамины!

— Что вы, голубчик, — всплеснул руками Банкин. — Губы мои!

— Совершенно верно. Верхняя ваша, а нижняя — матери.

— А лобик?

— Лобик? Ваш!

— Ну что вы! Всмотритесь!

Чтобы сделать Банкину удовольствие, я долго и пристально всматривался.

— Вижу! Лобик — мамин!

— Что вы, дорогой! Лобик дедушки Павла Егорыча!

— Совершенно верно. Теменная часть — дедушкина, надбровные дуги — ваши, а височные кости — мамины.

После этой френологической беседы Петьку трижды заставляли говорить: «Данке».

Я чувствовал себя плохо, но утешался тем, что и Петьке не сладко.

VII.

Сейчас Банкин, радостный, сияющий изнутри и снаружи, сидит против меня.

– Знаете... Петька-то!.. Ха-ха!

– Что такое?

– Я отнимаю сегодня у него свои золотые часы, а он вдруг – ха-ха – говорит: «Папа дурак!!..»

– Вы знаете, что это значит? – серьезно спросил я.

– Нет. А что?

– Это значит, что в ребенке начинает просыпаться сознательное отношение к окружающему.

Он схватил мою руку.

– Правда? Спасибо. Вы меня очень обрадовали.



СОДЕРЖАНИЕ

Аркадий
Аверченко

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

В двух томах

ТОМ

I

А.Т. Аверченко

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

КНИГА ПЕРВАЯ

Поэт	10
Здание на песке	15
Ленгяй	20
Специалист	27
Славный ребенок	32
Праведник	37
Двойник	42
Дачный театр	47
Два мира	54
Приключения номера 24345	59
Еврейский анекдот	65
Преступники	70
Нервы	75

Нюночка	80
Большое сердце. (<i>Рождественский рассказ</i>)	86
Еропегов	91
Апостол	97
Вечером	103
Душевная драма. (<i>Жизнь человека</i>)	107
Широкая Масленица	111
Рыцарь индустрии	114
День госпожи Спандиковой	118
Страшный человек	122
Загадка природы	135
Кривые Углы	141
День человеческий	147
Тайна	155
Веселый вечер	159
Дружба	165
Красивая женщина	170

КНИГА ВТОРАЯ

Зайчики на стене

Предисловие	179
Отец	180
Городовой Сапогов	187
Граф Калиостро	193
Яд. (ИРИНА СЕРГЕЕВНА РЯЗАНЦЕВА)	200
Незаметный подвиг	206
Геракл	213
Сухая Масленица	219
По ту сторону... ..	225
Магнит	228
Ихневмоны	234
Жена	240
Альбом	245
Два преступления господина Вопягина	253
Шутка	255

В зеленой комнате. <i>(Послеобеденные рассказы)</i>	262
Исчадие города	267
Анекдоты из жизни великих людей	274
Дурная наследственность	280
Одинокий Гржимба	284
Вино	292
Чудеса	301
Петухов	311
Случай с Патлецовыми	317
Аргонавты	324
Смерть девушки у изгороди	334
Мальчик с затекшим глазом. <i>(О критиках)</i>	342

КНИГА ТРЕТЬЯ

Дебютант	353
Корень зла	359
Коса на камень	362
Сплетня	367
Дурак	372
Измена	376
Жалкое существо	380
Друг	385
Люди четырех измерений	389
Новоселье	393
Оскорбление действием	398
История одного рассказа	402
Первый дебют. <i>(Рождественская история)</i>	406
Поездка в театр	410
Пьяный	415
Служитель муз	418
История одной картины. <i>(Из выставочных встреч)</i>	422
Настоящие парни	425
Катька	439
Солидное предприятие. <i>Записки делового человека</i>	441
Жертва цивилизации	447

Бойкий разговор	450
В ресторане	454
Камень на шее	457
Легенда Старого озера	463
Воздухоплавательная неделя в Коркине	466
Виньетки.....	471
Дуэль	477
Пинхус Розенберг	487
Наследственность	490
Дитя	494
Тихое помешательство	501

Научное издание

Аркадий Аверченко

**РАССКАЗЫ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)**

В двух томах

I

Утверждено к печати

Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»

Редактор *А.О. Буцева*

Корректоры *О.Г. Наренкова, Э.С. Закружная*

Компьютерная верстка и препресс *О.Л. Кудрявцевой*

ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 01.04.2021 г.

Формат 70 × 90^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Гарнитура «Баскервиль». Печ. л. 32,25.

Тираж 500 экз. Зак. № К-722

Научно-издательский центр «Ладомир»

124365, Москва, ул. Заводская, д. 4

Тел. склада: 8-499-729-96-70. E-mail: ladomirbook@gmail.com

Отпечатано в соответствии

с предоставленными материалами в АО «ИПК «Чувашия»

428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13



НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЛЯНС

Подписывайтесь на официальный
«ТВИТТЕР»

Научно-издательского центра «Ладомир»:

<https://twitter.com/LadomirBook>



Аркадий
АВЕРЧЕНКО
1880–1925